



ГОЛОСЪ МИНУВШАГО

1920 г. — 1921 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

	<i>Стр.</i>
I. Редакция. Памяти В. Г. Короленко	3
II. Зн. Короленко. История моего современника	5
III. Лев Дейч. Южные бунтари	44
IV. М. Р. Попов. К истории рабочего движения в конце семидесятых годов	72
V. Анри Рошфора. Вера Засулич и народovolьцы	85
VI. С. Мельгунов. Встречи. I. Г. А. Лопатин	94
VII. Е. А. Шаховская. Дневник и письма 1826—27 г.	98
VIII. М. Цявловский. Письма А. С. Пушкина	119
IX. М. Цявловский. Письма Ф. М. Достоевского	123
X. А. Ильинский. Новые материалы о М. Бакунине	128
XI. В. А. Розенберг. Перед свежей могилой (памяти В. Г. Короленко)	150
XII. Памяти ушедших. — Н. И. Кареев, И. В. Лучицкий — И. С. Попов, Л. М. Лопатин. — А. Кизеветтер, А. С. Ланно- Давыдовский	154
XIII. Мемуары Вятте	162
XIV. Портрет В. Г. Короленко	



(Февраль 1921 г.)

ГОЛОС МИНУВШЕГО

ЖУРНАЛ ИСТОРИИ и ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ

[Год издания IX]

*Светлой памяти
В. И. Семевского*

1920—1921 гг.

Р. В. Ц. Москва, Вх. № 44.

Тираж 2500 экз.

39-я типография М.Г.С.Н.Х. Путинковский, З.

Памяти В. Г. Короленко.

Нет Владимира Галактионовича Короленко. «В жизни своей я плакал только один раз, а теперь второй», — пишет в редакцию наш старый друг И. П. Белокопский. Почему на всех нас, даже на тех, кто лично не был близок В. Г. Короленко, кто не испытывал к нему той интимной любви, которую ощущают только к дорогим и близким людям, — почему на всех нас так больно отозвалась его смерть? Мы были готовы к этому исходу; мы знали, что дни В. Г. сочтены; окруженные ужасом смерти в последние годы, мы к ней так привыкли, что стали черствы к ее восприятию, — и тем не менее со смертью В. Г. что-то в каждом из нас оборвалось..... Порвались те незримые нити, которые сцепляли нас с великим русским писателем, бывшим в последние годы выразителем нашей общественной совести.

Кто-то должен олицетворять собой эту неугасимую лампаду общественной совести.

Не будь такого светильника — наша невзрачная жизнь подчас становилась бы непосильно тяжелой. Вот почему уход из жизни В. Г. тогда, когда нет ему заместителя, создает такую зияющую пустоту.

Умер не только последний великий писатель, отдавший свой гений художественного творчества общественному служению; умер великий гражданин, своей личной стойкостью, несмотря на все испытания жизни, укреплявший в нас веру в жизнь, в победу творческих сил над силами застоя и смерти. Может быть, именно поэтому столь дорог образ В. Г. всей русской интеллигенции. «Вы единственный из современных писателей, которому неудержимо хочется сказать слово: «любим», — писала одна из читательских групп, приветствовавших писателя в день его пятидесятилетия. И действительно, мы любили Короленку за страстное стремление вмешиваться в жизнь, за тот трудный тернистый путь писателя, который избрал Короленко и которому отдал и силу своего огромного таланта, и силу огромной воли. Где трудно дышалось, где горе слышалось — там первый всегда был Короленко.

Он пережил годы самой мрачной реакции, но они не поколебали в нем веры в то, что ночь не вечна и что свет восторжествует над мраком. Эту веру он донес до лучших времен и с нею вступил в годы новых испытаний, когда новые страшные тени легли на нашу жизнь. Невольно встают в памяти слова, которыми В. Г. заканчивал свое бытовое явление, слова из письма заключенного, описывавшего впечатления тюрьмы во время казни: «И когда подумаешь, что впереди предстоит еще много таких ночей, то становится непонятным, как это там, в этом холодном, равнодушном городе, люди, считающие себя умными и заслуживающими уважения, продолжают спокойно спать и позорно молчать».

Короленко не мог ни спокойно спать, ни позорно молчать. Он считал своей священной обязанностью писателя напоминать о том, что ужас продолжается в нашей жизни; не дать этому ужасу превратиться окончательно в будничное явление, своего рода привычку, перестающую шевелить общественное сознание и совесть...

«Читать это тяжело. Писать, поверьте, еще во много раз тяжелее», — заканчивает Короленко свое бытовое явление... И мы, читатели и друзья В. Г., зная переживаемые им муки, восемь лет назад, в день его шестидесятилетия, от имени редакции «Голоса Минувшего» выражали одно желание, чтобы скорее исчезли зловещие тени уже уходящей ночи, чтобы картины смертных казней кошмаром не давили бы душу великого писателя, чтобы снова для него зашумел лес и заиграла бы река.... Но в жизни продолжалось все тоже самое....

И еще восемь лет звучал дорогой для нас голос....

Наконец, умолк уже навсегда голос дорогого нам писателя и человека. Пусть по крайней мере неумолчно звучит в наших сердцах призыв великого русского писателя, начертавшего на своем знамени: «святое звание человека», и как набатный колокол, не даст «спокойно спать и позорно молчать». Вечная память тому, кто умел будить человеческую совесть своим могучим словом и своим жизненным примером.

История моего современника ¹⁾.

ЯКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ.

I.

По Лене.

Мы уже видели в последней части этой истории, что расследование о мнимом подконе закончилось. Комиссия дала свое заключение, и клевета Соловьева стала очевидна. Клевета была благонамеренная и повредить Соловьеву в глазах Анучина не могла. Но теперь не было причины задерживать отправку на места административно-ссылных и кончивших срок каторги.

Таких в иркутской тюрьме было несколько человек, в том числе Михаил Петрович Сажин. С ним, между прочим, произошла характерная история. На него кандалы были надеты по высочайшему повелению, и, помнится, я, приехав в Иркутск, застал его еще с этим украшением. Русские самодержцы, среди своих многосложных занятий, находили время вникать в такие мелочи. Александр II с высоты престола внушал домовладельцам «смотреть за своими дворниками». Александр III нашел время просматривать списки отправляемых в Сибирь, увидел там фамилию известного бакунина и распорядился надеть на него кандалы. Поэтому по приходе партии в Иркутск, на основании правил, со всех сняли кандалы на время отдыха, но относительно Сажина встретилось затруднение: потребовалось особое высочайшее повеление для их снятия.

6-го ноября меня вызвали в контору, предупредив, что я должен захватить с собой вещи. Я попрощался с товарищами. Взаимные пожелания, несколько горячих «б'ятий», и я вышел из политического отделения иркутской тюрьмы, унося впечатления, знаменовавшие самый трагический период русской революции, да пожалуй и русской истории.

В конторе уже ждали меня жандарм и конвойный солдат. В Иркутске «выгодные командировки» распределялись между двумя ведомствами. Старшим, разумеется, считался жандарм. Я с любопытством взглянул на людей, с которыми мне предстояло совершить последний и, пожалуй, самый трудный переезд.

Жандарм был человек худощавый и нервный. Конвойный, наоборот, был толстый увалень, малоподвижный и сонливый. Я предвидел, что в дороге мне придется сильно чувствовать тяжесть его грузного тела. Оба встретили меня приветливо. Путь до Якутска составляет около трех тысяч верст. По осеннему времени полагалась четверка лошадей, а можно было смело обходиться тройкой, а кое-где, может быть, при удаче, и парой... Когда я заговорил о необходимости купить дорожные припасы, жандарм указал мне два мешка, уже запасенные ими. «Может рассчитывать из ваших кормовых».

¹⁾ Том IV. Тomy I, II и III издамы кооперативн. книгоиздательством «Здруга».

Часов около 7-ми вечера мы тронулись в путь и, среди начинавшихся сумерек, проехали Иркутск, направляясь на север. За городом перед моими глазами открылись отлогие возвышенности, покрытые лесом и подымавшиеся все выше. Гористая даль, неопределенная, смутная, сумрачная... За городом ямщик отвязал колокольчик, который затащил в темноте свою долгую песню. Колеса стучали по мерзлой земле.

Провожатые мои гадали, удастся ли им хоть часть пути сделать по Лене водою. В Качуге они купили бы «шпик» (род небольшой барочки-лодки), и это была бы для них большая «экономия». Они расспрашивали на станциях и у встречных проезжающих—есть ли еще путь от Качуга по реке, а в моей памяти в это время проносились образы дорожных людей, от которых я удалялся все дальше, в неопределенную тьму.

Расчеты моих провожатых не оправдались: река уже начинала становиться, и за Качугом нам пришлось ехать опять на почтовых. Это значительно испортило настроение жандарма, и он то и дело рассчитывал, «сколько они от этого теряют». Затем встреча на одной станции с «Черкесом» (описавшая мною довольно точно в рассказе «Черкес») повергла жандарма в окончательную мизантропию. Если бы ему удалось захватить этого агента золотопскателей-хищников, везшего партию золота для продажи в Иркутск китайцам,—то это была бы такая удача, перед которой померкли бы все «экономии». Но черкес понял опасность, держался на чеку и в конце концов ускользнул. К этому прибавилась нерасторопность конвойного солдата, забывшего в повозке оружие, что повело за собой желчные нападки и препирательства моих провожатых. Я невольно думал, что,—будь это иначе,—мне пришлось бы, может быть, присутствовать при настоящей хищнической трагедии. Теперь же жандарм только прислушивался, как в направлении к Иркутску замирали дикие крики хищника, увозившего с собой огромное богатство. Телеграфа тогда еще не было.

Этим сурово-хищническим впечатлением сразу встретила меня Лена. Жандарму удалось только дешево купить у черкеса очень удобный крытый возок, на который он получил от него записку и в который мы пересели через несколько станций.

Проехав около сотни верст по санной береговой дороге, мы, наконец, опустились в щель (так жители называют дорогу по Лене). Я то и дело протираю окна нашего возка, глядя, как мимо проносились гористые дикие берега Лены. Часто горы закрывались густыми туманами, настоящими облаками, которые ветер проносил щелью. Мне, жителю равнины, это зрелище казалось сурово-величественным и угрюмым, но все-таки поразительно красивым. Целые дни я не мог оторвать от него глаз, а порой смотрел в окна и ночью, глядя, как луна плеслась высоко над мрачными громадами скал.

Невдалеке от Верхоленска мне бросился в глаза на левом берегу Лены огромный камень, по странной игре природы стоящий отвесно узким концом к низу, на самой верхушке одной из гор. Ямщик, указывая на него, объяснил мне, что камень называют «шаманским», вероятно потому, что раза два в год сюда собираются таежные тунгусы, и их шаманы отправляют перед камнем свое «архиерейское богослужение». Впоследствии мне говорили, что камень этот свергнут с высоты, откуда его можно было видеть далеко. Вероятно языческие богослужения шаманов показались соблазнительными православному духовенству.

За Верхоленском мы проехали через Киренск, расположенный на острове Лены, не останавливаясь, затем миновали принсковую резиденцию Витим, скрывающуюся от нас в густых туманах. Неопытный ямщик сбился с дороги между станциями Веледуйском и Крестами, и мы чуть не всю ночь брели пешком среди хаоса льдин, нагроможденных в самом фантастическом беспорядке. Порой это были целые огромные ледяные башни, которые река накидала друг на друга во время бурного осеннего ледохода.

II.

Мои ленские видения.

Во время этого пути моим воображением овладела с большой силой одна картина, в которой как бы обобщились мои впечатления после 1-го марта в Перми и в Иркутске.

В этом высоком холодном небе мне чудились два образа: Александр II и его убийца Желябов.

Так начать, как начал Александр II, и так кончить!.. Мне он вспоминался только жалким, затравленным и несчастным. «Везите во дворец... Там умереть...» И его везли во дворец, поливая улицы его кровью, пока бедный человек жаловался на предсмертный холод.

В фигуре Желябова, главного организатора царевубийства, для меня, как в фокусе, сосредоточилась вся трагедия русской интеллигенции в царствование Александра II... Было известно, что, арестованный ранее без связи с царевубийством, он сам заявил о своем участии и потребовал, во имя справедливости, присоединения его к процессу Рысакова. Он находил, что с одним Рысаковым процесс будет слишком бледен и непонятен народу, и он отдавал свою жизнь, чтобы сделать его более ярким. Вместе с собой он взводил на плаху любимую женщину Софью Перовскую. Несмотря на очень яркие фигуры первомажортовцев, процесс если не вышел бледен, то все-таки остался народу попрежнему непонятен. Эта толпа помнила, что убитый царь освободил крестьян, а любовь и ненависть его противников оставалась для нее в момент их казни совершенно чуждой.

Теперь, когда трагедия завершилась до конца, мне чудились оба они, понявшими и примиренными. Они смотрят с высоты на свою родину, холодную и темную, и ищут на ней пути той правды, которая сделала их смертельными врагами, но когда-то, казалось мне, одушевляла по-своему и царя, когда он освобождал крестьян, и революционера, когда он боролся с наступившей реакцией. Эта правда затерялась среди извилистых путей жизни и привела одного к мучительной смерти, других на эшафот. И вот, когда первомажортовцы стояли над толпой на своей позорной высоте, до них доносился снизу грозный и враждебный гул человеческого моря. Русская толпа видела лишь одну половину правды. Она помнила, что Александр II был «царь-освободитель», и не понимала, сколько он в свою очередь совершил преступлений против свободы. Любовь и ненависть людей, приносивших в жертву народу свою жизнь, была ему не понятна... А между тем, есть где-то примирение, и теперь мне чудилось, что оба — и жертва и убийца — ищут этого примирения, обозревая свою темную родину.

К этой теме я возвращался на протяжении долгого пути по Лене. Я не спал ночи, протирая обмерзшие стекла и следя, как где-то высоко, над мрачными скалами плескалась яркая луна. Когда я приезжал на станки, я старался согреть руки и набросать хоть обрывки поэмы. Но на станках издали слышали наш колокольчик и начинали готовиться. Поэтому, едва я, успев согреть руки, пробовал набрасывать в книжечке обрывки образов и мыслей, как приходил ямской староста и сообщал, что лошади поданы. Приходилось опять выходить на холод и садиться в возок. И опять эти два образа властно входили в мое воображение, летучие и неуловимые.

Недавно я нашел одну из этих записных книжек, и опять то настроение пахнуло на меня с этих старых листков. Мне представлялся революционер, выхваченный из сутолоки борьбы, которого везут моим путем. Он, как и я, смотрит в то же ночное небо, так же чувствует неисконную трагедию борьбы без народа. Те же думы владеют его душой, и он задается вопросом, где правда в этом холодном мире... «Мороз, великий владык северной пустыни, сжимает воздух. Иней валится широкими хлопьями и искрится в лучах луны. По огромной реке гремят, точно выстрелы из пушек. Это лед трескается от мороза, и протяжный гул долго и как-то

жалобно стоит на реке, уходя все далее меж гор, ущелий и сопок...» Так наступает полночь Рождества 1882 года. Колокольчик выводит свою долгую рыдающую песню, и ссыльный, как и я, записывает приходящие в разгоряченную голову мысли. Его рукопись попадает в Россию в среду революционеров-террористов. Но там это настроение и эти вопросы кажутся, среди продолжающейся борьбы, странными и непонятными. На обороте рукописи твердым, размашистым почерком написано:

— Господи, Боже,—какая ерунда! Очевидно, эти мечты—результат странной умственной болезни когда-то столь трезвого нашего покойного друга. Ему, наконец, стал мерещиться образ фантастического царя, «сильного державой и мечтающего о свободе». Можно же додуматься до такой маниловщины!.. Однако, человек был все-таки превосходный и оказал большие услуги нашему общему делу. Поэтому, друг Волчище, приложи все старания, чтобы исполнить волю покойного и доставить рукопись NN. Что она сделает с этими мечтаниями о примирении непримиримого, — я не знаю. Но она, кажется, знает...

Поэма так и осталась неконченной. Вскоре другие мысли и другие впечатления вытеснили эти пустынные ленские мечты. Я привожу здесь эти бессвязные отрывки, так как они обобщают мои впечатления от великой трагедии 1-го марта, ставшей трагедией всей интеллигенции, пожалуй трагедией всей России. Сознание этой трагедии носилась в воздухе. Тогда даже террористы-цареубийцы приглашали русских самодержцев на путь мирных конституционных реформ... Есть указания, что Желябов так и умер без веры в успешность последнего средства.

III.

Воспитанник декабристов.—Евгения Александровна.

Между тем мы все неслись по льду Лены. Войдя на станцию Тивную, я застал там проезжающего, ехавшего нам навстречу. Это был коренной сибиряк, но в его наружности было что-то как бы от чуждого Сибири прошлого. Он был невысокого роста, довольно полон, но все-таки в нем было что-то, напоминавшее мне пермского губернатора Енакиева, «человека XVIII столетия». К сожалению, я теперь забыл его фамилию. Знаю только, что родом он был из юго-западных областей Сибири и воспитывался под влиянием декабристов. Подавая мне стакан чаю и подвигая сибирские печения, он говорил:

— Да, просвещается наша Сибирь, просвещается. Прежде декабристы, теперь вот вы, господа политические. Россия вас высылает, а Сибирь приемлет себе на пользу. Не так давно я встретил, так же вот, как вас, милостивый государь,—молодую девушку Евгению Александровну... Может быть, фамилия вам известна?.. Едет в Верхоянск из любви к жениху господину А—ву. Тоже, может, изволили слышать?..

Фамилия мне действительно была известна. А—в был тот самый эксцентричный ссыльный, о котором мне рассказывал пермский жандарм Молоков. Значит, к нему проехала уже его невеста, которую он окликал во всех уездных тюрьмах... Видя, что я заинтересован этим известием, воспитанник декабристов продолжал растроганным голосом:

— С детства моего сохранил я память о женах декабристов,—книгине Оболенской, Трубецкой и других... Теперь эти благородные подвиги любви повторяются на наших глазах. Молодая девушка кидает семью, родственную среду и отправляется за полярный круг. При том и одежка на ней далеко не сибирская... Посмотрел и, как она, простившись со мной, садилась в лютый мороз... Поверите,—даже слеза прошибла... Что-то дальше ждет ее, бедную?..

Впоследствии, вернувшись из ссылки, я познакомился с Евгенией Александровной. Это оказалась действительно очень хорошая и привлекательная молодая

женщина, но—что бы сказал мой романтический сибиряк, если бы узнал, что ее подвиг, которым он так восхищался, оказался ошибкой. Преодолев столько препятствий, она вскоре разошлась с мужем и вернулась в Россию.

На станции Мухтуй, когда мы с провожатыми уже собирались выходить и садиться в возок, перед станком послышался звон колокольчиков и бубенцов и к нам буквально ворвался новый ссыльный. Это был некто Буриот. Он узнал от писаря мою фамилию и сразу кинулся обнимать меня, точно родной. Оказалось, что он едет непосредственно из Красноярска без остановки в Иркутск, и хорошо знает моих родных. К сожалению, наши лошади уже были запряжены, а этих лепских, плохо обремененных лошадей очень трудно держать на морозе. Поэтому мне пришлось ограничиться самыми краткими известиями о своих и попрощаться с Буриотом. С ним ехали молодая жена и две прелестных девочки... Эту ночь я мало думал об Александре II и Желябове. Она была населена для меня образами дорогих и близких людей.

К нашему удовольствию нас вскоре обогнала почта. Почта на Лене представляет зрелище внушительное и своеобразное, хотя на этот раз она была меньше обыкновенного, и одна из заготовленных для нее троек оставалась для нас. Мы пристегнулись к почтовому каравану и поэтому ехали быстрее обычного, порой даже опережали почту и приезжали на станки заранее, а затем уже, после нас с Лены на берег подымалась среди звона и криков целая вереница троек. Затем мы успевали уехать вперед, глядя, как все население станка хлопотало около нового почтового каравана. Это каждый раз представляло дело сложное и трудное. Здесь почтовая гоньба представляет остаток старинных «ямов», и ямщики состояли тогда на «государевом жалованьи». С своеобразным бытом этих станочников я успел ознакомиться уже на обратном пути, когда мне с двумя товарищами пришлось ехать по не остановившейся еще Лене больше месяца в качестве этапных арестантов. Теперь лишь изредка мы слышали жалобы этих закрепощенных государству людей на страшную эксплуатацию почтового начальства. Почтовое начальство действовало, как настоящий кулак. И чем беднее был ямской поселок, чем меньше было у него средств прокормиться без почтовой гоньбы, тем тяжелее были ее условия.

IV.

Тоскующий ссыльный.—Приезд в Якутск.

За станцией Жербовской кончилась Иркутская губерния, и мы вступили в Олекминский округ Якутской области, минуя станки и приисковые «резиденции» (резиденции лепских золотопромышленных компаний), прятавшиеся от нас в туманах. На одной из таких станций я повалился в изнеможении на лавку и мгновенно заснул. Меня разбудил какой-то человек, настойчиво тормозивший меня за плечо. Раскрыв глаза, я увидел около себя человека небольшого роста, одетого в новую щегольскую серую пару. Он смотрел на меня извиняющимся и просящим взглядом.

— Извините, милостивый государь, что разбудил вас. Но, ради Бога, посмотрите на меня.

Он снял с головы новенький картуз и показал его мне, поворачивая во все стороны.

— Посмотрите, нет, вы только посмотрите... Чапка.

Я знал, что «чапка» по-польски значит фуражка, но это мало мне объясняло, зачем он разбудил меня. Между тем незнакомец повернулся передо мной на каблуках, как-то охорашиваясь, при чем лицо его сохраняло все то же умоляющее выражение.

— Камизелька (жилетка), шараваречки (брюки), сурдут...—И он поочередно указывал на эти принадлежности костюма, называя их по-польски и продолжая повараживать передо мною, точно на пружинах.—Нет, вы только посмотрите, пожалуйста посмотрите... Ведь хорошо!..

Сначала я подумал, что этот странный человек сильно выпил. Но он не был пьян. Это был портной, высланный сюда из Петербурга и стосковавшийся по своей настоящей работе. Недавно его пригласила партия приисковых служащих, главным образом поляков, выписавших на прииска массу разных материй чуть ли не из Парижа. Он провел несколько недель в приисковой резиденции, обшивая заказчиков, которые, кроме платы, дали ему материи для его собственного костюма. С тех пор он считал наиболее приличным называть разные принадлежности одежды по польски. Но, увы!—ему пришлось все-таки вернуться с шумных приисков на уединенный прилепский станок.

Я, наконец, понял, что ему нужно. Услышав почтовый колокольчик (это здесь не часто), он тотчас же надевал новый костюм и бежал, чтобы показаться проезжающему во всем великолепии...—Чапка, камизелька, сурдут... Нет, вы только посмотрите, милостивый государь, вы только взгляните... Пожалуйста еще с этой стороны...

Писарь рассказывал моим провожатым, что, когда бы ни послышался почтовый колокольчик, хотя бы это было в полночь или на рассвете, он тотчас же высыпался в своей юрте, торопливо напяливал на себя парадную одежду и бежал показаться проезжающему. Увидев во мне культурного человека, он с жадностью накинулся на меня, умоляя посмотреть на него еще и еще...

Я с грустью подумал о страшной пустоте жизни этого бедняги; и мне невольно пришло в голову, не придется ли и мне также тосковать в каком-нибудь глухом углу будущей моей ссылки. Поэтому я выказал живейший интерес к его великолепным одежаниям, пока, наконец, нам не подали лошадей. Из благодарности за мое участие, он вышел провожать меня на станочный двор.

— Правда, хорошо?—были его последние слова, когда я усаживался, и его глаза смотрели на меня с той же смесью радости и вместе какого-то сожаления к себе... Я думал, что он внезапно расплачется.

Под Олекмой навстречу нам стали попадаться тунгусские вьючные караваны. Олени с ветвистыми рогами, закинутыми на спину, шли, покачиваясь под тяжелыми вьюками, а на некоторых вдобавок сидели, вытянув ноги вперед, тяжелые тунгусы. Это прилепские звероловы выходили из тайги, вывозя на продажу плоды своего осеннего улова и стараясь закупить предметы, нужные им на зиму. Однажды нам попался таким образом тунгусский князек. Он похож был на башню, а рядом с ним бежал спешившийся родович, выслушивая его приказания. И этот последний казался таким покорным и маленьким. Я невольно подумал о том, сколько еще трудно ископимого рабства в нашем отечестве. Ямщик и даже мой провожатый жандарм отзывались о «князе» с большим почтением...

Наконец, 24-го ноября, благодаря ускоренному движению с почтой, передо мной замелькали огни Якутска. Спускались сумерки, шел негустой, холодный снег. Большие пустыри сменялись кучками домов и юрт. В некоторых местах это были «амбары», то-есть дома, построенные по-русски, из бревен, в других простые юрты, с наклонными стенами и большими льдинами вместо окон. Уже в сумерках меня подвели к темному двухэтажному зданию, в котором жил губернатор и помещалась его канцелярия.

V.

Якутский губернатор Черныш.

Якутским губернатором был тогда Черныш. Это был человек большого роста, с крупными чертами маловыразительного лица. Он вышел ко мне, осмотрел внимательно нового ссыльного и, не сказав ни слова, удалился. Впоследствии мне рассказывали его прошедшую карьеру.

Он был сибирский казак и когда-то служил в конвое при постройке кругобайкальского шоссе. На этой постройке работали, между прочим, каторжники, в том числе бывшие польские повстанцы. Меня до сих пор удивляет, как мало мы интересуемся выдающимися эпизодами из нашей истории. Мало кому, например, известно, что при этой постройке поляки задумали новое восстание в Сибири с целью пробраться к китайской границе. Предприятие было задумано и осуществлено плохо, и скоро восстание было подавлено, но одно время Байкал был охвачен огненным кольцом инсургентов, и представители русской власти захвачены в плен. Такая же участь постигла и Черныша. Говорили, что насмешливые поляки стали возить на нем воду из Байкала в свой лагерь. Эти своеобразные «страдания за отечество» положили начало его карьеры, и в конце концов он стал хотя и якутским, но все-таки губернатором, не проявив ничем административных способностей.

Это был, прежде всего, человек добродушный, но совершенно незначительный. Чиновники делали с ним что хотели, и мне впоследствии пришлось испытать это на себе.

Так как мне слишком долго пришлось просидеть в Иркутске, то мои бумаги пришли в Якутск ранее меня, и место моего назначения уже определилось. В канцелярии мне сказали, что я назначен в слободу Амгу, расположенную около трехсот верст от Якутска, в пределах Батурусского улуса. Чиновник прибавил к этому, что это большая слобода, что в ней есть церковь, две лавочки и почтовая контора. Кажется, что этим назначением я был обязан знакомству Рыхлинского с каким-то влиятельным лицом в канцелярии губернатора Педашенко.

Затем меня отправили в тюрьму, — деревянное здание, расположенное далеко за городом. Здесь я встретил товарища, политического ссыльного Анания Семеновича Орлова, уже назначенного в Батурусский улус, то-есть по соседству со мною. Для через три он отправился туда, и мы условились повидаться, если окажется возможность, уже на месте.

А 29-го ноября и я выехал в том же направлении.

VI.

Последний переезд.

В этом последнем переезде меня сопровождал один только казак. Это был представитель местного казачества, очень еще юный и очень простодушный. Эти казаки отлично приспособлены к суровым условиям климата, но в них нет ничего воинственного. От местной обуви, называемой «унты», в которых они являются даже на парадные смотры, их иронически называют «унтовым войском».

День был ясный и очень морозный. Ямщики то и дело останавливали лошадей и, засунув палец в ноздри, вынимали оттуда длинные ледяные сосульки. Без этой предосторожности лошадь может вдруг упасть на бегу и издохнуть.

Под конец пути дорога пошла в так называемую Ямалахскую падь. Это лощина между двумя отлогими горными кряжами, покрытыми лиственничными лесами. Порой на темном фоне этих лесов вставал высокий вертикальный столб дыма. Это означало близость какого-нибудь обывательского станка и перепряжки. Эти юрты были разбросаны по лесу в одиначку. Деревень нам вовсе не попадалось.

С некоторого времени до меня стали долетать странные звуки. К однообразному скрипу полозьев по снегу и к шуму тайги присоединилось еще что-то, точно жужжание овода, прерываемое какими-то всхлипываниями. Видя, что я с недоумением оглядываюсь, стараясь определить источник звуков, казак усмехнулся и сказал:

— Это он поет песню. Вам еще не в привычку.

Это была действительно якутская песня,—нечто горловое, тягучее, жалобное. Начинаясь она звуком а-ы-ы-ы... тянувшимся бесконечно и по временам модулируемым почти истерически-рыдающими перехватами голоса. Странные звуки удивительно сливались со скрипом полозьев и ровным шумом тайги...

Вечерело. В одном из стапков мы решили согреться и выпить чаю. Для этого мы сделали привал. Хозяйка тотчас принялась хлопотать. Поставив самовар, она юркнула в темный угол юрты, на камелек, откуда слышалось однообразное жужжание.

— Это она мелет муку на лепешку,—пояснил мне мой казачок.

Я заглянул за камелек. Там была наша молодая хозяйка полураздетая. Рубашки на ней не было. Весь костюм ограничивался меховыми штанами и такими же унтами, с узорно-расшитыми голенищами. И все-таки она была покрыта потом, который скатывался по лицу и по телу крупными каплями. По временам она выходила к камельку и, вынув из-за голенища коротенькую трубочку, закуривала. Тогда к ней сходилось все женское население юрты и, затаиваясь по очереди, жепицы начали без церемоний разглядывать нас и судачить на наш счет. По временам женское щебетание прерывалось взрывами веселого смеха. Казак пробовал отшучиваться, но скоро спасовал, а я был, конечно, совершенно беззащитен. Затем хозяйка опять уходила за камелек, откуда вновь раздавалось жужжание ручной мельницы.

И подумал, что на таких мельницах мололи хлеб еще во времена Гомера. На невысоком столике был неподвижно укреплен жернов. Другой, приводимый в движение цевкой, укрепленной в доске между двумя угловыми степками юрты, ходил по нем, приводимый в движение рукой, и мука тихо сыпалась на столик. Намолов достаточно для большой лепешки, хозяйка замесила тесто и изжарила лепешку перед пылающим огнем камелька.

В это время снаружи слышался звон колокольчика и бубенцов, и вскоре в юрту, вместе с густыми клубами морозного пара, вошел новый приезжий. Когда он разоблачился перед камельком, то я увидел молодого казака, который мне показался прямо двойником нашего провожатого: такой же безусый и такой же юный. Он охал из Верхоянска с эстафетой губернатору.

— Что у вас нового, брат? Говори,—сказал мой провожатый.

Казак уселся на ороне (лавка под косыми стенами юрты), и приезжий сообщил виолголоса действительно поразительную новость: с океана прибыли по реке Яне неведомые люди. Они подвигались вперед в лодке, измеряя глубину реки, и посылали вестовых назад, как будто за ними шел по реке большой корабль, а они были только передовыми. Когда они пришли таким образом к городу (Верхоянску),—одна лодка без корабля,—исправник не знал, что с ними делать. Хотел было посадить их пока-что в каталажку, да политические отговорили. Один из них знает язык приезжих, разговорился с ними и говорит исправнику:

— Не сажай их в каталажку, а прими с честью. Не пожалеешь.

Вот теперь этот казак и послан спешно к губернатору с эстафетой, а жители не знают, что и думать: не то неведомые люди пришли воевать, не то мириться.

Выслушав с напряженным вниманием рассказ товарища, мой провожатый сказал с печальным видом:

— Ах, бра-ат... Если пришли воевать, то всех они нас тут повоюют...

Верхоянский казак грустно согласился с этим нерадостным заключением и затем, напившись чаю, опять оделся и, взяв заготовленных для нас лошадей, сел в возок и помчался к Якутску. Нам пришлось остаться почевать.

Через месяц или два весь мир облетела новость: экипаж «Жаннеты» разыскался. «Жаннета» был американский бриг, отправившийся в полярную экспедицию. Где-то среди льдов у северных берегов Сибири он потерпел крушение, и экипаж его затерялся. Газеты Старого и Нового света были очень заинтересованы судьбой этого экипажа и ловили всякие слухи, которые удавалось узнать от кочевавших по берегам Ледовитого океана чукчей. Но затем все известия прекратились.

И вот теперь этот нехитрый казачок вез в своей сумке новость, которая должна была взбудоражить газеты всего мира: затерявшийся экипаж «Жаннеты» прибыл в Верхоянск, поставив местного исправника перед альтернативой: не то принять гостей с честью, не то для безопасности посадить их в каталажку. Тогда рассказывали, что если бы в это время в Верхоянске не находилась целая группа политических ссыльных, то путешественникам не миновать бы ближайшего знакомства с верхоянской каталажкой. Но политические отговорили от крутых мер, и американским гостям была предоставлена свобода. Исправник действительно не пожалел об этом: президент Сев.-Американских Штатов прислал ему впоследствии почетную шпагу, для доставления которой в далекий Верхоянск была снаряжена целая экспедиция, и его имя, как просвещенного администратора, стало на время известно всему миру.

Кто знает, что было бы, если бы у русского правительства не было тогда похвального обыкновения заселять самые отдаленные окраины европейски образованными людьми.

VI.

На месте.

Выехав со станка ранним утром, мы опять ехали до вечера, останавливаясь только для перепряжек. На одном из станков нам попались скопцы с Усть-Майи (поселок на реке Майе, притоке Алдана). Они ехали в Якутск. Это были первые скопцы, которых я видел в своей жизни. Один был мужчина средних лет, другой юноша, почти мальчик. Старший, узнав, что я политический ссыльный, — сдержанно выразил мне сочувствие. Юноша, пламенно сверкая глазами, сказал без всякой сдержанности: «Долго ли еще будут свирепствовать утеснители?» Он очевидно был в периоде фанатического возбуждения, и я с сожалением посмотрел на него: неужели и ему предстоит оскотление, и эти глаза, теперь метавшие искры, — потускнеют и потухнут?

Над горизонтом опять поднялась луна, когда мы стали приближаться к месту назначения. Наконец, ямщик повернулся на козлах и сказал:

— Амга.

Я расправил башлык и выглянул на мороз. Ямалахская падь расступилась, и передо мною открылась широкая равнина, закапчивавшаяся вдали искрящимся под лупой крупным горным кряжем и усеянная высокими столбами белого дыма. Впереди, поближе их было немного, — как будто небольшой поселок. Но дальше множество дымных столбов подымалось к небу, точно своеобразный белый лес.

Это и была слобода Амга.

Скоро наши сани, в'ехав в широкую улицу, остановились перед довольно большой избой, построенной по-русски в сруб, только без крыши. Это была так называемая «мирская изба», соответствовавшая приблизительно нашему волостному правлению.

Здесь еще шли запятня. Навстречу нам поднялся человек средних лет, темный брюнет с очень черной бородой и блестящими тоже черными, быстрыми глазами. Он подошел ко мне, протянул руку и отрекомендовался:

— Николай Васильевич Васильев, политический ссыльный и вместе здешний писарь. А это вот здешний тайоп, сиречь староста, до известной степени начальство.

Тайон степенно поднялся из-за стола и протянул мне руку. Лицо его было довольно полное, безбородое и безусое. В чертах было что-то инородческое. На нем был плюсовый кафтан, туго перетянутый поясом. Рукава кафтана были сильно приподняты кверху, что придавало ему своеобразный вид какого-то дипломата прошлых времен. С Васильевым он говорил по-якутски и держался не без важности.

— Ну, теперь мы выдадим вашему казаку расписку в приеме и напоим его чаем. А мы с вами отправимся к товарищам. Здесь живут Иван Иванович Папин и Осип Яковлевич Вайнштейн. У них своя юрта.

Он в качестве писаря исполнил все формальности, и тот же ямщик повез нас в другой конец села. Когда мы ехали по улице, она показалась мне необыкновенно оживленной, хотя в сущности никакого движения на ней не виделось. Это впечатление создавалось клубами дыма, который вырывался из юрт, боролся с морозом и треща подымался высоко к небу. К этому прибавлялся переливавшийся сквозь ледяные окна свет пылающих камельков, что в общем создавало картину безмолвного почного оживления. По временам отворялись двери, и тотчас же с громом падали на наклонные стены. Амгишцы выглядывали на зов наших колокольцев. Увидев Васильева, они обменивались вопросами на якутском языке. Он отвечал так же.

Приблизительно в середине улицы (более версты длиной) стояла большая деревянная церковь, искрясь от инея и мороза. Минував ее, мы свернули влево и подъехали к небольшой юрточке с такими же ледяными окнами, как и другие. На дворе было несколько пристроек, в том числе летняя изба, теперь стоявшая пустой. Здесь нас радушно встретили товарищи.

Прежде всего, это был знакомый уже мне Иван Иванович Папин, встречу с которым на нижегородской барже при первой моей высылке в Сибирь я уже описывал выше. Он был сослан вместе с Долгушиным и отбывал каторгу в одной из харьковских централок. Теперь я был приятно удивлен его цветущим видом. Вместе с сильно потускневшей в централке фигуры, какую я видел тогда в пути, передо мной стоял цветущий молодой человек с блестящими глазами и веселым лицом.

Другой был Осип Яковлевич Вайнштейн, еврей, студент медик одного из первых курсов. За что он был выслан, я теперь не помню. У него было приятное и доброе лицо, а глаза тоже сияли оживлением.

Третий был некто Хаботин. Я называю настоящие фамилии других моих товарищей. Только о Хаботине мне приходится сообщить мало лестного, и потому я прибегаю к измененной фамилии. История его ссылки довольно оригинальна. Он был не то прикащиком, не то мальчиком в какой-то петербургской мелочной лавочке. Однажды, кажется в воскресенье, в кюске для проходящих, помещавшемся у самой Публичной библиотеки, вдруг раздался выстрел. Тотчас же явилась полиция. Думали сначала, что это самоубийство, но, когда открыли дверь отделения, откуда раздался выстрел, то нашли там растерянного юношу, который не мог объяснить — ни зачем у него револьвер, ни каким образом произошел выстрел. Время тогда было тревожное, и «опасного юношу», не долго думая и не разбираясь в деле, усадили прямо в Якутскую область. Нам он тоже не мог объяснить толком происхождение таинственного выстрела, и только как-то косо и угрюмо улыбался, когда Васильев шутил рассказывал, что Хаботин выслан за неумелое обращение с брюками, в которых случайно находился револьвер. При взгляде на его пестрядную, перьяшливую фигуру с сильно стоптанными валенками, — объяснение казалось довольно вероятным. Первоначально его выслали в поселок Чипчалган, населенный, как и Амга, об якутившимися крестьянами и находившийся всего в 1½ верстах от слободы. Здесь жители так серьезно поняли свои обязанности по надзору, что даже когда он выходил из юрты по своей надобности, его сопровождали караульные. Это продолжалось до тех пор, пока один из заседателей, скалившись и над опасным юношей, и над жителями, не исхлопотал ему перевода в Амгу. Папин и Вайнштейн приняли его в свою юрту, хотя молодой человек не был способен ни к какой работе.

Самым старшим поселенцем из политических в Амге был Николай Васильевич Васильев. Он был сослан еще в 60-х годах, по делу так называемых воскресных школ. Это было просветительное движение, под влиянием которого в столицах, а отчасти и в провинции стали возникать вольные воскресные школы. Участвовали в движении студенты, интеллигентные люди, дамы из общества; и сначала правительство относилось к ним терпимо. Посещали их ремесленники, швеи, рабочие. После караковского выстрела первые удары реакции не миновали и этого просветительного движения. Вскоре оказалось, что к просвещению примешалась наивная политическая пропаганда. Она велась кое-где совершенно открыто, без всяких конспираций. Правительство, не долго разбывая, закрыло все воскресные школы, а некоторых участников пропаганды судили и сослали на каторгу. Таким же образом попал на каторгу и Васильев, тогда еще совсем юноша. Отбывал он ее в Нерчинске, вместе с Чернышевским.

По окончании срока он был выслан на поселение в Амгу, и приехал сюда, когда новая волна политических ссыльных еще не стала сюда доплескивать. Ему сначала пришлось жить здесь одному. Очень живой и способный, он быстро изучил якутский язык, женился на дочери местного об'якутившегося крестьянина, обзавелся собственным хозяйством и до такой степени вошел во все интересы местной жизни, что общество выбрало его своим писарем, а пачальство ничего не имело против его утверждения.

Вот почему, кроме тайона, в мирской избе меня встретил товарищ политический. Он радушно встречал всех новопривывающих, и местные жители по его примеру встречали нас так же радушно. Когда первым прибыл в Амгу Вайнштейн, Васильев доставил ему работу—печь хлеб на прииска; при чем его жена, превосходная женщина, первая научила Вайнштейна хлебопечению. Затем приехал (год назад) Папп. Он сначала помогал Вайнштейну, но потом перешел сам и склонил Вайнштейна перейти к земледелию. Они за 70 рублей купили усадьбу-юрту с надворными постройками, обзавелись хозяйством и с весны прошлого года уже вели правильное сельскохозяйственное хозяйство.

Мы долго ввечером просидели в этот вечер за самоваром, встречая новый год. Я рассказывал им привезенные из России и из Иркутска новости, они делились местными впечатлениями. Наконец, уже далеко за полночь, Васильев ушел к себе на займку, расположенную верстах в полуторах от слободы, товарищи улеглись, а я, по своему обыкновению, долго еще сидел со свечей за столиком и писал письма матери, сестрам, брату и Григорьеву. Вот я, наконец, на месте, здоров, бодр, все, что меня здесь ожидает, очевидно, будет в высшей степени интересно. Товарищи у меня хорошие.

После этого я, уже глубокой ночью, еще раз вышел наружу и был прямо поражен необыкновенной красотой прозрачного, северного неба. Прямо против нашей юрты сверкало созвездие Северной Медведицы. Оно показалось мне несколько выше и много ярче, чем у нас, вероятно вследствие сухости и ясности воздуха. Столбы дыма над слободой, все такие же белые и прямые, клубились вяло, как будто засыпали. По временам кто-нибудь в этих спящих юртах просыпался от холода и подбрасывал дров. Тогда из трубы камелька бурно вырывался сноп искр, и дым, энергично клубясь, подымался к небу, чтобы через некоторое время опять сравняться с остальными. Где-то вдалеке, за рекой Амгой, раздавался частый и пронзительный крик северной лисицы. Тогда собаки на слободе отвечали долгим протяжным лаем, похожим на вой...

Мороз стал щипать мне щеки, и я почувствовал, что тут нельзя безнаказанно любоваться красотами звездного зимнего неба. Я вошел в юрту и улегся на орпе (лавке под наклонными стенами), под самой льдиной окна. Когда я погасил свечу, три фосфорических пятна странно выступили на темных стенах. За ними опять мне чудилась та же сверкающая ночь. Все мне казалось фантастическим, проникнутым неведомой красотой и интересным. Я думал об истекшем годе, о том, куда

меня теперь закинула судьба, о далеком Красноярске, о сестрах Ивановских, о далеких друзьях и, кажется, долго еще улыбался во тьме.

На утро Папин сказал мне, что в Амге есть еще один наш товарищ политический ссыльный и живет недалеко от нас.

Это оказался Ахаткин, бывший офицер и мой сожитель по Вышневолоцкой политической тюрьме, уехавший с первой партией. Он был сослан за сношения с архангельским кружком Флеровского-Берви. У него были явные признаки грудной болезни, кажется даже чахотки, и наши товарищи — доктора, Грабовский и Данилович, делали самые мрачные предсказания, если его сошлют в Якутскую область. Папин, однако, на мой вопрос о здоровье Ахаткина, ответил, что, вопреки ожиданиям, он чувствует себя недурно, хотя ведет не совсем гигиенический образ жизни. К скудному казенному пособию (девять рублей в месяц при сильной дороговизне) он прибавляет кое-что клейкой гильз, которые сбывает местным священникам, торговцам и в две лавочки. Целые дни он с замечательным упорством, не разгибая спины, клеит гильзы с утра до вечера, а раз или два в месяц позволяет себе довольно вредную роскошь. Получив деньги, покупает у татар одну или две бутылки водки, зовет к себе кого-нибудь из веселых собеседников (преимущественно местного дьячка, который славился тем, что его никто не мог «перепить»), и они всю ночь напролет проводят за выпивкой. А на следующее утро, опохмелившись, он принимался опять за ту же клейку гильз.

Он жил близко от Вайнштейна и Папина, и я в то же утро решил отправиться к нему. На этот раз я попал неудачно: Ахаткин только что закончил свое всенощное бдение. На крыльце юрты я увидел необыкновенно живописную фигуру, в которой сразу угадал дьячка. Это был человек крупный, с большой окладистой бородой и шапкой седых волос. Он стоял на морозе в меховом подряснике, но без шапки, жадно вдыхая богатырской грудью морозный воздух, и очевидно наслаждался.

— Здесь, кажется, живет Ахаткин. Могу я его видеть? — спросил я.

Патриарх посмотрел на меня внимательным взглядом, слегка усмехнулся и ответил:

— Живет-то он здесь, но видеть его бесполезно.

И опять легкая улыбка подернула его благообразное лицо.

— Почнет во дни скорби своя..., а впрочем, войдите.

Я вошел. Ахаткин, с желтым, бледным лицом лежал на лавке, прямо против жарко латопленного камелька. Он был в валенках, полушубке и меховой шапке. Я попробовал поздороваться, но увидел, что это действительно бесполезно. В том, как он лежал против камелька, видно было чью-то заботливую руку, но все-таки спереди его жарило пламя камелька, — сзади сильно продувало сквозняками от плохо приставленных лавок. На столе оставалось еще немного водки и стояли рыбные закуски.

— На опохмелку будет, — сказал дьячок, окинув остатки пирушки взглядом знатока. — А теперь мне пора. Прощайте.

И он степенно вышел. Ахаткин спал, как младенец, но лицо у него было страдальческое и изможденное.

И все-таки из Якутской области он уехал более здоровым, чем приехал сюда...

Когда я вернулся к товарищам и рассказал о своей встрече, Папин и Вайнштейн рассказали мне, что дьячок этот — личность в своем роде замечательная. Он был сослан в Якутскую область по распоряжению... местного архиепископа. В свое время он был дьячком в одном из монастырей средней России. В молодости он отличался необыкновенным голосом, превосходным знанием службы и вообще большими способностями, но сильно пьянствовал еще в семинарии. Из семинарии его исключили до окончанья курса, и он попал в дьячки, вдобавок под начальство бывшего товарища, большого тупицы, но поворного теленка и пролаза. Этот священник не мог

простить бывшему товарищу его насмешек в семинарии и любил при прихожанах попралять его во время богослужения. Попралял по большей части не к месту. Однажды дячок не вытерпел и на одно из замечаний ответил громко во время службы:

— Кто бы попралял, а то...

И он во время торжественного богослужения привел неприличное прозвание, которым товарищи семинаристы дразнили этого священника.

За это сначала он попал в монастырь, но не ужился и там. Рассказывали, что однажды он во время какой-то монастырской пирушки обобрал в кельях все иконы, навалил их на салазки и стащил в кабак. Тогда владычное долготерпение истощилось и, на основании каких-то архаических правил, по распоряжению архиепископа, он был передан гражданским властям для ссылки в дальние места, как починковский Левашев был сослан по просьбе отца.

Теперь он состарился и сильно остепенился. Держался он важно, как подобает особе, до известной степени напимавшей Саваофа. У него было две дочери уже взрослых. Рассказывали, что по временам и теперь «в подпитии» он позволял себе веселые, даже кощунственные песни. Особенно удавался ему один разговор монаха с Богом. Монах лежит в кабаке, в соседстве винной бочки, а Бог его усовещивает. Завязывается спор, в котором победителем остается веселый монах.

Эту песню он позволял себе петь только в исключительных случаях, например, во время всенощных бдений с Ахаткиным, и при слушателях, в которых был уверен. Вообще же он был чрезвычайно сдержан, никогда не забывался во хмело и пользовался отличной репутацией в глазах духовного начальства и среди обывателей.

VIII.

Слобода Амга и ее обитатели.

В Амге я прожил три года. Не скажу, чтобы это был самый счастливый период моей жизни. Самый счастливый наступил по возвращении из ссылки, когда вся моя семья опять соединилась, когда я женился на любимой женщине и вошел в литературу. Но что это был самый здоровый период жизни, когда мы с товарищами занимались земледельческим трудом,—это верно.

Мне приходится ознакомить читателя с условиями, в которых я прожил эти три года.

Жители Амги называли себя «пагынай», в отличие от якутов, которых они называли «джикут». Название «пагынай», которым они очень гордились, происходило от русского слова «пашенный», которое указывало на их крестьянское происхождение. Говорили, что они переселены с Амура генерал-губернатором Муравьевым-Амурским, но должно быть это переселение совершилось ранее,—до такой степени они успели утратить черты русской народности. Мужчины еще говорили по-русски, хоть и с сильным якутским акцентом. Женщины говорили только по-якутски, и, порой, понимая русский язык и даже умея немного говорить на нем, как будто стыдились говорить по-русски. Даже жена Васильева, порой заговаривавшая со мной по-русски, смолкала при посторонних и не могла мне объяснить, почему она стыдится русского языка. Но всякий раз лицо ее покрывалось краской, и она прекращала разговор, когда входили посторонние или даже муж. Женщины говорили по-русски считалось как будто неприличным.

Бывшие пашенные хранили воспоминание о своем происхождении и гордились им. Один из них, Захар Цыкунов (с которого я взял своего Макара), просил меня впоследствии, когда я получил возможность вернуться в Россию, прислать ему всю крестьянскую одежду, как носят в России. Перед смертью он намеревался одеться по-русски, чтобы явиться на тот свет, как прилично «пашенному».

В остальном они почти ничем не отличались от якутов: ходили в церковь, но и якуты были тоже православные, и по воскресеньям у церковной ограды можно было видеть привязанных верховых лошадей с высокими якутскими седлами.

На священников амгинцы смотрели, как и якуты: это были православные шаманы, но только шаманы казались амгинцам сильнее. Жители Амги заключали это из того, что шаманы никогда не обращались в случае болезни к помощи священника, тогда как священники звали к себе порой шаманов, и они призывали для исцеления православного священника языческие невидимые силы. Шаман затапливал в таких случаях камин и затем, когда огонь выгорал и в избе водворялась тьма, шаман начинал выкликать и бесноваться, при чем изба наполнялась странными голосами, звучавшими из разных углов, а порой пронесшимися над крышей. Все шаманы искусные чрево вещатели.

Кроме пашенных слобода была почти на половину заселена ссыльными татарами. Главный их контингент были сибирские татары, переселенные откуда-то с юга целой деревней. Еще на дороге до Иркутска мне указывали такие деревни, население которых было снято с мест и выселено губернатором кн. Васильчиковым за грабежи по тракту. Еще в то время, когда я проезжал этими местами, многие избы стояли пустыми. Так же были выселены и амгинские татары. Потом к первоначальным поселенцам прибавляли отдельные семьи с юго-западной Сибири и даже из Уфимской и Оренбургской губерний. Татары эти держались очень дружно и составляли одну воровскую шайку. Администрация заставляла амгинцев наделять их землей и выделять на их долю часть покоса. Работники эти татары были хорошие, но все же не довольствовались одной работой и то и дело прибегали к подсобным промыслам в виде воровства. В моем очерке «Марусяна займка» я довольно точно описал сложившиеся на этой почве отношения между якутами и татарами. Все воровства татары вели, как общественное дело: собирали «муняк» (общественное собрание) и на нем обсуждали сколько-нибудь крупное воровское предприятие. Это делалось на случай, если какое-нибудь из ряда выходящее воровство вызовет повальные обыски по татарским дворам; тогда может найтись многое уворованное раньше. Перед вечером по дороге, мимо нашего двора к лесу тихонько пробирались татарские подводы. Тогда мы знали, что татары готовятся к какому-нибудь предприятию и припрятывают ранее наворованное. Знали это и амгинцы, но как-то не умели защитить себя, и только на следующий день неожиданно узнавали о совершенной краже.

Нас татары не трогали. Они очень любили Папина. Он был по происхождению донской казак. То и дело можно было видеть, как он скакал по прямой амгинской улице в перегонку с каким-нибудь татаринком, причем остальные татары смотрели взглядами знатоков на результаты гонки. Порой, проходя мимо татарского двора, можно было видеть Папина с трубкой в зубах, с глубокомысленным видом оценивающего в кружке татар статьи какого-нибудь только-что приведенного конька. вероятно в эту почу украденного «в якутах». Его мнению о лошадях татары придавали большое значение. Вероятно благодаря этому обстоятельству, у них было постановлено у «государских» не воровать. И действительно нам случалось уезжать на целые вечера на займку к Васильеву, оставляя юрту на произвол судьбы. И всегда, возвращаясь, мы находили все в сохранности. Однажды только татары предупредили нас, что на последнем мунаке у них вышли раздоры. Нашлись несогласные с обществом «подлецы», заведенный лад расстроился, и теперь, — говорил нам наш сосед татарин, — вы тоже поберегайтесь: могут ограбить и вас. Мы действительно поберегались, по очереди караулили по ночам, а одно время я даже спал на плоской крыше нашего «летника». Положим, закончился этот караульный период юмористической сценой. Было это весной. Солнце уже сильно пригревало и на крыше уже было довольно сухо. Я караулил ночью и проснулся довольно поздно. Оказалось, что мои товарищи решили испытать мою чуткость. Они прежде всего вынули из-под головы револьвер, затем, вляя, что я не просыпаюсь, скатили меня

на землю плоской крыши, и утащили из-под головы подушку и полушубок. Только тогда я, наконец, проснулся. Картина, которую я при этом увидел, была для меня, как для сторожа, довольно безотраднa: кругом все над сторожем смеялись. Смеялись товарищи, смеялись соседи амгинцы и—что всего хуже—смеялись также соседи татаре.

Впрочем, скоро нам пришлось сказать, что несогласия среди татар кончились, и мы опять получили возможность оставлять юрту на целые вечера под надзором только собаки Цербера, который всегда сидел над входом, как статуя верности, и встречал наше возвращение ласковым лаем.

Однажды (это, кажется, было во вторую зиму моего пребывания на Амге) Васильев пришел сказать нам, что татаре затевают, повидимому, что-то грандиозное: амгинские крестьяне сильно встревожены их приготовлениями и пришли предупредить его. Он на всю ночь выставляет около своей заимки караулы. Вечером я вышел к своей городбе и прислушался. В слободе было слышно тихое движение и скрип полозьев. Ночь была темная. Из сумрака появилась фигура крестьянина соседа.

— Караулишь, Владимир?—тихо спросил он.

— Да, татаре что-то затевают...

— Да, мы замечаем тоже: ездят куда-то уже несколько ночей. А сегодня уехали на тридцати подводах. Ну, все-таки спи, ложись. Ничего ночью не будет... Поехали в якуты... Вот что-то будет на утро.

На утро в слободу с гиканьем и дикими криками примчался целый большой отряд якутов. Оказалось, что татаре ограбили в соседнем наслеге общественный хлебный магазин. Сделано это было необыкновенно ловко. Татары проехали не обычной дорогой, а горами, для чего возобновили старую, еще екатерининскую дорогу, наскоро ее отремонтировав... Этим и объясняется движение в слободе, которое мы слышали несколько ночей подряд. Так как у якутов деревень нет, и общественные магазины стоят просто в лесу, то татарам было не трудно под'ехать к такому магазину, выломать двери и увезти хлеб. К рассвету хлеб был уже в Амге и здесь канул, как в воду.

Якуты заняли Амгу, точно завоеванную крепость. Они всем отрядом расположились на площади около церкви и оттуда, точно из главной квартиры, произвели набег на слободу, обыскивая всех подряд. Мы узнали, что, начав с противоположного от нас конца слободы, они уже обыскали Афанасьеву, мельника, теперь обыскивают начальника почтовой конторы Борисенко.

Этот Борисенко представлял фигуру чрезвычайно характерную. Худощавый с желчным цветом лица, необыкновенно гордившийся своим званием, своим мундиром и шпагой. К своим обязанностям он относился с изумительной простотой. Например, посылки, присылаемые на имя скопцов, он без церемонии вскрывал, деньги, присылаемые золотом, заменял бумажками, и затем вступал с адресатами в торговлившийся порой целые недели. Адресат требовал дец'ги или посылку, Борисенко старался выторговать побольше в свою пользу. Жалобы на него не помогали. В мое время дело велось якутскими чиповниками очень откровенно, по поговорке—ворон ворону глаз не выколет. Чиновник, в особенности в столкновении с ссыльным, всегда оказывался прав. Однажды он таким же образом попробовал вскрыть посылку, адресованную Папину, но встретил со стороны Папина такой отпор, что тотчас же выдал посылку, даже без формальностей полицейского осмотра.

Навстречу якутам, привалившим к нему с обыском, Борисенко вышел в полной парадной форме, в мундире и со шпагой. Он кричал, что они не смеют обыскивать чиновника, грозил жалобой, но разъяренные якуты хорошо знали о его воровских проделках со скопцами, и его протесты казались им тем более подозрительными. Как бы то ни было, он напрасно ходил вокруг в мундире, помахивая смешной шпажкой. Якуты сумрачно продолжали свое дело, предводимые своим ппсарем Лапчиком. Это был человек духовного происхождения, живший в Амге. фигура тоже

довольно комичная. Во главе целого отряда разъяренных якутов, он ходил из дома в дом, не принимая никаких протестов. Обыскивали даже священников. Мы ждали у своих ворот, решив с своей стороны не сопротивляться обыску, так как признавали за якутами право пекать свой общественный хлеб по горячим следам.

Вот, наконец, они поровнялись с нашим двором. Впереди шел Лапчик,—человек низенького роста, полный, с лицом, на котором в данную минуту рисовалось сознание своей важности и силы. Поровнявшись с нашим двором, он вдруг остановился. Подозвав к себе нескольких якутов, он о чем-то стал совещаться с ними, и потом приветливо махнул нам рукой.

— Сох, нет!—крикнул он.—Эти не скроют.

— Сударские не надо,—подтвердил громко один из якутов, и весь отряд провалял мимо.

Это еще более оскорбило Борисенка, и в своей жалобе он особенно подчеркивал то обстоятельство, что его, чиновника, обыскиали, а государственных преступников не обыскивали.

История эта в свое время наделала много шума не только в Амге и ее окрестностях, но и в Якутске. Вероятно якутам пришлось вести объяснения с начальством, сопровождаемые аргументами, имевшими свою убедительность. Как бы то ни было, хлеб, привезенный на тридцати двух подводах, исчез бесследно. Конечно, нагрянувшая полиция из Якутска, ходила по татарским дворам, но ничего не нашла.

В своем очерке «Марусина заимка» я довольно подробно описал эту войну татар с окружавшими Амгу якутами. Неточность там только одна: в центре этой борьбы стояло не то лицо, которое я там выставил, а русский, живший в самой Амге, и, правду сказать, не совсем доброкачественный. За этим отступлением в очерке довольно верно изображены отношения воюющих сторон...

Между прочим, там изображен эпизод с двумя слепыми стариками из якутов. Они заработали тяжелым трудом (помол хлеба на ручных мельницах) теплые покрывала на зиму. Татары их украли, ограбив амгинского жителя, которому старики отдали свое сокровище на хранение. Старик (муж и жена), держась за руки, шли по улице слободы, и из незрячих глаз по их лицам текли слезы. Мне попались они навстречу, на них же смотрели татары. Я был сильно взволнован этим зрелищем и, подойдя к одному из этих татар, нашему соседу, которого, помнится, звали Александром, указал ему на стариков и сказал:

— Посмотри, Александр... Хорошо сделали ваши татары?

Должно быть было что-нибудь в моем тоне, что его сильно задело.

Этот Александр был человек, представлявший для меня загадку. У него были прекрасные глаза, притом голубые, совсем не татарские. Он сильно интересовал меня, и порой возбуждал во мне симпатию. Он как будто невольно тяготел к нам и порой приходил «посидеть». В таких случаях он говорил мало, а больше слушал, как будто вдумываясь в слышанное. В его жизни было тоже большое горе. Все знали, что он без ума влюблен в свою жену, в которой тоже не было ничего татарского. Она была очень красива, и все знали, что она изменяла мужу. В Амге рассказывали, что, вернувшись с какой-то ночной экспедиции слишком поспешно, он застал у себя муллу, старого и очень некрасивого. Он чуть не убил его, но жене не мстил и попрежнему находился у ней в полном подчинении. Порой он приходил к нам пьяный, бормоча что-то, и видимо в очень тяжелом настроении. Однажды он сказал, положив руки мне на плечи:

— Какие вы люди? Я не знаю, какие вы люди... А я вот какой человек: кабы мне не жена,—давно я бы каторгу себе заработал...

Очевидно, «заработать каторгу» он считал достоинством, доказывавшим удачу. Однажды при нем заговорили об одном богатом якуте, жившем очень «людно». Татары давно подбирались к его богатому дому, но все неудачно. Народу у него жило много, и было очень опасно взламывать у него амбары. Александр слушал эти толки, и глаза его вдруг сверкнули.

— А я знаю, что нужно сделать... Подпалить юрту... Якуты станут выскакивать в дверь, а у двери поставить двух человек с топорами. Как выскочит, так и прикончить.

И его глаза сверкали одушевлением изобретателя. И я не уверен, что, при известных условиях, он не выполнил бы этого своего изобретения.

И вместе с тем в этой темной душе жили движения совсем другого рода. Когда я попрекнул татар слепыми стариками, он, очевидно, несколько дней находился под впечатлением этого упрека. Наконец, однажды он привел ко мне семью татар, выселившихся в Амгу из соседнего улуса. Под впечатлением войны между татарами и якутами,—якуты перестали им давать работу и равнодушно смотрели, как старики и дети слабели от голода. Семье не оставалось ничего более, как притащиться в Амгу, явиться на крестьянский сход и швырнуть им своих стариков и детей. Теперь Александр пришел ко мне, привел одного из этих несчастливцев и спросил у меня, сверкая глазами:

— Слушай, Владимир... А это, скажешь, хорошо?..

Я не мог, конечно, сказать, что это хорошо. Передо мной ясно встала жестокая трагедия этой жизни, которая путем суровых уроков превращает симпатичных по натуре людей в разбойников.

Конечно, не все среди татар были такие яркие фигуры. Рядом с нами была юртенка Туфеев, или, как его чаще называли, Туфейки. Это был худой, истощенный человек с бегающими глазами мелкого ворышки, и часто мы видели, как он ночью прокрадывался мимо нашего двора, увозя в лес ворованное имущество (может быть, даже ворованное не им). Его баба была такая же худая и истощенная, как и он, и дети бегали летом, как хищные зверки, промышлявшие случайной добычей. Здесь уже очевидно исчезала индивидуальная ответственность, и вступал в силу вопрос: ну, а как же им быть? Было жаль крестьян и якутов, жаль до такой степени, что порой и мы ожесточались и готовы были принять участие в борьбе... Но... было жаль и иных татар... И настроение невольно обращалось к тому, что привело нас сюда, то-есть к изменению социального строя... Обе стороны признавали наш авторитет в этой борьбе. Можно сказать определенно, что в мое время слова: «государственный преступник», или, в сокращении, просто «преступник» были до известной степени лестным званием. Однажды мне случилось слышать, как один амгинский обыватель, заспорив с одним из политических ссыльных, который, по его мнению, поступил с ним неправильно, сказал с непередаваемым выражением укоризны:

— А еще называется преступник!..

IX.

Амгинские культурные слои.

В Амге были два «магазина». Один из них принадлежал Татьяне Андреевне Афанасьевой, с которой я вскоре познакомился через товарищей, у которой учил детей и с семьей которой до сих пор поддерживаю дружеские сношения.

Другая лавка принадлежала поляку Вырембовскому. Это был честный и добрый человек, попавший на каторгу за восстание и отбывавший ее тоже в Нерчинске с Чернышевским. Казалось, теперь у него не было ничего общего с прежними молодыми увлечениями. Это был прозаический человек, низенького роста, с большими опущенными вниз усами. Ходил он постоянно в валенках и, казалось, думал только о своих торговых делах. Все знали при этом, что Вырембовский человек глубоко честный, никого не обидит, на слово которого можно положиться, как на каменную гору; порой под его старопольскими усами являлась улыбка, добрая, но слегкаironическая. Мне всегда казалось, что она отложилась в лице Вырембовского, как результат его отношения к своей жизни,—жизни трезвого и практического человека, раз поддавшегося фантастическим увлечениям, которые и закинули его на край света...

Если упомянуть еще об одном торговце, который, однако, своей лавки не имел и вел какие-то дела с тунгусами из тайги, то затем мне придется отметить еще мельника, у которого, в противоположном от нас конце слободы, была деревянная мельница с конным приводом. Он считался у якутов представителем особой мудрости, дававшей ему возможность перемалывать невероятное количество муки. Якуты находятся еще в той стадии культуры, когда всякое ремесло считается чуть не колдовством. Мне случилось в улусе видеть двух кузнецов. Они считались вместе с тем и врачами, и колдунами.

Затем в качестве представителей культурного общества мне придется упомянуть только о священниках. Их было два. Один был местный уроженец, сын попа Ивана, о котором мне приходилось упомянуть в «Сне Макара». Этот поп Иван был необыкновенно добрый человек; о нем в Амге сохранилась наилучшая память. Но у него был один недостаток: он был горький пьяница. Раз в пьяном виде он свалился в пылающий камелек и сгорел. Сын его был необыкновенно благообразен, но и необыкновенно туп. Рассказывали, что якутский архиерей, живший в монастыре под Якутском, считал своим долгом посвятить сына попа Ивана во священники. Этот архиерей был необыкновенно толст и в такой же степени добродушен. В нем повидимому бродили какие-то идеи. Некоторым священникам он рекомендовал познакомиться с каракозовцами, Страпденком и Юрасовым, рекомендуя их, как замечательно умных людей, у которых можно многому научиться. Эта просветительная экскурсия закончилась довольно оригинально: священник доказал, что он умнее Страндена, тем, что успел надуть его на каком-то подряде. Посвящая благообразного сына попа Ивана, благодушный архиерей не раз восклицал громогласно в сердечном сокрушении на всю церковь:

О, Господи, Господи! Взыщешь ты с меня недостойного за то, что я такого тупицу (он выразился еще резче) ставлю пастырем и наставником...

Теперь отец Николай несколько уже лет был священником в Амге, изучил обыкновенные службы, а в экстренных случаях пользовался содействием дьячка. Жители к нему относились в память отца благодушно, тем более, что голос у него был очень хороший и служил он благолепно.

Другой священник, настоятель церкви, был человек худощавый, желчный и нездоровый. Волосы у него были жидкие, при чем рассказывали, что их значительно разрешил какой-то дьячок в церкви, где он служил ранее, подравшись со своим настоятелем в пьяном виде. Священник сторяча написал на дьячка жалобу и, приложив к жалобе прядь волос, послал все это к архиерею. Благодушный архиерей призвал обоих и в довольно суровом увещании склонил к «евангельскому» миру.

Порой духовенство, по случаю, например, именин, устраивало у одного из священников попойки, и нам случалось бывать на таких празднествах. От татарской водки, настоянной вдобавок на табаке, все быстро пьянели. Особенно слаб бывал сам настоятель. Подобрал полы своей рясы, он пускался в пляс, выделявая погами удивительные курбеты. Младший священник Николай играл при этом на скрипиче, сохраняя то же невозмутимое выражение на своем благообразном лице, а великодушный, знакомый уже мне дьячок, на которого совершенно не действовала водка, укоризненно помахивал своей седовласой головой и говорил:

— Ах, батюшка, батюшка!.. Нет на тебя матушки... Была бы жива, задрала бы она на тебе ряску-то, да всыпала бы горячих... Прилично ли пастырю производить этакое неблаголепные выкрутасы.

Священник становился против него и отвечал с большим сокрушением и горестью:

— Молчи, дьяче, молчи! Нет матушки и к тому уже не будет.—И по лицу его текли слезы.

А отец Николай продолжал пилять на скрипиче. В общем такие вечеринки наводили на нас тоску, пока не наступал единственный номер, действительно яркий и очень характерный. Это был приход двух настоящих артистов из уголовных

ссылных. Один был глубокий бас, другой высочайший тенор. Оба они были неразлучны и, когда бывали в Амге, то приходили на вечеринки вместе. Я тогда же зарисовал обоих. Бас был необыкновенно лохмат и плотен; тенор худой, с маленькой головкой, на тонкой шее. Особенный эффект производил в их исполнении какой-то старинный романс нравоучительного свойства. Начинался он словами:

Среди игры, среди забавы...

Среди благо-благо-благополучных дней...

Начало это выводил тенор на самых высоких нотах. Потом рокотал бас:

Среди богатства, чести, славы,

К полной ра-ра-радости своей-е-ей...

И это «ра-ра-ра» звучало, как гром, заполняя всю комнату, отдаваясь во всех углах. После этого вмешивался опять тенор, и оба голоса вместе гремели, далеко вырываясь за пределы поповского дома на морозный воздух. Казалось, квартира священника превращалась в какой-то гремещий улей. Звук неслись... далеко по лугам, привлекая внимание одиноких путников. У порога поповской гостиной собиралось все население поповского дома,—прислуга, работники, работницы. Они тянулись друг из-за друга, вытягивая шеи. Порой среди них появлялся проезжий якут, в своем плюсовом кафтане с приподнятыми рукавами, и в острокопечной шапке. Он тоже жадно, не без удивления ловил неслыханные звуки. Якуты не знают не только хорошего пения, но я не слышал у них даже дуэта. Они поют только в одиночку и то не полным голосом, горловыми всхлипываниями. Не мудрено, что дует, да еще такой громоподобный, привлекал внимание якутов. Порой артисты даже сами уходили «в якуты», прослышав о свадьбе или какой-нибудь пирушке. Там опять гремело «Среди игры, среди забавы». Якуты, конечно, не понимали поэзии этой песни, сочиненной наверное каким-нибудь духовным пиитой. Но они отдавались течению гармонических звуков... После игры и забавы наступали превратности, судьба преследовала человека все грознее, бас становился все могущественнее и глубже, тенор вскрикивал все отчаяннее. Казалось, не оставалось места ни малейшему утешению... Но вдруг мотив опять смягчался, и тенор мягко, утешительно вводил первоначальные ноты: «Среди игры, среди забавы»... Буяра постепенно, гармоничными нотами сходила опять на игры и забавы, и все звуки из бездны отчаяния взбирались опять на высоты гармонии.

Я уже сказал, что певцы были настоящие артисты, и это была их любимая песня. Было очевидно, что они сами увлекались и увлекали слушателей. Слава их гремела далеко за пределами Амги. О них известно было в Якутске, в архиерейском хоре, откуда бас получал неоднократные приглашения. Но, верный дружбе, он не соглашался поступить в хор иначе, как вдвоем с тенором. Однако,—даже искренняя дружба порой изменяет: в один прекрасный день бас соблазнился, оставил своего компаньона и исчез. Трудно себе представить всю глубину несчастья, в котором после этого очутился тенор. Случилось это около Пасхи, и он явился ко мне в отсутствие моих товарищей. Он показался мне еще худее и тоньше, и—прямо попросил водки... Не могу без угрызений совести вспомнить, что я ему отказал. Я предложил ему всякой пасхальной снеди, посадил его за стол и стал угощать. Он сел, в надежде, что я смиростивлюсь и поднесу ему водки. Но я предлагал все, что угодно, а водки не давал. Не помню, каковы были причины этой моей жестокости. Может быть у меня тогда действительно не было водки, а может быть меня удерживал просто жестокий молодой ригоризм. Как бы то ни было, я предлагал все, что угодно, но водки не давал. Он смотрел на меня жалостным взглядом и потом, внезапно подставившись из-за стола, повалился мне в ноги.

— Милостивец,—сказал он, глядя на меня жестоко страдающим, потухшим взглядом умирающего,—я пью теперь совсем не потребляю... Водки мне, водки... Хотя рюмочку небольшую... маховыкую...

Мне хочется думать, что причина моей жестокости была уважительная. Папина и Вайштейна тогда, вспоминая, дома не было. Они уехали к недалеким товарищам,

и для себя и водки не покупал никогда. Мне хочется думать это,—иначе я не могу простить себе этой жестокости. Помню, однако, что он поднялся с полу, отказался от угощения и, шатаясь, вышел из юрты. Вскоре он исчез из Амги, дуэты смолкли и об артистах я больше не слышал.

Х.

Мое отдельное жилье.

Однако мне приходится вернуться несколько назад, к первым дням моего пребывания в Амге.

Я решил поселиться отдельно от товарищей. Наша юрта была довольно тесная, и я нашел в Амге урок: первая Т. А. Афанасьева стала посылать ко мне своего сичишку. За нею последовал мальчик вдового священника, и, наконец, третьим моим учеником был сын торговца без лавочки. Кроме того, мне хотелось порою уединиться, чтобы набросать заметку или занести в дневник какое-нибудь новое явление. Поэтому я спросил у товарищей, не найдется ли по близости от них какая-нибудь отдельная юрешка.

Такая вскоре нашлась. Это была нежилая юрта, довольно большая для одного, на самом краю слободы. Она была в полуверсте от юрты товарищей, и я нанял ее у хозяина за три рубля в год. Хозяин был очень симпатичный местный крестьянин, от своего «пашенного» прошлого сохранивший следы усов и бороды, которую он тщательно сбрасывал косарем. Он сам не жил в этой юрте,—семья у него была большая,—поэтому юрта давно не рементировалась. Она отделялась от жилья товарищей двумя-тремя дворами соседей и пустырем... Дальше была околица, слободской коловорот в конце длинной улицы и дорога лугами. В юрте была даже русская печь и окна со стеклами, правда слишком мелкими и вставленными в берестяные рамы. Вскоре я предпочел вставить льдины, так как на стекла намерзало столько инея, что они становились совершенно непроницаемыми для света. Печка тоже была с большими неудобствами: она садилась назад, отчего в трубе образовалась трещина. Трещина все расширялась, и в юрту пыхал из нее дым, а порой и пламя. Мне приходилось часто ее замазывать глиной. Кроме того, когда я стал чаще топить ее, чтобы выгнать холод из намерзших углов, вся юрта стала расседаться; при этом она то кряхтела, как старуха, то издавала другие странные звуки, то из нее что-то сыпалось. Приходившие ко мне посетители находили порой, что жить в этой юрте прямо опасно, но я относился к кряхтению старушки с молодой беспечностью. Засыпать мне приходилось под ее шопот и говор, особенно, когда днем я затапливал печку. Но это бывало не каждый день.

Утро я обыкновенно проводил у товарищей. Затем приходил к себе на время уроков с мальчиками, а потом опять уходил к товарищам обедать и часто оставался до вечера. До сих пор помню ощущение легкой жути, когда я один возвращался в свою пустую юрту. По слободе после моего приезда пошли слухи о моем богатстве. Поводом для этого послужило, во-первых, привезенное с собой лохмотное байковое одеяло; во-вторых, то, что я тотчас же после приезда купил лошадь. Об этих слухах меня предупреждали доброжелатели крестьяне, и каждый раз, когда я входил в затененные сени, мне певольно приходила в голову летучая мысль: не ждет ли меня уже кто-нибудь в этой молчаливой, как будто притаившейся пустоте... Затем я затапливал камелек, в юрте становилось светло и весело, и всякая тень опасения исчезала. Пока камин топился, я писал что-нибудь за столом, потом закрывал камелек, для чего приходилось лазить на плоскую крышу. При этом я не мог отказать себе в удовольствии полюбоваться величественным зрелищем неба. Передо мной, так как моя юрта стояла на краю возвышения, на котором стояла слобода, расстилалась обширная равнина, за нею река Амга и далее крутой кряж гор искрился под лупой и звездами. Порой я певольно прислушивался к тихим шорохам ночи... Скри-

пит полоз... Должно быть татарин пробирается «в якуты» для какой-нибудь воровской экспедиции. Чьи-то запоздалые шаги скрипят по снегу: это какой-нибудь уголовный ссыльный идет в слободу из улуса... Лают собаки...

На этой крыше, под тихо продувающим холодным ветром, я понял истинное значение русского выражения «трескучий мороз». Однажды, когда я стоял и любовался ночью, мне послышался какой-то треск. Я невольно обернулся в ту сторону. Тогда и треск послышался с другой стороны. Я, наконец, понял: это замерзло мое дыхание, точно вблизи ворочали сухое сено.

Порой по вечерам у меня сидели товарищи или кто-нибудь из амгинцев. Особенно любил я посещения хозяина моей юрты, по имени, кажется, Александра. Это был умный и приятный крестьянин, отличавшийся необыкновенным чутьем погоды. Однажды, я попросил у него седло.

— А когда поедешь?—спросил он.

— Завтра с утра.

— Седло я дам, но куда же ты поедешь в дождь?

Дело было летом. Стояли жары, и на небе не было видно ни облачка. Я засмеялся. И однако на следующий день около полудня действительно пошел дождь, и я вымок до нитки.

— Спроси у Александра. Он знает,—говорили порой амгинцы. Я любил разговаривать с Александром. Мне нравилась его спокойная манера, нравились и самые суждения.

В этот вечер я поставил свой самодельный жестяной самоварчик, тот самый, из которого я угощал еще починковцев. Мы сидели и беседовали, как вдруг моя юрта крикнула вдруг так своеобразно, что Александр вскочил.

— Слушай, Владимир,—сказал он с беспокойством.—Лучше же я добуду откуда-нибудь твои три рубля и отдам тебе... Эта юрта провалится.

Внимательно вслушавшись, он настоял, чтобы я перебрался на следующий же день. Так как и по моему мнению Александр знал то, о чем говорил, то я послушался.

Признаться, мне было жаль покидать мою юрту. Я в ней провел уже три-четыре месяца и успел свыкнуться с нею. По вечерам мне было приятно писать в уединении, среди полной тишины, за ее столом. По утрам—заниматься с мальчиками. Я уже сказал, что их было трое. Первый был сын Т. А. Афанасьевой. Сын русской и якута,—он был похож на якутенка лицом и подвижен, как обезьянка. Каждый день он приезжал верхом за спиной работника. Работник оставался на лошади, а Ганя тотчас же спускался с лошадиного круна. При этом он без церемонии становился ей на задние ноги, а порой еще как-то особенно юмористически держался за ее хвост. Так же он влезал на лошадь после урока. Якуты вообще довольно бойки, сообразительны и среди других инородцев играют роль торговцев. Ганя никогда не задумывался в ответах. Удачно или неудачно,—он отвечал сразу, схватывая все на лету, и во всех затеях играл первую роль. Когда между татарами и якутами обострилась вечная война,—он всегда первый, ворвавшись ко мне, сообщал ее последние новости. Иногда эти новости сообщались в такой оригинальной форме, мальчики на перебой сыпали такими своеобразными суждениями, что у меня являлось желание немедленно записать эти разговоры, и я очень жалею, что у меня они затерялись. Общее сочувствие мальчиков было на стороне якутов и их предводителя. Однажды они наперебой засыпали меня сообщениями о происшествиих последней ночи: татары отправились в экспедицию в ближайший наслег. Якуты сделали засаду, папали на их лошадей, поставленных в стороне, и отбили одну лошадь. Известному удалцу, моему знакомому Александру, пришлось вернуться из экспедиции пешком. Все это стало известно в слободе, и мальчики рассказывали с увлечением про эту удачу якутов.

— Учп-тп-иль!—спрашивал один из мальчков,—как вы думаете: это о них научил, чтобы сделали засаду?

Он—это русский предводитель, живший в Амге.

— Он,—подхватил Ганя,—непременно он... Правда, он это хорошо сделал, учить-иль?

Руководитель якутов в этой борьбе возбуждал истинный восторг моей маленькой школы. В течение нескольких следующих ночей татары осторожно под'езжали к якутским юртам и кричали издали, чтобы те отдали коня...

— Не отдадут, потому что они его уже с'ели...,—решительно сказал Ганя.— Зарезали и с'ели на своем собрании. И как это Александр сплеховал? Теперь все над ним смеются, а он тоже храбрый молодец... Правда, учить-иль. Александр тоже удалой добрый молодец, как это говорится в сказке.

Едва ли какому-нибудь учителю в России приходилось иметь дело с такими мотивами... Борьба шла начистоту, и вопросы удали и силы покрывали другие мотивы, которые я старался ввести в их кругозор.

Когда я выбрался из юрты Александра, то сначала мальчики приезжали в жилье товарищей, а потом я нашел более удобное помещение у Захара Цикунова (с которого я написал впоследствии своего Макара). Это был пашенный, женатый на якутке. У них была маленькая дочка. Жилье их состояло из юрты и русской избы с плоской крышей. Сами они жили в юрте с коттоном (отдел для хлеба), а русскую избу с прямыми стенами и широкими окнами сдавали мне. Отношения Захара с женой якуткой были очень оригинальны. Они никогда не дрались, но порой ругались при помощи... песен. Начинала всегда жена. У нее было много поводов для огорчения: Захару нередко случалось выпивать так, что она узнавала об этом только после того, как буданка привозил хозяина от татар совершенно пьяным. Если порой он привозил бутылку татарской водки и угощал ее, она сначала была весела и приветлива, но потом вспоминала прежние обиды и начинала выпевать все его прегрешения. Порой они ложились мирно, но когда начинали засыпать, то вдруг раздавалось почти истерическое всхлипывание, и я из своей комнаты слышал, как якутка начинала петь жалобно и протяжно. Захар пытался возражать ей все так же параспев, но вскоре принужден бывал сдаться. В особенности памятен мне один такой вечер. Помнится, это было под Рождество. Захар ради наступающего праздника привез бутылку водки, и супруги совершенно мирно рослили ее. Потом так же мирно улеглись. Но после некоторого молчания жена начала всхлипывать, и вскоре полились звуки якутской песни. Тогда я уже понимал по-якутски и с любовью пытался прислушаться. Жена пела, что напрасно она пошла за лашенного. Лучше бы вышла за якута. Он не стал бы так пьянствовать тайно от жены и ей было бы веселее. Захар возражал также песней. Захлебываясь и всхлипывая, он пел, что может и он нашел бы жену получше. Но в его голосе не было уверенности. Действительно, его прегрешения значительно превышали то, в чем он мог упрекнуть жену. Кроме того, он не владел песней так свободно, как его благоверная. Поэтому его голос становился все тише, ее рулады, наоборот, все истеричнее и громче. Тогда он грозил мною. Вот «нюче» (русский) за дверью все слышит и не даст якутке обижать пашенного... И все это происходило как будто во сне. С закрытыми глазами она выпевала свои жалобы, с закрытыми же глазами он возражал. Только в тот вечер под Рождество дела моего бедного Захара стали так плохи, что он, наконец, появился на моем пороге. Глаза его были сильно заплаканы.

— Владимир,—сказал он,—зачем ты даешь якутке обижать меня... Она совсем выгнала меня из юрты. Прикрикни на нее. Она испугается.

Он был так жалок, что я подошел к порогу и сказал, хотя довольно ласково:

— Тытыма (замолчи) Лукерья (кажется, ее звали так)... Будет тебе обижать мужа.

И она сразу смолкла. Но вместо нее раздались всхлипывания детского голоса. Маленькая дочь ее в свою очередь пела сквозь сон. Якутская песня вообще производит жалобное впечатление, но я не знаю, с чем сравнить этот детский голосок, вплетавшийся в песенные переругивания родителей.

Что она пела, я не мог разобрать...

XI.

У л у с н и к и.

Так мы называли между собою товарищей, политических ссыльных, разбросанных вокруг Амги, певдалеке, а порой и далеко от слободы по отдельным якутским юртам. Они невольно тяготели к слободе, являясь к нам довольно часто за покупками, а порой и просто для того, чтобы отвести душу.

Первым из таких узусников явился в слободу Ананий Семенович Орлов, которого я встретил в якутском остроге. Он явился довольно скоро после моего приезда, и мы встретились, как знакомые. Это был человек среднего роста, с чисто русским, несколько скуластым лицом, с большой бородой, закрывавшей всю грудь, и чрезвычайно добродушный. Он писал стихи, довольно, правду сказать, плохие, и очень сердился, что мы не признаем его поэтом. Он приписывал это предрасудку: поэт, дескать, по нашему мнению, должен быть отмечен перстом судьбы, а он для нас является человеком обыкновенным. Однажды, чтобы испытать нас, он принес нам стихотворение Надсона, выписанное из последнего журнала, выдав его за свое. Он торжествовал заранее, предвидя, как мы его забракуют, и был очень удивлен, когда я не только определенно сказал, что это написано не им, но даже назвал вероятного автора.

За что был арестован этот человек—настоящее олицетворение благодушия,—я теперь сказать не могу. Он был телеграфист. Арест его произошел в одном из мелких уездных городов, и он очень колоритно рассказывал о своем пребывании в тюрьме этого города. Тюремным надсмотрщиком был у него старик, николаевский солдат, очень добродушный, относившийся к нему так же, как к Цыбульскому относился старик надзиратель Литовского замка, то-есть покровительственно и несколько тиранически.

— Царень ты, я вижу, хороший, а на службе не ужился, даже в тюрьму, вишь, попал... Как же это так?

Орлов пытался объяснить, за что он попал в тюрьму: правительство притесняет всю Россию, а мы, дескать, пытаемся освободить народ.

Старик снисходительно слушал, улыбаясь, точно на ребяческие бредни.

— Значит, вы супротив царя... Та-ак... Глупые вы люди, ничего не понимающие... А ежели царь пошлет супротив вас войски... Мало ли их у него?..

Орлов начинал объяснять, что войска—тоже народ, что пропаганда проникает уже и в войска, и приводил примеры.

— Ка-ак, значит вы уже бунтовать и войски!.. Ну, когда так, ступай в камеру. Будет тебе гулять, посиди, когда так, за решеточкой!.. Ты вот какой: войски бунтовать!.. Посиди, посиди, а то бы и еще погулял.

И он, гремя ключами и ворча, загонял Орлова в камеру.

Кроме этого жанрового рассказа, я ничего от Орлова о его деле не слышал. Думаю, что и серьезного дела никакого не было: правительство в своем отношении к революционному движению не шло дальше философии этого надзирателя, с той оговоркой, что это была философия добродушного человека, а правительство прибавляло к ней много жестокости.

В течение нескольких месяцев Орлов часто посещал Амгу: он жил в одном из соседних наслегов, верстах в двадцати. Через некоторое время он стал нам рассказывать, что в его юрте живут двое новобрачных почти еще детей,—сын хозяина и его молодая жена. А далее мы стали замечать, что Орлов начинает писать якутские стихи, посвященные какому-то «идеалу».

Месяца через четыре, а может быть и больше, однажды, когда мы возвращались от Васильева, перед моей лошадью вдруг выросла на дороге, среди снежной пурги какая-то фигура. Я остановил лошадь. Фигура оказалась Орловым.

— Почему вы попали так поздно? Дождались бы нас.

— Я боялся одиночества в вашей юрте... Особенно заметив, что у вас на полке револьвер,—ответил он уныло.

Когда мы приехали домой, то всем нам бросилось в глаза, что на Орлове, как говорится, лица не было. Он был бледен, страшно осунулся, исхудал. Оказалось, что его поэтическое сердце сильно затронуто молодой якуткой. Он ей писал якутские стихи, но она оставалась равнодушной. Все это он мог стерпеть, но вот прошлой ночью мужа дома не было, а в юрте слышны все звуки... И вот, поэт проследил ревнивым ухом, что его идеал изменяет мужу с каким-то проезжим якутом. Особенно уязвил его поэтическое сердце заключительный эпизод этой измены.

— Понимаете: я ясно слышал, как зазвенели четыре пятака...

И на лице бедняги выразилось такое страдание, что я прямо испугался.

— Надо на это обратить серьезное внимание,—сказал я товарищам,—дело, по-видимому, серьезное. Видите: парень совсем сохнет.

— Ничего,—сказал новоприбывший наш товарищ Ромась.—Я его знаю: до конца никогда не высыхает. Посохнет, посохнет, да и утешится.

И действительно, через некоторое время Орлов пришел значительно повеселевший. В объяснение своего расцвета он вынул записную книжечку и показал мне записку: «идеалу три рубля».

Когда я возвращался в Россию, то в Иркутске застал уже Орлова, который выехал раньше. Он приготовил, тщательно переписав, две или три тетради своих стихов и взял с меня слово, что я их передам в какую-нибудь редакцию. Я это исполнил, увы!—безуспешно. Всю переписку с редакциями я препроводил Орлову, чтобы показать, что на печальный для автора ответ не имело влияния мое «предубеждение». После двух-трех опытов в нескольких редакциях, бедняга убедился... У меня сжалось сердце, когда я года через два-три узнал, что Ананий Семенович Орлов умер в Иркутске, оставив жену и сына. В последнее время он служил у Рыхлинского... В воспоминании моем осталось от этой фигуры, мелькнувшей в моей жизни, впечатление доброты, мигкости, благодушия, а один раз я горько раскаялся, что слишком легко отнесся к одному его предупреждению.

ХП.

Трагедия Павлова.

Вскоре наша колония увеличилась еще двумя товарищами. Это были Ромась и Павлов. Ромась был родом из юго-западного края, по виду и по речи настоящий хохол. Это была фигура чрезвычайно своеобразная. Не получивший никакого образования, он однако производил впечатление совершенно образованного человека и мог поддерживать самый сложный интеллигентный разговор. Всего этого он добился упорным, самостоятельным чтением. Всего, но не письма. Писал он каракулями, как человек совершенно неграмотный. Это впоследствии много ему вредило. Многие железнодорожные администраторы после первого разговора с ним готовы были дать ему любое интеллигентное место, но при взгляде на его почерк, испытывали сильное колебание. Я много раз предлагал ему воспользоваться свободным временем и выработать себе, при моем содействии, такой же интеллигентный почерк; но он упорно от уроков отказывался, да пожалуй в его возрасте это было уже довольно трудно.

Его товарищ Павлов был петербургский рабочий. Он был ученик Халтурина, того самого, который проник под видом плотника в Зимний дворец и устроил там взрыв. Павлов рассказывал о нем, как этот террорист убеждал со слезами своих учеников рабочих продолжать пропаганду среди своей братии, но ни в каком случае не вступать на путь террора.—«С этого пути возврата уже нет»,—говорил он. И действительно, сам Халтурин закончил жизнь висельницей, после убийства военного прокурора в Одессе.

Казалось, нет двух людей, более несходных, чем Ромась и Павлов: один родом из Вологодской губернии, из семьи крестьян, великоросс. Он был полон, даже пожалуй толст и довольно неповоротлив, сохранил много крестьянского в приемах, хотя не любил крестьянских работ и никогда с нами в них не участвовал. Ромась, наоборот, был выше среднего роста, коренаст, сухощав, и чрезвычайно упорен в работе. Они выразили желание поселиться вместе, и были поселены в двадцати пяти верстах от нас, в якутской юрте, если не ошибаюсь, Балагурского наслега, расположенного на юг от слободы, по течению реки Амги. Я узнал вскоре, что они затеяли общий побег: они решили бежать ближайшей весной, с таким расчетом, чтобы выбраться с места, оставив два или три ледохода горных рек. Я вскоре присоединился к этому плану, и мы стали готовиться вместе. Сначала они поселились в якутской семейной юрте. Я стал часто ходить к ним. В выработку нашего плана принимал участие Петр Давыдович Баллод, о котором я скажу после. Мы стали хлопотать об обуви, которую должен был приготовить я, если не удастся выписать принскательские сапоги, которые мы могли достать у того же Баллода. Последний указал нам и путь: через Амгу пролегалла когда-то торговая дорога, так называемой «северо-американской компании», которая вела торговлю с Сибирью. Эта американская дорога пролегалла из Якутска, через Амгу и дальше на тысячу верст горами, в которых сохранились еще следы старых дорог и тропок. Мы хотели приучить население и особенно местное начальство к нашим совместным отлучкам. Затем стоило перебраться через две-три реки, перед самым ледоходом, и мы могли выиграть много времени, пока местное начальство спохватилось бы... А там...

Что было бы дальше? Мы намеревались, пройдя около тысячи верст гольцами (так называются вершины пролегающих этими местами гор), пробраться к Охотскому морю и там, если бы удалось, сесть на какой-нибудь американский пароход. Но это могло быть только случайно. Иначе же нам пришлось бы спуститься вдоль Охотского моря до устьев Амура и затем подыматься по Амуру обычными бродяжьиими путями. Всего вернее однако же, что нас настигла бы погоня, и все закончилось бы самой прозаической тюрьмой и дальнейшей ссылкой.

Но в это время из России стали приходить известия о назначении сроков ссылки. Мы поневоле охладели к своему плану: брести по Амуру,—на это понадобилось бы не менее трех лет. Поэтому мы с Ромасем скоро отказались от побега. Берен плану оказался только Павлов, который как-то страстно на нем настаивал. В это время Балагурский наслег решил для своих ссыльных выстроить новую избушку на берегу какой-то узкой речки, среди густого леса. Место было выбрано очень мрачное. Мне приходится упомянуть об одном происшествии, которое прибавило суеверно-мрачную черту к этой трагедии. Однажды Павлов, бродя по лесу, нашел там и принес, как курьез, какие-то игрушечные деревянные сани, с таким же деревянным седоком. Мы отнеслись к находке как к курьезу и много смеялись над курьезным видом этого седока. Это было тогда, когда Ромась и Павлов еще жили в якутской юрте. Я часто приходил к ним, ночевал у них, и мы очень подружались. Так же я пришел к ним во время находки. Один из семейных, зайца зачем-то в юрту русских и увидя находку, пришел в искренний ужас и стал убеждать нас тотчас же унести сани и седока па то же место в тайгу. При этом он сомневался, удастся ли нам уже избавиться от беды. Оказалось, что это талисман. Когда якут заболевает, шаман заговаривает духов болезни и уносит их в тайгу. Значит, Павлов принес с собой враждебных духов. Мы, разумеется, только смеялись над этим суеверием. Но мне показалось, что Павлову не по себе: крестьяне вологодских лесов тоже имеют дело с инородческими колдунами.

Когда отдельная изба была выстроена и Павлов и Ромась в ней поселились, я опять пришел к ним, и меня поразил мрачный вид этого жилья. Около него не было никакой пристройки, не было даже коновязи. Изба стояла на самом берегу быстрой речки и рисовалась своим свежим лесом па фоне темной тайги, которая густо высилаась кругом избы и на противоположном берегу. Оттуда доносился глухой таежный шум.

— Ну, не долго проживем, ничего...—сказал Павлов.

Но зимой стали объявлять сроки... Было бы безумием настаивать на побеге, и нас очень удивила страстность, с которой Павлов все-таки настаивал. На этом началось некоторое охлаждение между товарищами, и их дружеские отношения стали охладевать. Павлов будто предчувствовал начинающуюся для него трагедию.

Ромась начал жаловаться, что Павлов становится невыносимым в общежитии. Ромась приходил к нам в слободу и проживал целые недели. Приходил иногда и Павлов, но оставался не подолгу, уходя в свою одинокую избушку. Наши веселые беседы втроем за рыбной ловлей и наши разговоры с якутами теперь кончились.. Я до сих пор не могу простить себе, что у меня не хватило достаточно воображения, чтобы представить себе положение Павлова в этой одинокой избушке на берегу мрачной реки, на фоне не менее мрачного леса. Рассказы Ромасыставляли Павлова все более неуживчивым и странным.

Между тем наступила весна. Мы готовились к началу полевых и огородных работ. Это было самое веселое время в году. Мы звали Павлова, но он повидимому не решался притти. Он считал теперь Ромасы своим врагом и вероятно думал, что Ромась восстановил и нас против него. Между тем, к нам приехал новый сожитель, Осип Васильевич Аптекман. Павлов был с ним знаком раньше и прислал записку, прося его приехать немедленно к нему. Это показалось было нам несообразной претензией: Аптекман только-что приехал из Усть-Майи и чувствовал себя сильно усталым. Поэтому он написал, что он сам не может приехать, но что ждет Павлова в Амгу. Я прибавил к этому радужное письмо, в котором уверял Павлова, что все мы будем очень рады его видеть. Я отправил письмо с тем же посланцем, с которым пришло письмо Павлова. На следующий день этот же посланец принес нам печальную весть: в эту ночь Павлов застрелился.

До сих пор этот сумрачный день стоит со всеми мелочами в моей памяти: по небу неслись весенние облака, из которых по временам моросил дождь, а по временам настоящий холодный ливень. Все было полно оживления и жизни. В словах поселенца мне слышалась укоризна: вот если бы, дескать, приехали по той записке, ваш товарищ был бы жив. Я имел еще большие причины укорять себя. Ананий Семенович Орлов говорил мне, что в последний раз, когда он был у Павлова в его мрачной избушке, поведение Павлова показалось ему странным: потолок его избы был растерчен, в некоторых местах биты крепкие гвозди, и на одном из них висела веревка. Кроме того, Павлов заговаривал с Орловым о самоубийстве. Я в этот день очень устал, так как целый день пахал на огороде, и не обратил на предостережение Орлова достаточного внимания. Мне казалось, что самоубийцы не предупреждают об этом товарищей. И, кроме того, приезд Аптекмана казался мне удобным предложением для прихода Павлова к нам. А там мы сумеем удержать его. И вот теперь это известно...

Помню ближайшую ночь. В избе мне было душно. Я вышел на плоскую крышу юрты и здесь из-под наклонной крыши нашего «летника», все смотрел на небо, по которому неслись серые облака, по временам сыпавшие дождь. И много мыслей о жизни и смерти пронеслось в моем уме в эту ночь.

Через несколько дней приехали из Якутска доктор и заседатель для вскрытия тела. Мы получили приглашение присутствовать при вскрытии и решили с Ромасем поехать в избу Павлова. День был чисто весенний,—полный, какого-то особенного оживления: по небу неслись яркие облака, тайга шумела под налетом весеннего ветра, глухо, но как-то особенно внятно. Природа порой удивительно вторит настроению человека, и нам с Ромасем казалось, что теперь она ясно говорила о нашей вине... «Прозевали, прозевали»,—слышалось мне в шуме ветра.

Когда мы подошли к новому срубам на берегу мрачной речушки,—вокруг нее шумел глухой косой ливень. Доктор и заседатель были уже тут, окна избушки были открыты и из нее был слышен голос уже знакомого нам поселенца.

— Ну, поворачивайся, товарищ...—В этом голосе мне слышался добродушный цинизм.

— Пойдем,—сказал я Ромасю, указывая на дверь.

Он отрицательно покачал головой и, несмотря на ливень, остался под стеной избы и простоял так все время... Я, скрепя сердце, вошел...

Лицо Павлова было спокойно: ни тени страдания... Казалось, он простил нам все... Рядом со мною раздался шопот по-якутски. Я обернулся и узнал в числе понятых того самого якута, который с таким страхом отнесся тот раз к Павловской находке.

— Вы тогда смеялись,—говорил он мне с укором.—Мне вспомнилась другая смерть в почиловских лесах, вспомнилось и странное выражение на лице Павлова, когда ему говорили, что он принес нечистую силу. Он был тоже крестьянин. Кто знает, что говорили ему голоса ночи в эти последние часы его жизни. Может быть, он ждал избавителей-товарищей.—«Прозевали, прозевали»... И мне все вспоминались предупреждения Орлова.

После вскрытия тело положили в грубо сбитый гроб и унесли его в могилу, выкопанную на берегу мрачной реки. Яма была глубокая, а в тех местах земли летом не оттаивает больше, чем на сажень.—Я думаю, что и теперь Павлов лежит в ней с тем же скорбным, но все-таки примиренным выражением.

Когда мы вышли из избы, Ромась все стоял под ливнем на том же месте и с тем же выражением на лице.

Молодость беспечно и легко забывает. Пришли новые впечатления, новые заботы. Теперь я чувствую эту смерть гораздо живее, чем чувствовал ее месяц спустя.

XIII.

Петр Давыдович Баллод.

Именем Петра Давыдовича Баллода была полна тогда Амга, хотя он в ней тогда и не жил. Как-то, проходя мимо лавочки Вырембовского, я услышал стук в окно и, зайдя в лавочку, застал Вырембовского сияющим.

— Приехал Баллод,—сказал он, и по виду его было заметно, что он сообщает важную и радостную новость.

Баллод имел непосредственное отношение ко всей жизни Амги. Это именно он доставил первую работу Вайнштейну и Папину: они пекли хлеб на его приисковую партию, работавшую в тайге, где-то на реке Алдане. Через Васильева он часто доставлял работу также крестьянам, а раз в год, в начале зимы, целый обоз из Амги отправлялся в тайгу. Вся слобода смотрела, как вереница саней направлялась лугами, переезжала по льду через реку, потом являлась на другом берегу и узкой лентой подымалась по скалистой дороге на противоположный берег. Потом она исчезала на повороте этой дороги. Амгинцы везли припасы «господину Баллодову». Амгинцы брали с собой только воз сена и припасы для людей. Выносливые их лошади кормились подножным кормом, на что способны только местные якутские лошади. После целого дня пути их спускают на снег, предоставляя им добывать себе корм. Любопытны при этом их приемы: ногой в снегу они описывают круг, потом сильно фыркают, отчего пушистый промерзлый снег разлетается, обважая прошлогоднюю траву. И так эти местные лошади проходят тысячи верст. Понятно, как этот путь труден и для людей: ночлегов под кровлей совсем не встречается, приходится ночевать под открытым небом, и только хороший заработок побуждает преодолевать эти трудности. Большая радость бывала в слободе, когда опять на той же скалистой дороге появлялись первые возвращающиеся слобожане. Источником этой радости был опять тот же Петр Давыдович Баллод: амгинцы привозили из тайги квитанции, по которым Вырембовский выплачивал деньги. Сам Баллод жил в Алданской тайге. Порой к нам являлись от него рабочие приисковой партии и много

любопытного рассказывали о своей жизни и опять-таки о Баллоде. Их рассказы были проникнуты восхищением, удивлением и любовью к «Петру Давыдовичу Баллодову».

— Господин Баллодов, Петр Давыдович, нас не выдаст,—говорили они, разумея заступничество перед золотопромышленной кампанией.—Он за нас стоит крепко.

Их рассказы о его силе, выносливости и чутье местности бывали прямо изумительны. У него были карты Сибири, но он им не особенно верил и приводил много примеров, когда между реками, отделенными на карте сотнями верст, расстояние оказывалось только десятки и наоборот, там, где по карте можно было ожидать совершенного сближения русла двух рек,—приходилось брести по тайге целые недели. Порой он оставлял партию с проводниками тунгусами и по какому-то инстинкту отправлялся через горные кряжи напрямик, набивая карманы только шеколадом.

— Порою думаешь: пропал наш Петр Давыдович. Даже тунгусы только качают головами... А глядишь, через несколько дней подходим к берегу какой-нибудь речушки... Глядь,—горит огонек, а у огонька сидит наш Петр Давыдович и дожидается.

Однажды с ним случилось следующее истинно эпическое происшествие. Приходилось сплавлять вниз по течению очень быстрой реки барку со всем имуществом партии. Друг неожиданная быстрина подхватила барку и понесла на торчавшую выше скалу. Всему имуществу партии грозила гибель. Не растерялся только Баллод: он обернул канат вокруг ствола большой лиственницы, и в конце концов ему удалось удержать барку. В результате этого подвига у Баллода оказалась сломанной нога. Это было за тысячи верст от необходимой медицинской помощи. Баллод справился и тут: под его руководством рабочие соорудили необходимые в таких случаях лубки, Баллод сам забинтовал ногу, и некоторое время пролежал в тайге, продолжая распорядиться работами.

Вообще это был настоящий богатырь, и это подало повод к рассказам, что именно он послужил Чернышевскому прототипом к его Рахметову. Может быть, это была и правда. История его ареста тоже была очень любопытная. Васильев рассказывал, что его арестовали за печатаньем известной в шестидесятых годах прокламации «Великоросс», довольно свирепой, как всегда, когда зовешь к тому, что еще самому не представляется ясно. Но это не верно. Баллод был человек мягкий, что всегда присуще силе, и он относился к «Великороссу» отрицательно: он был арестован в связи с делом Писарева, из-за которого Писарев, тогда уже известный критик, просидел в крепости три года. Баллод учился в университете, одновременно с Писаревым и был с ним на «ты». Однако я заметил, что в отзывах Баллода о Писареве чувствовалось отсутствие дружбы, даже пожалуй замечалось какое-то нерасположение. Я понял этот оттенок только теперь, когда прочел воспоминания о деле Писарева в «Былом». Баллод рассказывал мне, что Писарев был крайне непоследователен в своих взглядах. Проповедуя свободу чувства, он вместе с тем избил на Николаевском вокзале офицера только за то, что одна девица предпочла этого офицера ему, Писареву. Когда Баллода и Писарева арестовали, они были еще юноши,—им было по двадцати одному году. Баллод убедил Писарева написать статью о Шедо-Ферротти, пресмыкающемся писателе, нападавшем в шестидесятых годах на Герцена, обещая напечатать ее на карманном станке. Статья Писарева была очень резкая, заключала много нападок на самодержавный строй и на личность Александра II. По случайному доносу у Баллода произвели обыск, и готовая написанная рукой Писарева статья попала в руки жандармов. При этих условиях Баллод не видел причины отрицать принадлежность этой статьи Писареву: почерк Писарева был известен, и авторство легко могло быть установлено. Но Писарев почему-то долгое время отрицал это обстоятельство, и Баллоду пришлось на очных ставках уличать его. Вероятно это обстоятельство внесло известную долю горечи, которую я и заметил при упоминании о Писареве.

Вообще надо заметить, что арестованные тогда и арестованные в наше время

Вообще надо заметить, что арестованные тогда и арестованные в наше время держали себя совершенно иначе. Известно, как унижались перед самодержавием и лично перед царем многие декабристы. Известно также, что от этого упрека не были свободны также и петрашевцы. Вообще можно сказать, что в те времена арестованный русский человек считал себя обязанным отвечать на все вопросы начальства и знал, что его товарищи будут держать себя так же. Я приводил пример из моего уже времени наивного «диллетанта» от революции, С—ва, который считал себя в праве всякий раз при аресте непременно отвечать на все вопросы жандармов, выдавая товарищей. В наше время такие типы составляли уже редкость, но в двадцатых, сороковых и шестидесятых годах гипнотизирующее обаяние самодержавного строя было еще очень велико, и я не уверен, что настоящий Рахметов не давал бы откровенных показаний. То презрение к власти, которое выработалось уже к нашему времени, еще отсутствовало даже в шестидесятых годах. В наше время считалось уже неприличным подавать просьбы о помиловании, а тогда не только Баллод, но и сам Писарев, клеймивший презрением самодержавный строй и его носителя в резкой статье о Шедо-Ферроти, считал сообразным со своим достоинством подать такое прошение, объясняя статью своим легкомыслием и молодостью. Иные времена, иные нравы, и нельзя прилагать одну мерку к разным поколениям. Тогда было еще обаяние, которое к нашему времени совершенно исчезло. Просить пощады считалось унижительным, и люди предпочитали смерть... И быть может, лучшим предвестником гибели строя было именно это отношение к нему побежденных.

Я с удовольствием вспоминаю о многих вечерах, проведенных мною за разговорами с Баллодом во время его приездов в Амгу. Мы встречались с ним на заимке у Васильева, у Вырембовского, который при этом неизменно сиял, или, наконец, Баллод порой приезжал в нашу юртышку. При этом, когда он порой неожиданно выпрямлялся, то обнаруживалось полное несоответствие между нашим низким потолком и его богатырским ростом. У меня осталось от этих разговоров чрезвычайно приятное впечатление. Было какое-то соответствие между его богатырской силой и тем спокойствием, с которым он встречал наши, порой страстные возражения на свои взгляды. Я был тогда все еще страстный пародник, и рассказы Баллода о его жизни среди сибирской общины, проникнутые взглядами индивидуалиста латыша, часто встречали во мне горячий отпор. При этом мне всегда вспоминается спокойное достоинство, с которым Баллод парировал мои возражения.

Из его рассказов мне запомнился один: когда он проезжал, уже высылаемый, через какой-то сибирский город и спал в телеге,—его разбудил его русский знакомый учитель из Луги, Викторов. Тогда была эпидемия поджогов, о которых много писали в газетах. Консервативные газеты на них настаивали, либеральные совершенно отрицали. Викторов был сослан именно за такой поджог. Он как раз в этот день женился и пьяный выскочил на двор и поджег поленницу дров, от которой училище сгорело. Помнится, Баллоду ставилось в вину и его влияние на Викторова. Сам Баллод к этому обвинению относился с искренней иронией, но самого факта поджога со стороны Викторова не отрицал. Было, очевидно, в настроении зеленой молодежи того времени кое-что от «Бесов» Достоевского. Впоследствии долгое время не могли простить его статей по поводу пожаров. Конечно, обобщать их можно было только под влиянием клеветнических побуждений или крайней близорукости, Сам Достоевский, впоследствии,—этих статей, повидимому, стыдился. Но очевидно было также и другое: в павных умах, в роде Викторова, всякое разрушение, хотя бы училища, представлялось актом революционным.

Впоследствии я увидел его уже в России. Тогда он жил уже не в Якутской области, а приезжал в Петербург по поводу какой-то тяжбы с золотопромышленной компанией. Оказалось, что, воспользовавшись тем, что Баллод был очень доверчив к людям и не защитил себя против кляузных подвохов, компания затеяла с ним эту тяжбу, пытаясь оттягать что можно. В то время он был такой же богатырь, и было известно, что он недавно женился. Если он еще жив и будет читать эти строки,—я шлю ему привет и самые теплые пожелания.

XIV.

Тютчев, Кизер и Доллер, Линеv.

Однажды, взойдя в светлый день ранней весны на нашу крышу, я увидел на лугах, в стороне Чапчалгана, санп, сопровождаемые всадниками. Сначала мне показалось, что это едет какое-то начальство. Оказалось, однако, что это к нам в гости приехали еще новые товарищи, которых мы до сих пор не видали. Скоро наша юрта наполнилась веселым гамом и суетой.

Это была компания политических ссыльных с Чуропчи. Мы их знали уже по слухам. Тут были, во-первых, Линеv и Тютчев. Их обоих прислали в Иркутск почти накануне моего отъезда. С ними был тогда еще Шамарин и Екатерина Константиновна Брешковская. Они были первоначально сосланы в город Баргузин, Забайкальской области, но оттуда ухитрились бежать. Побег не удался. Проводник бурят, сначала охотно взявшийся проводить их к китайской границе, потом испугался, раздумал и в конце концов скрылся, оставив компанию среди гор и ущелий. Местность была очень живописна, но без проводника совершенно непроходима для маленького каравана.

Тютчев рассказывал очень живо, как однажды (уже без проводника) они с величайшими усилиями спустились в какую-то котловину, причем лошадей пришлось спускать на канатах почти по отвесной круче, и здесь, на дне котловины расположились на отдых. Беглецы не скрывали от себя, что их положение очень затруднительно, но данная минута оставалась в их воспоминании очень поэтической. Казалось, стоит только оглядеться, и выход непременно найдется. А пока они наслаждались настоящей минутой и считали себя всецело вне пределов цивилизации, и во всяком случае далекими от всякого начальства... И вдруг... как гром среди ясного неба, с вершины той самой скалы, откуда они только-что спустились, послышался звонкий молодой голос:

— Нико-лай Сер-ге-и-ич!..

Звали Тютчева. Начальство парядило погоню из бурят родовичей, отлично знающих горные дороги. Буряты, разумеется, относились с эпическим равнодушием к борьбе правительства и людей, которых они теперь преследовали. Но им исправник велел снарядить погоню, а они привыкли исполнять приказание исправника. Беглецы были окружены, и приходилось сдаваться. Поэтическая страница закончилась: после раздолья гор и ущелий вся компания была вновь водворена в баргузинскую тюрьму и затем разослана в разные стороны. Шамарин, Линеv и Тютчев попали в Якутскую область.

Теперь они жили в местности около Чуропчи, недалеко друг от друга и видались часто, составляя как бы некоторый центр, вокруг которого группировалось много ссыльных той местности. Не могу поручиться, что они не затевали нового побега. Народ был молодой, предприимчивый и веселый. Линеv получил в Америке серьезную сельско-хозяйственную подготовку и решил «до перемены намерений» применить свои знания в новых условиях. Тютчев примкнул к нему. Шамарин, самый молодой из этой компании, очень живой и деятельный, тоже завел хозяйство, причем, так как он был в ветеринарном институте (помнится, в Дерпте), то присоединил к своим запятым также и медицинскую деятельность, над чем товарищи посмеивались. Тютчев в средствах к жизни не нуждался и имел возможность снабжать ими товарищей. Благодаря ему, у всей компании были верховые лошади и охотничьи ружья. Верховые, которых я видел с крыши нашей юрты, были Кизер и Доллер. Эти последние были совсем молодые петербургские рабочие и притом иностранные подданные,—один француз, другой немец. Они родились в России, ни на каком языке, кроме русского, не говорили, но это не мешало им заявить протест против административной расправы с ними... Через некоторое время протест этот был... уважен, и один из иностранных подданных был (другой, Доллер, утонул в Лене, уже

в Иркутске) по этапу препровожден на границу, о чем, конечно, очень сожалел. Но эта горестная страница была еще впереди. А пока оба жили около Чуропчи, работали для якутов по кузнечной или по слесарной части, и я уверен, что теперь Кизер вспоминает об этой полосе своей жизни как о самой счастливой. Француз Доллер оказался, кроме того, замечательным охотником. С весной в якутские палестины налетело невероятное количество дичи. Целые дни и ночи Доллер пропадал в лесах и по озерам. Он не позволял себе стрелять эту дичь дробью. Выждет, когда две-три утки выплывут в ряд, и старается нанизать их на одну пулю...

Эту молодую компанию окружала особенная атмосфера веселья, которое они внесли в нашу слободу. С их приездом у Афанасьевых каждый вечер бывали вечеринки, в которых,—увы!—я принимал всего менее участия. Дело в том, что веселая компания часто приезжала в сильно поношенных сапогах и, скинув с себя сапоги для того, чтобы чуропчинская компания могла отплясывать у Афанасьевых, я садился за починку. Товарищи смеялись, что первый мой взгляд после приезда «казаков» был на их сапоги. В самой Чуропче было тоже достаточно молодежи—дочери священников, торговцев и т. д.—и там тоже шло веселье. Кончилось это тем: Кизер и Доллер на Чуропче поженились.

XV.

Эпопея Ивана Логгиновича Линева.

Старший из этой компании был Иван Логгинович Линева.

Мы все были сравнительно зеленая молодежь, Линева оставил уже позади себя целую полосу жизни. Сын костромского помещика, довольно состоятельного прежде, но впоследствии разорившегося, он изучал сельское хозяйство сначала в Горы-горецком институте, потом в Германии, а потом прошел довольно тяжелую школу в Америке.

Это было время, когда Америка особенно привлекала русских. Мы уже видели пример этого в скитаниях Маликова, Чайковского и других «богочеловеков»... Та же полоса захватила и Линева. Сначала, повидимому, он был человек веселый и изрядный кутила, но это не мешало ему смотреть очень серьезно на жизнь. За что он принимался, то доводил до конца. В самом начале семидесятых годов он эмигрировал в Америку с товарищем, фамилию которого я забыл.

Свой похождения в Америке он рассказывал с большим юмором. Приехали они на эмигрантском пароходе и высадились там же, где высаживались тогда все эмигранты, в учреждении, называвшемся Кастль-Гарден. Туда являлись фермеры для найма рабочих. Наши русские, даже настроенные самым демократическим образом, были невольны оскорблены приемами американских нанимателей: они принимались без церемонии ощупывать мускулы будущих рабочих, как у скотины. Хотя наши соотечественники были народ, повидимому, здоровый, без особых телесных недостатков и не слабый, однако их систематически браковали, пока кто-то из администрации не посоветовал им сказать, что они знают специально известную область сельского хозяйства. Они последовали этому совету и были приняты.

Первые шаги оказались не совсем удачны. У наших эмигрантов были некоторые деньги, и они смотрели на свое положение, не как на крайность. К этому присоединилось довольно грубое обращение и склонность американцев к боксу. Новый хозяин, не понимая русского языка, стал прибегать к языку общепонятному. Кончилось тем, что рабочие изрядно помяли хозяина, но, так как в спросе на труд недостатка не было, то они скоро опять устроились. Только они решили, что им надо поставить себя в положение не столь привилегированное. Линева не без юмора рассказывал, как они наняли оркестр негров и ездили с ним мимо своего бывшего хозяина... Пусть, дескать, знает... Прокутив деньги, они, притиснутые голодом, стали брать всякую работу, сильно отошали, но поденную работу находили легко.

Товарищу, человеку повидимому состоятельному, скоро прислали деньги, и он бросил эти опыты. Он предлагал то же и Линеvu, но Линеv был человек другого закала. Он решил остаться и во что бы то ни стало добиться цели. Товарищ уехал, а он остался.

После этого он много бедствовал и порой доходил до крайности. Он был превосходный рассказчик. Когда он по вечерам рассказывал эпизоды из своего прошлого, — в нашей малелькой юрте стояла жадная тишина. А он именно был рассказчик. Порой мы убеждали его записать эти рассказы. Порой я даже сам пытался это сделать, но ничего из этого не выходило. Линеv говорил медленно и записать было не трудно. Но нельзя было передать тех оттенков слова, тех пауз, тех сверканий взгляда, той иронии и интонаций, которые составляют настоящую музыку слова, порой вызывавшую среди слушателей неудержимые взрывы веселого смеха.

Помню одну яркую картину. Линеv, сильно отошавший, шел через маленький городишко. Вдруг он увидел на площади большую телегу, в роде эшафота, запряженную парой наряженных в фантастическую упряжь лошадей. Оказалось, что это «сибирские врачи». Два еврея, остановив повозку на площади, объявили, что у них есть средства от всех болезней. Тут был главным образом жир северных медведей. Такое врачевание в Америке никому не воспрещается. Если к этому прибавить фантастические костюмы, в роде средневековых алхимиков, с остроконечными шапками, и значительную развязность этих врачей, то не трудно представить себе также, что дела сибирских докторов шли отлично. На Линева напало нечто в роде припадка бешенства.

— Честный человек, ищущий честного заработка, умирает от голода, а разные шарлатаны обманывают невежественный народ... Он сообразил, что евреи говорят по-русски, и сам заговорил по-русски.

Толпа остановилась и стала слушать непонятный разговор. «Врачи», наткнувшись на неожиданное препятствие, решили, что они уже кончили на сегодняшний день, и быстро собрались, пригласив и неожиданно встреченного соотечественника.

— Ну, господин, что вам надо, — заговорили они. — Всякий кормится, чем может. Пойдем, если вы голодны, к нам. А может быть мы и вам что-нибудь придумаем.

Евреи оказались людьми добродушными, и они действительно придумали: им нужен теперь сибирский кучер. Они наряжают Линева в такой же фантастический костюм, и с этих пор они будут раз'езжать вместе. Это будет отлично и все они будут сыты. «А кому это повредит, скажите пожалуйста?»

Эта комбинация не состоялась: Линеv не согласился, но и разоблачать «сибирских врачей» не стал и, расспросив о дороге и переночевав у земляков, отправился дальше.

Много еще Линеvu пришлось перенести бедствий... Переходя от занятия к занятию, побывав он дровосеком и пильщиком на лесопилке... Один из эпизодов его скитаний в начале 70-х годов стал известен в литературе. Это было в самом начале 70-х годов. Скитающаяся русская компания забрела в штат Канзас и остановилась около городка Сенекп. Двое русских стали разряжать испорченный револьвер. Последовал выстрел, и один из них оказался убитым паповал.

Об этом рассказав в «Неделе» или в журнале «Наблюдатель» известный в то время писатель Мачтет. К сожалению, Мачтет рассказал этот эпизод со свойственными этому писателю преувеличениями. Я слышал его непосредственно от Линева, и это было гораздо проще и гораздо ярче. Фамилию убитого не помню. Убивший назывался Речицкий. Вся компания была в отчаянии: убили товарища и вдовавok люди, в этих местах чужие. Могло возникнуть подозрение, что убийство произошло на почве личных счетов. К счастью, Линеv уже тогда порядочно знал английский язык, и к тому же в городе оказался еврей из Галиции, понимавший немного по-русски. В тот же день нарядили суд присяжных, и дело было быстро покончено. Защитник, тот же еврей, сказал очень хорошую речь, в которой изобразил компанию русских, ищущих на свете правды, которой они не находят в своем отечестве, вернее

в своем правительстве. Они приехали за этой правдой в Америку, и вот их постигает тут несчастная случайность.. Речь очень понравилась и польстила американцам. Они оправдали подсудимого и дня два водили всю компанию из дома в дом, угощая русских. В жизни маленького городка это было событие. А затем—скитальцы опять пустились дальше, оставив позади безвестную могилу.

Линев вскоре отстал от этой компании. Ему нужно было войти в американскую жизнь, а для остальных это был лишь мимолетный эпизод. В дальнейшем Линеvu повезло. Не могу изложить дальнейших скитаний последовательно. Помню только, что он нанялся к какому-то богатому предпринимателю, построившему пыльный завод в почти девственном лесу. На молодого русского пыльника обратила внимание интеллигентная жена хозяина. Она заговорила с ним и обратила на него внимание мужа. С этих, кажется, пор хозяин стал давать ему более ответственные и значит лучше оплачиваемые обязанности. Линеvu удалось скопить небольшую сумму, и он завел свой фургон. Он решил завести собственное дело. В это время вспыхнула последняя (кажется) война с индейцами. Линеv стал маркитантом. Он покупал припасы и продавал их американским войскам. Потом он приобрел участок земли и завел собственную ферму.

Теперь Линеv был настоящий американский фермер и прочно стоял на ногах. Но тут-то у него явилась тоска по родине. Цели он добился. Нужно было приложить на родине все, что он приобрел в Америке. В это время в России шло сильное народническое движение, которое правительство произвольными мерами уже сбивало на террор. В Ардатовском уезде, Нижегородской губернии, появился американец Филиппс. У него был американский паспорт, американские приемы и некоторые деньги. Он арендовал имение у вдовы Симанской и стал группировать в этом имении разных «подозрительных лиц». Нет сомнения, что лица были действительно «подозрительные», и среди них впоследствии оказались видные террористы, как Баранников и Квятковский. Но тогда это были еще только народники-пропагандисты. На тайного американца обратило внимание нижегородское жандармское управление: к Филиппсу нагрянули с обыском. Обыск производил майор Воронич. Бедняга этот был, повидимому, не очень умен. Кроме того, Филиппс-Линеv успел внушить ему значительное уважение к своему американскому званию, и он совершил несколько крупных промахов с точки зрения жандармской практики. Сам Филиппс был все-таки арестован, впредь до выяснения его американского подданства, но компания «подозрительных людей» разлетелась, как неосторожно испуганные воробьи. Для Линева началась наша обычная, чисто российская процедура, в которой административный порядок перемешивался с судебным, и в конце-концов Линеv попал в «отдаленные места Сибири», где я его и встретил.

В это время его здоровье, вследствие пережитых в Америке передраг, было уже сильно расшатано. Ему, по-настоящему, следовало основательно отдохнуть. Америка дает многие возможности, но требует напряжения всех сил. Тютчев рассказывал мне, что еще в Забайкальской области им с Линевым однажды пришлось перегопать в грозу несколько лошадей ущельем. Вдруг Линеv сел среди самого потока. Тютчев удивился. Поток все прибывал, и сидящего Линева начало затоплять. Тютчев начал его стыдить:

— Неужели ты перенес столько трудов, чтобы потонуть в этом ручье?

— Это он, видите ли, старался подействовать на мое самолюбие... А куда гут! Я отлично понимаю свое положение, да у меня вдруг отнялись ноги: точно стопудовая тяжесть гнетет книзу. Да, американские заработки дались мне не легко...

В другой раз мы ехали с Линевым и Тютчевым на тройке. Правил в таких случаях Линеv. Дело было в сумерки, дорога довольно широкая. И вдруг мы заметили, что Линеv направляет тройку мимо мостка. Нам едва удалось свернуть на настоящую дорогу,—иначе предстояла опасность свалиться в овраг. Оказалось, что у Линева бывают припадки куриной слепоты,—очевидно тоже результат прежнего переутомления.

Через год, кажется, после своего возвращения в Россию я получил письмо: Линеv тоже возвращается, но вследствие того, что за ним было уголовное дело (проживание по американскому паспорту), его не отпустили, как отпустили бы административно ссыльного, а препровождали этапным порядком. Я уже готовился обнять его в Нижнем, но известие о его продвижении вперед все не приходило, и я узнал, что Линеv умер на одном этапе (Кимильтаке). Этап этот расположен между Иркутском и Красноярском. В 1887 году еще указывали на кладбище его могилу. Теперь, наверное, нельзя найти и следа ее. Так кончилась эта яркая жизнь.

XVI.

Земледельческий труд.

В год моего приезда в Якутск туда же приезжал академик Юргенс. Он доезжал по Лене до Ледовитого океана и производил климатические исследования. Приезжие из Якутска рассказывали, что он ставил свои термометры на Лене против города, и они показывали по неделям свыше 54 градусов мороза.

У нас тоже был ртутный термометр, но он стоял замерзшим целые недели.

Наконец, одним утром Папин пришел со двора, оживленный и веселый.

— Весна, братцы, весна! Сегодня наверное мороз не больше 25 градусов.

Мы действительно температуру не ниже 25 градусов мороза ощущали, как настоящее веяние весны. Это понятно. В последние недели мы вынуждены были оставить ближние водопой и гонять лошадей на реку, потому что ближние водопой в стоячих водах промерзли до самого дна. Когда самое дыхание вырывается из груди с треском, когда нельзя пробыть на воздухе пяти минут, чтобы не отморозить ухо или концы пальцев, тогда понятно, что мороз в 25 градусов может показаться настоящим веянием весны.

Раз начавшись, это смягчение идет уже неуклонно. Дни быстро прибывают. Зима начинает отступать. Переходный промежуток занимает короткое время. Только по ночам духи зимы вокруг юрты метутся и стонут... Лошади чувствуют это и бегают вокруг двора с сумасшедшими глазами, распуская по ветру хвосты и длинные гривы. У каждой лошади при этом свой нрав. У нас их было три. Особенно беспокойный конек был у Папина. Серый в яблоках, очень красивый, он легко вспыхивал и бесился. С началом весны, когда к ночи начиналось как будто обратное веяние зимы, он начинал бегать вокруг двора с распушенным по ветру хвостом и длинной гривой (гривы у якутских лошадей вообще очень длинные). У Вайнштейна была белая лошадь, сильная, но несколько тяжеловатая. У меня — стального цвета в яблоках, с белой гривой и белым хвостом. Обе наши лошади, моя и Вайнштейна, искоса и как будто с интересом смотрели на беснования папинского конька и сами начинали беспокоиться. Весенними ночами, под завывания вьюги, мы слышали вокруг юрты частый топот. Это значило, что беснования папинского конька уже заразили остальных. Мы держали лошадей на заднем дворе у стогов. Порой конек Папина ухитрялся перемахнуть через первую городьбу и носился вокруг нашей юрты. Потом топот стихал. Это значило, что папинский конь решился на смелый подвиг: на утро мы находили на городьбе клочок шерсти, а порой и след крови. Конек умчался в луга на солончаки, где он тотчас же брал под свое покровительство несколько самков и вступал из-за них в сражение с жеребцами. На утро мы с Папиным садились на оставшихся и отправлялись в солончаки, где нам стоило не мало усилий заарканить беглеца и привести его домой, впредь до первой бурной ночи и до нового побега.

Этот период, когда зима еще отстаивает свои права, в тех местах длится не долго, до начала апреля. В это время ветры все меняются. То они дуют с океана суровым холодом, то начинаются сравнительные оттепели. Так, среди резких переменов проходят две-три недели. Земля в это время тверда, как камень. Наконец, под влиянием все прибывающего дня, в воздухе чувствуется тепло. Снег как будто оживает:

под ним начинают журчать ручьи, которые быстро несутся по твердой еще земле. Наступает еще один парадокс: лето наступает среди зимы. Кругом лежит еще снег, но уже тепло совершенно по-летнему. В юрте нам уже душно, и я работаю на нашей плоской крыше в одной рубашке...

Мы, люди, привыкшие к европейской зиме, не представляем себе неожиданностей сибирской зимы. Начать с того, что реки замерзают здесь не сверху, как у нас, а снизу. Был яркий солнечный день, когда я (впоследствии) подехал к Ангоре под Иркутском. Я был очень удивлен, увидя перед рекой настоящую стену густого тумана. Некоторое расстояние нам пришлось проехать, как будто среди сумерек, под которыми река волновалась и кипела. Был уже сильный мороз, но река еще хлопотала. Среди бурного течения она быстро достигает двух с половиной градусов, а при этой температуре лед становится тяжелее воды и тонет. Течение несет по дну настоящую кашу из льда, пока она, согревшись на дне, не всплывает на поверхность и не останавливает, наконец, реку... Так замерзают многие сибирские реки.

Когда они начинают вскрываться,—это опять своего рода драма, величая и грозная. В одно утро я услышал вдруг сильный шум со стороны реки. У нас была привычка в таких случаях тотчас же заобротать лошадь и верхом отправиться на место. Я отправился к Амге.

Зрелище, которое я тут увидел, поразило меня своим величием. Амга сначала тронулась, потом вдруг остановилась. Образовался затор. Лдины, громоздясь друг на друга, образовали громадную перегородку, на которую набирались все новые лдины, бревна поваленного леса, и все это подымало воду. Потoki из боковых ущелий, обратившиеся в речки, еще увеличивали этот хаос. Я остановился пораженный зрелищем. Кое-где вода шумела, прорывалась, бурлила. Порой что-то в заторе будто вздрагивало...

Пока я стоял на своем коне и любовался, мне вдруг послышался с возвышенного берега отчаянный крик. Крик относился ко мне: кто-то из благоприятелей размахивал руками, делая мне знаки. Я сообразил, что стоял в опасном месте, и повернул коня, который весь дрожал подо мной. Едва я повернул его, он понесся, как вихрь, на возвышенный берег. Еще несколько минут,—в заторе началось движение. Огромная лдыня по несколько бревен качнулись, дрогнули и затор с треском обрушился. Целый хаос льдин и бревен двинулся по течению с таким громом, точно наступило землетрясение. Амга сокрушала свои берега и редела долго и протяжно... Я вынужден был отскатать еще дальше, причем вода гналась по пятам моей лошади. Через некоторое время затор более или менее ровно несся по течению. Лдины сталкивались, раскалывались с треском; целые деревья корежились среди льдин. Все это гремело, трещало, несло вниз по течению, сначала в Алдан, потом в Лену и в Ледовитый океан. Вдоль реки неслись громовые выстрелы...

Но еще задолго до того дня, когда река возвестила с таким торжеством на всю окрестность окончательную победу весны,—весна уже всюду торжествовала: в лугах уже зеленела трава, пестрели разноцветные ирисы, всюду стояли ярко-синие озера. После ледохода на реку налетело невероятное количество птиц. Мы принялись уже за огородные работы, и порой в сумерках утки пролетали мимо нас, чуть не задевая крыльями. На озерах и более мелких, по местному, «лывах» под вечер буквально стон стоял от многоголосого птичьего гомона и крика. Тут были и курлыканья, и скрежет, и разные другие звуки, в которых все живое выражало неистовую радость жизни.

Но и здесь опять северная природа дарила неожиданностями. Однажды Папин вошел в юрту,—он вообще вставал раньше всех нас,—и сказал:

— Взойдите на крышу и посмотрите на поля... Вы увидите неожиданность...

Я вышел, и то, что я увидел, было действительно неожиданно. Кругом нашего жилья в эту пору весны стояло много озер. Большие, малые, порой просто лужи, они давно уже растаяли и очень живописно отражали на темной земле клочки синего неба. Одно из них в это утро опять оказалось белым, точно замерзло в эту

ночь. Объяснение было просто. Эти озера промерзают до дна. Лед на них начинает таять сверху, и долго держится на дне, на стеблях водорослей. Наконец, эти стебли тоже обтаивают, и широкая сплошная льдина всплывает на поверхность, вспугивая огромное количество уток, которые долго встревоженно носятся над такими озерами, наполняя воздух встревоженными криками. Это, впрочем, случается не каждый год. Порой лед незаметно «изнывает» до дна и только изредка та или другая «лыва» вдруг забелеет. На этот раз побелело целое озеро, в полуверсте от нашей юрты.

Замечательно, что птицы каким-то инстинктом узнают, пересохнут ли наступающим летом озера или нет.

— Смотри, Владимир,—сказал мне весной Александр,—лето будет жаркое. Птицы улетели на реку и на большие озера.

С половины апреля мы принимались за огородные работы. Я с большим интересом относился к началу этих работ. Руководил ими Папин. Начали мы их рано. Земля еще не совсем оттаяла, и по временам сошник выскакивал из промерзшей земли. Местные жители пахут неуклюжей русской сохой. У нас тоже была такая соха, но товарищам удалось купить, кажется у скопцов, пароконный плужок (в роде вятского), и мы предпочитали работать этим более усовершенствованным орудием. Это было много легче.

Большое затруднение представляли наши лошади. Всю зиму мы их кормили сытно и порядочно баловали: кроме возки дров с осени из лесу на расстоянии верст семи, да поездок к товарищам,—другой работы они у нас не знали. Якутские лошади вообще довольно дикие. У них привычки к тяжелому сельскохозяйственному труду не выработались поколениями. Только не догляди, они наравят бешено умчать легкую сошку. Особенно часто это случалось с Вайнштейном. У него вообще, как у многих евреев, не было в обращении с лошадьми достаточной уверенности, а лошади сразу это чувствуют. Поэтому с Вайнштейном случались приключения даже чаще, чем в первый год со мною. Еще зимой стоило Вайнштейну сесть в свои сани.— лошадь начинала сразу перебегать с одной стороны улицы на другую, и часто ему оставалось только направить ее в снежный сугроб. Когда же мы выезжали на пашню, особенно в первое время, лошади дрожали, косили глазами и заставляли нас держаться сильно настороже. Раз у Вайнштейна лошади убежали с плутом и, пробегая мимо городьбы, моя белогривая лошадь сильно напоролась боком на кусок торчащей в городьбе жерди. Пришлось позвать целое совещанье добрых соседей. Это был, прежде всего, Пекарский, польский крестьянин, повстанец, большой наш приятель. Это была фигура своеобразная: небольшого роста, с большой бородой, как у Черномора. Он был женат на слобожанке, полуякутке. У него было несколько детей, и все дочери, что его очень огорчало и чего он, кажется, не мог простить жене, существу крайне изнуренному и довольно робкому. Затем пришли татары, друзья Папина. Общими силами мы стреножили раненую лошадь, повалили ее на землю и поставили диагноз. Рана оказалась не опасной: пришлось вынуть засевший под кожу довольно длинный конец жерди и затем лечить совершенно домашним образом. По совету одного из татар, считавшегося в своей среде опытным коновалом, мы ежедневно валили нашего больного на землю и... поливали... мочео. Впоследствии, когда к нам приехал Аптекман, опытный врач, он сильно стыдил нас, что подчинились такому невежественному предписанию, но в то время нам не оставалось ничего более: говорили люди знающие, а мы не знали ничего. Не могу забыть, с какой поистине комической важностью татарин говорил при этом:

— Пос-вайте, господа, пос-вайте, не ленитесь.

Пекарский тоже подтверждал эти авторитетные советы. И, действительно, лошадь вскоре выздоровела.

Вообще якутские лошади больше верховые. К работе они не приучены поколениями, как наши, и потому то и дело с ними случаются вспышки бешеного испуга. Однажды во время бороньбы мы вдруг заметили, что у одного татарина сорвались три лошади с боровами. Зрелище было поистине ужасное: бороны задевали за не-

ровное поле и, подскакивая, то и дело ранили и без того взбешенных лошадей. Нам стоило много усилий удержать наших собственных коней, которые уже бешено косили глазами и порывались за остальными. Татарские лошади помчались в слободу, где наделали много тревоги: женщинам едва удалось убрать с улицы детишек...

Я еще зимой выучился хорошо справляться с лошадьми, и пашня скоро стала моим любимым занятием. Не помню, в этот ли первый год или на следующий мы затеяли поднять целину. Захар Цыкунов расчистил участок леса и не смог с ним справиться. У него было слишком много работы: зимой он возил лес для нас и, кроме того, для татар (за водку). Поэтому расчищенный (лет уже десять назад) участок он уступил нам. Дело было трудное, но мы с Папиным решили за него взяться.

Папин направил наш плужок, и в одно утро я запрет в него нашу пару и отправился в поле, под лесом. Сначала мы принялись вдвоем с Папиным, но, проработав день и достаточно утомивши лошадей, я убедился, что теперь справлюсь и один. Работа, повторяю, была очень трудная. Почва была недостаточно расчищена от корней, и по временам мне приходилось оставлять пашню и приниматься рубить в земле эти корни. На соху пришлось налегать всею силою, и по временам меня самого швыряло из стороны в сторону. Порой я в изнеможении ложился в борозде перед лошадьми, пока они тяжело работали боками.

Жара была прямо тропическая. Ночь длилась два-три часа, это были собственно только сумерки. Остальное время солнце хотя не подымалось высоко, но оно светило так долго, что накаляло своими косыми лучами землю до жары, почти тропической. Вдобавок, в воздухе носились тучи комаров всякого вида, в том числе особенно под лесом и над озерами очень ядовитых. Порой мы вокруг нашей пашни зажигали костры из навоза, располагая их с подветренной стороны. Это все-таки несколько отгоняло комаров, хотя далеко недостаточно.

Приблизительно в полдень я с большим удовольствием видел Папина, который направлялся ко мне верхом на своей белой лошадке, нагруженной посудой и припасами для обеда. Тогда я выпрягал лошадей, пускал их куда-нибудь в тень и ложился на землю отдыхать. Невдалеке озеро дышало прохладой. На нем грузными косяками сидели утки, несколько не стесняясь нашей близостью. Я лежал на земле и отдыхал, а Папин принимался за стriaпню. До сих пор с удовольствием вспоминаю эти минуты. Горит наш костер, и мы с Папиным порой мечтаем о зиме.

— Представь себе только, Иван Иванович, что ведь было время, когда кругом лежал снег.

— Ах, хорошо!—отвечал он, отмахиваясь от комаров и обливаясь потом...— На саночках бы теперь...

А кругом стоял палящий зной. Утки на озере лежали живыми черными пятнами. Порой среди них водворялась тревога, и они грузно подымались в воздух. Это значило, что к нам приближается Ромась. Всегда две-три утки кружились над озером, охраняя покой остальных, и стоило появиться хоть издали нашему Немвроду, они извещали об этом грозном событии тревожными криками. Опасность, положим, была небольшая. Ромась уходил с утра, и до нас то и дело доносились выстрелы...

— Опять умирать полетела,—усмехаясь говорил Папин.

Это была фраза, которую мы неизменно слышали от упрямого украинца. Пороху он тратил невероятное количество, но никогда (буквально ни разу) не принес домой ни одной утки.

Наконец, наша пашня была кончена, и Папин ее засеял. Посев дело тоже довольно трудное: нужно засеять ровно, и я всегда любовался на уверенные взмахи руки Папина. Об урожае на целине у нас ходили баснословные слухи. Невдалеке от нашей слободы один богатый якут вырубил участок леса, обработал его и с самодовольством рассказывал нам, что получил урожай сам сорок. Его пашня была в лесу, хорошо защищенная от дыхания первых заморозков, а эти первые заморозки наступают очень рано— в конце июня. Если хлеб переживает эти критические дни, то есть вероятность, что он вообще уцелеет: зерно затвердеет и окрепнет.

В конце июня мы с Папиным и Вайнштейном грустно стояли верхами у нашей полосы: она была расположена на склоне и как раз на пути холодных ветров. Теперь она вся была в инее. Мы решили, что она пропала, и не смотрели ее до самого сентября, то-есть до конца покоса. И вдруг однажды Папин явился с радостной вестью:

Садитесь на своего белохвостого, поедем,—я вам покажу что-то.

Мы живо приехали к лесу. Оказалось, что наша полоска ожила, и теперь стояла, хотя далеко не такая, как можно было ожидать, но всходы переливались под ветром. Впоследствии мы собрали с нее урожай сам восемнадцать. Значит, мои труды на целине не пропали даром.

В конце августа мы приступили к покосу. Амгинцы получили предписание начальства выделить покос и для татар. Неизвестно, на чем это предписание основывалось, но амгинцы согласились. Они обусловили это согласие тем, чтобы татары выделили часть своего покоса и «для сударских». Татары не имели ничего против, и таким образом мы получили участок рядом с татарским, за семь верст от слободы, над рекой Амгой. В прошлом году товарищи уже участвовали в разделе, и теперь мы приехали на готовые прошлогодние участки.

Над рекой стояло большое оживление. Татары весело перекликались и радушно окликали нас. Прежде всего, нам предстояло построить шалаши. Распоряжался опять Папин. Мы нарубили крупных веток лвы, воткнули их в землю, переплели и покрыли свеженакошенным сеном. Лучшим косцом опять оказался Папин. Он для шутки встал в ряд с первым косцом из татар и долго шел с ним рядом.

— Молодца, Иван Иванович... А все-таки долго с Ахмедзяном не выдержишь.— сказал один из татар.

Я косить совсем не умел, и мне сначала эта работа показалась очень трудной. Первый день я задыхался, а ночью чувствовал себя совсем разбитым. Татары соседи советовали мне не надрываться.—«Бульно ты горячь»,—говорили они.—«Так не долго и совсем себя испортить».—Но я был тогда очень здоров, и через несколько дней выровнялся настолько, что уже не задерживал товарищей. Правда, мы смотрели на покос, как на удовольствие, и не слишком надрывались на этой работе. Об этом времени я и до сих пор вспоминаю с удовольствием.

Мне приходилось учиться и еще кое-чему. До сих пор товарищи освободили меня от хлебопечения. Я порой чинил им сапоги и занимался уроками. Теперь этой причины не было, и мы поочередно ездили с покоса в слободу, чтобы печь хлеб и порой готовить горячие обеды. Печь хлеб я еще не умел. Поэтому товарищи в первый раз, когда я отправлялся в слободу с этой задачей, снабдили меня подробнейшими инструкциями.

Дело это оказалось, однако, не таким легким, как думали я и товарищи. Инструкций, хотя и подробных, оказалось недостаточно, и на первый раз я осрамился... Инструкции перезабыл, и на утро, заведя дежу, забыл, что ее надо замесить новой мукой... Беспомощно выйдя из юрты, я увидел Пекарского и прибежал к нему за помощью. Но он не вмешивался в бабье дело и знал его плохо. Общими усилиями мы состряпали не хлеб, а какие-то жидкие лепешки. На следующий раз я записал уже инструкции подробнейшим образом, и хлеб у меня вышел на славу.

Покос шел у нас вполне благополучно, за исключением одного небольшого происшествия. Татары предупреждали нас, чтобы мы присматривали за лошадьми: за рекой были якутские покосы, и стоило нашей лошади сорваться и переплыть реку.—она в качестве татарской немедленно попала бы в якутский котел. Однажды прибежал один татарин и спросил:

— Не ваша ли лошадь пробежала по лугам, серая в яблоках... Как будто лошадь Папина.

Я бросился к месту, где был привязан конек Папина; его там не оказалось. Времени терять было нельзя. Я сейчас взнуздal своего коня и отправился по следам. Следы привели меня к реке, как раз в то мгновение, когда предприимчивый папин-

ский конек выходил на другой берег... Не долго думая, я бросился с берега в быстрое русло реки. Меня сразу охватило холодное стремительное течение и скоро я заметил, что моя лошадь с ним не может справиться. Она жалобно оскаливала зубы над самой поверхностью воды и начинала тонуть. Тогда я соскочил с нее в волны, не забыв захватить в руки узду. Плавал я хорошо, но лошадь, испуганная, окружив меня, опять потащила в быстрину. Я догадался и, дав ей еще раз приблизиться к берегу, я отпустил ее и выгнал на берег. Затем бросился к товарищам, и с их помощью мы еще успели захватить предприимчивого коныка, пока он не успел отбежать в якутские луга.

— Иначе быть бы ему в якутском котле,—говорили сведущие на этот счет татары.

Наконец, покос был кончен; оставалось сметать стог и затем загородить его. Мы кое-как сметали его, но, по неопытности, не рассчитали точно. Поэтому в осенние дожди его должно быть пробивало дождями, и часть сена была попорчена. Теперь нам оставалось только загородить наш стожок. За это опять взялся я, и при том поехал один. За эту предприимчивость я чуть было не заплатил жизнью.

День был беспокойный, ветреный. В лугах завывал осенний ветер. Людей уже не было: татары справились раньше нас. Я приехал с утра, успел нарубить жердей и обгородить кругом наш стожок. Это было как раз во-время. Амгинцы отпускают лошадей на время покоса в леса, и они там совершенно дичают. Проходя по лесу, в это время не редко встретишь табуны лошадей, под предводительством жеребца, искоса смотрящего на человека. Порой этот жеребец, дико поводя глазами, кидается в чашу. Тогда остальной табун бросается за ним, и по лесу в это время стоит топот и треск. К осени эти табуны опять возвращаются в слободу и первым делом кидаются в луга. Свежие стога представляют для них большую приманку, и не загороженные стога они порой совершенно разоряют.

Итак, я успел закончить свою городьбу и уже запрег лошадь, которая очень беспокоилась и стригла при порывах ветра ушами. Мне оставалось только сесть в телегу и вернуться домой. Но в это время сильный порыв ветра подхватил мой легкий халат и швырнул его на лошадь. От этого она вдруг взбесилась и рванула телегу вперед. При этом она подмяла меня под телегу, и я почувствовал удар копыта в бок, и кованное колесо пробежало у меня по лицу. К счастью, я не растерялся в этом поистине критическом положении, не выпустил из рук возжей и успел направить взбесившегося коня в густой лозняк, где он и застрял, весь дрожа мелкой дрожью.

Сначала я чувствовал себя совершенно беспомощным. Пробовал кричать, в надежде, что кто-нибудь запоздал на работе, как и я. Но на мои крики отвечали лишь печальные завывания ветра, шумевшего в пустых лозниках. Мне, разбитому, предстояло распрячь коня, вытащить из лозника телегу и опять запречь лошадь. Сначала я чувствовал себя совершенно разбитым и уже подумывал ночевать в лугах, рассчитывая, что на утро за мной приедут товарищи. Но тогда я был молод, силен, для меня не было неисполнимых задач. Навалив на землю сена и отлежавшись на нем, я сначала вытащил телегу из лозника и потом запряг лошадь. Теперь предстояло доехать до слободы, причем на дороге у меня было несколько крутых оврагов. Я решил, прежде всего, утомить лошадь. Для этого, взобравшись в телегу на сено, я пустил лошадь по ровным лугам во весь карьер; таким образом, проскакав несколько раз взад и вперед, я пустился, наконец, в обратный путь. Теперь опасные спуски на утомленной лошади я миновал благополучно. Но все-таки товарищам пришлось снять меня с телеги, и несколько дней я пролежал в нашей юрте пластом.

Я думаю все-таки, что в этом приключении была до известной степени виновата моя беспечность: с татаринами или даже с Папными этого бы не случилось. Много значили выработанные долгой привычкой приемы. У меня таких рабочих привычек тогда не было, и оттого сначала я чуть не потонул в Амге, а потом рисковал погибнуть в лугах.

Вл. Короленко.

Южные бунтари.

До возвращения из народа, т.-е. до осени 1875 г., я был «лавристом», так как признавал необходимость ведения пропаганды в народе: это, как известно, являлось в те времена главным пунктом разногласия между «бакунистами» и «лавристами». Но пребывание в течение лета среди молокан в сильной степени разочаровало меня в плодотворности пропаганды.

Я уже сообщил ¹⁾, как апатично, вернее—отрицательно молокане отнеслись к моей проповеди, и как сильно это меня огорчало. «Если так равнодушны к нашим взглядам эти толковые, грамотные крестьяне,—рассуждал я,—то чего же можно ждать от проповеди всеобщего равенства и счастья среди неграмотных православных пахарей, недавно лишь освобожденных от крепостной зависимости?» Для меня было ясно, что следует найти какой-нибудь другой способ деятельности, но я сам не мог его придумать.

Вскоре затем я узнал, что то же недоумение, та же потеря веры в плодотворность пропаганды социализма народу была темой горячих дебатов, происходивших осенью и зимой указанного 1875 года в Петербурге на собраниях революционной молодежи. Но, очутившись, по возвращении от молокан, совершенно вне всякой связи с кем-либо из активных деятелей, я решительно ничего не знал о том, что происходит не только в столице и в крупных городах, но даже в моем родном Киеве.

Доктор Эмме уехал, Колодкевич, кажется, сидел в тюрьме или, вообще, не проявлял никакой активности, а других пожилых, солидных лавристов, с которыми я мог бы потолковать и посоветоваться, или не было в Киеве, или я их почему-либо не встречал.

Мое положение было, поистине, отчаянное, хуже даже, чем в минувшем году, когда я надумал покинуть Киев, чтобы попробовать свои силы в каком-нибудь губернском городе, так как тогда все же было несколько опытных мужей, с которыми я мог побеседовать, душу отвести. А теперь, будучи в большом, университетском, к тому же чрезвычайно любимом мною городе, в котором у меня была масса знакомых, я чувствовал себя так, словно очутился в новом, чужом мне месте.

Было от чего притти в отчаяние, впасть в пессимизм. Но от того и другого меня спасло крупное политическое событие, начавшееся на Балканском полуострове в то время, когда я, ничего этого не зная, занимался мирным земледельческим трудом в молоканской деревне Астраханке.

Как известно, разразившиеся весной 1875 года восстания в Боснии и Герцеговине вызвали у нас сильнейшее возбуждение, вылившееся в сборе пожертвований и в движении на Балканский полуостров в качестве добровольцев. Лица самых разнообразных слоев населения желали сражаться за освобождение от турецкого ига братьев-славян.

¹⁾ Первый том воспоминаний Л. Г. Дейча: «За полвека» в ближайшем времени выйдет в отдельном издании, выпускаемом «Задругой».

Это увлечение не миновало и нас, социалистов: многие, в числе которых были такие крупные представители революционного движения, как Д. А. Клеменц, С. М. Кравчинский и др., также отправились в Герцеговину.

И, вот, в то время, когда я в полном одиночестве ломал голову над разрешением вопроса: «как быть?» «что предпринять?»—мне один знакомый студент, далекий от революционеров, сообщил к слову, что он от кого-то слышал, будто даже сильно разыскиваемый полицией, «нелегальный» Яков Стефанович собирается на Балканский полуостров, в качестве волонтера. Этот слух,—как нередко происходит подобное в жизни каждого,—сыграл огромную, колоссальную роль в моей судьбе. Но предварительно я должен здесь сказать несколько слов о Я. Стефановиче.

Мы с ним одновременно учились в киевской первой гимназии, но он был старше меня на два года и выше меня на два класса. Уже в гимназии он пользовался репутацией очень умного, серьезного, выдержанного юноши. Затем, поступив по окончании гимназии на медицинский факультет местного университета, он выбыл из него со второго курса, будучи, подобно многим тогда, захвачен учащимся движением «в народ». За несколько лет до этого мы потеряли друг друга из виду, так как, дошедши до четвертого класса, я перевелся во вторую гимназию, и известия о Стефановиче стали доходить до меня только, когда и я сделался революционером. Общие о нем отзывы были самые лестные: не только единомышленники, «бакунисты», к которым Стефанович принадлежал, но также «лавристы», и даже лица, мало расположенные к социалистам, относились к нему с большим уважением.

Сохранив о нем из гимназии наилучшие воспоминания, я стремился повидать его, как только сам стал революционером. Но, как я уже сообщил в первом своем очерке, вследствие чрезвычайного тогда разгрома, немногие уцелевшие от него разбежались из Киева, кто куда имел возможность. Стефанович был в их числе и, чтобы «замести следы», он на время отправился за границу, а затем, вернувшись вскоре обратно в Россию, в качестве «нелегального», опять отправился в народ. Переданный мне знакомым студентом слух, что он также собирается на Балканы, был для меня особенно приятен: «коли Стефанович, этот прямой, беззаветно преданный народным интересам и выдающийся революционер, находит возможным сделаться волонтером, почему же и мне не последовать за ним?»—спрашивал я себя и, не находя никаких «против» этого вопроса, тут же решил его в утвердительном смысле. Для меня являлось большой, чтобы не сказать непреодолимой трудностью повидать Стефановича, так как, будучи «нелегальным», он тщательно скрывал место своего пребывания. Между тем, мне естественно хотелось, прежде записи в число волонтеров, переговорить с ним, как с человеком, уже сделавшим это. Знакомый студент, передавший мне это известие, обещал через разных вторых и третьих лиц попытаться устроить мне с ним свидание. Но тщетно проходили дни за днями,—а добраться до Стефановича ему все не удавалось. Наконец, не помню уже через сколько времени, все тот же студент сообщил мне, как достовернейший факт, что Стефанович уже не едет, так как от раньше отправившихся волонтеров получились письма, в которых описываются неимоверные страдания, испытываемые ими в походах по скалистым местностям при невероятно высокой температуре. Совершенно выбываясь из сил, они в полном изнеможении падают по пути. Это вызывает у местных воинов негодование и возмущение, так как им приходится таких слабосильных волонтеров поднимать, а то и носить на себе. что задерживает шествие отряда, и, вместо помощи, получается, наоборот, только увеличение тягости партизанской войны. Злоба против волонтеров временами доходила до того, что туземные участники отрядов не только отказывались нести приплетов на себе, но готовы были тут же приколоть или пристрелить их, и начальникам отрядов стоило нередко больших усилий не допустить до таких расправ. Иногда последние на себе переносили по тяжелой и опасной в военном отношении местности ослабевшего русского добровольца.

Приведши не мало аналогичных иллюстраций, авторы писем заклинали своих товарищей не ездить на Балканы в качестве волонтеров.

Узнав о всех этих печальных фактах, я, конечно, также отказался от своего намерения. И вновь предо мною стал вопрос: «Что мне делать? Что предпринять?» Я не отказывался, как другие члены бывшего нашего кружка, от раз избранного мною революционного поприща. Наоборот, я чувствовал в себе достаточно сил и способностей работать именно на нем, но я решительно не видел для себя к тому практической возможности. Поэтому, когда мне с грустью пришлось отказаться от мысли, к которой я, было, уже привык,—сделаться волонтером, мое душевное состояние стало еще более тяжелым, чем оно было раньше. Случайное известие вновь вывело меня из, казалось, безисходного положения: я услышал, что один мой товарищ по гимназии поступил на службу в качестве вольноопределяющегося второго разряда, т. е., по правилам того времени, всего на шесть месяцев. Мне же предстояло тянуть жребий еще через год.

«Почему бы мне также не поступить теперь вольноопределяющимся?»—спрашивал я себя. Сборы в течение некоторого времени в волонтеры до известной степени приучили меня к мысли о военном деле, а отказ, столь меня огорчивший, от поездки на Балканы, в значительной степени обуславливался отсутствием у добровольцев военной подготовки и споровки, которые легко будет приобрести на службе вольноопределяющимся. Между тем в будущем может представиться вновь необходимость принять активное участие в борьбе за свободу. Возможно даже, что и у нас, во время революции, понадобятся люди, знающие военное дело. К тому же солдатская среда также является подходящей ареной для распространения наших социалистических взглядов, хотя это занятие там и сопряжено со страшным риском. Наконец,—и это было, вероятно, превалировавшим обстоятельством,—мне, повторяю, решительно некуда было деваться, между тем как мне страстно хотелось взяться за какое-либо дело, хотя бы и сопряженное с лишениями, риском и опасностями.

В виду всех этих обстоятельств и соображений я поздней осенью (в конце ноября того же 1875 г.) поступил своекоштным вольноопределяющимся в пехотный полк, расположенный в той части Киева,—на Подоле, в котором жили мои родные.

Положение «своекоштного» давало мне право жить не в казармах, а в своей квартире, что представляло массу удобств: после немногих часов обязательного ежедневного обучения строевой службе, все остальное время было целиком в моем распоряжении, и я мог, когда угодно, уходить из дому, возвращаться назад, видаться с кем я хотел, и т. д.. Но эти-то преимущества, как вскоре затем оказалось, и были причиной гибели избранной мною военной карьеры.

Мать и другие близкие мои, боявшиеся, что я, как революционер, легко могу очутиться в тюрьме, были рады принятому мною решению поступить на службу в качестве вольноопределяющегося: они полагали, что таким образом я, как военный, буду воздерживаться от революционной деятельности и, следовательно, гарантирован от ареста. Вышло как раз наоборот: тотчас же после зачисления, еще до того, как портной приготовил мой военный мундир, я уже начал вести пропаганду среди сослуживцев. Мало того. По правилам того времени вольноопределяющийся прежде всего должен был представиться своим начальникам—батальонному и ротному командирам, что я также исполнил. Ротный командир оказался очень любезным, симпатичным и неглупым человеком. Пригласив меня сесть, он начал со мною беседовать о разных вопросах, и я, увлекшись, стал доказывать ему, насколько возмутительны «в наш век» и войны, массовые убийства, и предназначенная для этого «специальная каста». Услыхав такие взгляды, ротный с добродушной улыбкой сказал:

— Советую вам, молодой человек, подобных взглядов не высказывать среди сослуживцев, а то наживете себе бед. Я, однако, не последовал этому совету, и у себя на квартире, а также иногда в казарме наедине с отдельными солдатами вел беседы на самые опасные темы; наиболее же смысленным из них читал у себя на дому подпольные произведения. — «Сказку о четырех братьях», «Хитрую механику» и т. п., тогда популярные книжки. Почти одновременно с поступлением на службу у меня завязались также сношения с находившимися в Киеве бунтарями, о пребывании которых я узнал, благодаря следующему обстоятельству.

Один мой знакомый, адресом которого я пользовался для переписки, сообщил мне, однажды, что к нему приходила какая-то приезжая девица, привезшая мне откуда-то письмо и желавшая его передать только лично.

Вскоре мне удалось ее разыскать. Письмо оказалось от Ивана Ионыча Глушкова из Харькова, и привезшей его девицей была Вера Ивановна Засулч. Глушков, помню, рекомендовал ее с лучшей стороны и просил оказать ей содействие в устройстве в новом для нее городе. Но в последнем она уже не нуждалась, так как успела поселиться в притоне киевских бунтарей, о котором скажу несколько слов.

В старом деревянном доме вблизи университета, на Тарасовской улице, снимали в нижнем этаже, окнами на улицу, небольшую квартиру родители Владимира Дебагория-Мокриевича. Несмотря на то, что полиция усиленно его разыскивала, он не только сам месяцами жил у родных, но одновременно там подолгу оставались также вновь приезжавшие и, вообще, нуждавшиеся в приюте бунтари. С раннего утра и далеко за полночь, а то и до рассвета, там останавливалась масса самых крайних тогда революционеров, большинство которых составляли «нелегальные».

Родители Владимира Мокриевича,—отставной полковник и в особенности мать его, полька по происхождению,—относились с безграничной заботливостью и вниманием ко всем товарищам их сына,—словно то были их собственные дети. Каждый являвшийся к Владимиру Карповичу товарищ чувствовал себя в его квартире, как в родной семье, и, несмотря на то, что эти непрерывные посещения, производившие толчею и шум, не могли не причинять больших беспокойств старикам, с их уст решительно никогда не срывалось ни малейших замечаний, а тем более упреков. Так длилось в течение нескольких лет подряд.

По той же улице имелось, так сказать, «филиальное отделение» бунтарского «притона»,—квартира в две комнаты, которую снимала Лидия Павловна Барышева, урожден. Воронцова,—сестра известного писателя-народника «В. В.». В этом обиталище помещались те, которым не находилось места у Дебагория-Мокриевича. Между обоими квартирами существовала самая тесная связь,—лица, проживавшие в них и посещавшие их, непрерывно переходили из одной в другую, что в то время не вызывало ни в ком подозрений, так как в студенческих кварталах это считалось нормальным явлением.

Околачивавшиеся в этих «притонах» бунтари, несмотря на сильную нелегальность большинства из них, не опасались ночных нашествий полиции, хотя им было хорошо известно, что заведывавший тогда в Киеве политическим розыском жандармский адъютант барон Гейкинг знал о существовании на Тарасовской улице этих квартир: беседуя с поднадзорными или с родственниками арестованных, он нередко, к слову, заявлял об этом, при чем, чтобы показать свой либерализм и гуманность, прибавлял: «я знаю, что там находятся Дебагорий-Мокриевич, Стефанович, Анна Макаревич и другие, и я мог бы их задержать, но пока я не получаю прямого на то распоряжения свыше, зачем мне это делать?» В действительности было не совсем так. Полной уверенности, что «нелегальные» скрываются в указанных «притонах», у Гейкинга все же не было; между тем, до него дошел слух, что «бунтари» решили оказывать вооруженное сопротивление при арестах. В виду этих-то обстоятельств храбрый жандармский офицер не решался рисковать своей

жизнью и не доносил, куда ему следовало, об открыто существовавших в Киеве «притонах».

Никакой решительно слежки, как за этими квартирами, так и за их обитателями, барон Гейкинг не установил, что нам было достоверно известно. Вот почему «нелегальные» жили в Киеве, как у бога за пазухой.

В квартире, которую снимала Лидия Павловна Барышева, и поселилась Вера Ивановна Засулич. Когда я в первый раз пришел в этот «притон», я застал человек десять обоего пола, из которых знал только Якова Васильевича Стефановича, да и то будучи мальчиком. Отношение этих бунтарей, как друг к другу, так и ко мне, впервые появившемуся среди них, сразу расположило меня в их пользу: я скоро почувствовал, словно пришел в давно мне знакомую семью, в которой много живой, симпатичной и интересной молодежи. Все обитатели притонов обращались друг к другу на «ты» и назывались уменьшительными именами: «Маша», «Маруся», «Василек» и т. п... Ко мне они отнеслись сразу за-просто, тепло, искренно.

Явился я к ним в новеньком мундире вольноопределяющегося, сделанном на собственный счет. Помню, это было в сумерках, в субботу. Мне тогда уже минуло 20 лет, но, в виду отсутствия растительности на лице и бороде, я выглядел несколько моложе. Среди присутствовавших бунтарей я казался совсем юнцом, так как, за исключением Васьки Павловича Лепешинского (он-то и назывался «Васильком»), являвшимся моим ровесником, все остальные были значительно старше нас двоих.

Никто специально не занимался мною. Кажется, Вера Ивановна перекинулась со мною несколькими фразами по поводу «Ионыча» и других наших общих харьковских знакомых. Она же, вероятно, предложила мне воспользоваться стоявшим на столе чаем и обычной в студенческих квартирах закуской,—колбасой, сыром и пр.

Вечер прошел для меня совершенно незаметно в разговорах, шутках, пении малороссийских песен. Когда наступила полночь, я охотно принял чье-то предложение остаться там ночевать, так как до моей квартиры, находившейся на Подоле, было порядочное расстояние. Устроили меня рядом с другими, на разостланном на полу пледе,—не помню, что именно служило мне, как и другим, подушкой, одеялом, да едва ли и были эти постельные принадлежности. Тем не менее, вдоволь наговорившись и попевши, я, как наверно и все остальные, отлично заснул, ни мало не беспокоясь о возможном посещении барона Гейкинга с жандармами.

После этого вечера я охотно стал посещать «притон», но в виду далеко не близкого от меня до него расстояния и моих служебных занятий, я мог делать это не чаще, чем раз в неделю. Приходил я всегда пред вечером, без всякого повода,—только затем, чтобы ближе познакомиться с «бунтарями», которые с каждым моим посещением все более мне нравились. Хотя о своих практических задачах ни со мною, ни друг с другом при мне никогда не говорили, все же большинство их производило на меня впечатление умных, опытных и решительных революционеров. Особенно привлекательными чертами, которые присущи были им тогда, являлись их жизнерадостность, бодрость, энергия, и в каждой произнесенной кем-либо из них фразе сквозила, как мне тогда казалось, глубокая вера в правильность исповедуемых ими убеждений и в избранный ими путь деятельности.

Мое сближение с ними шло, поэтому, чрезвычайно быстро. По прошествии пары-другой недель я со всеми ними был на «ты», и тем не менее никто не посвящал меня в планы и задачи кружка. Это, понятно, объяснялось конспиративными соображениями, так как, в виду моей службы, я не мог немедленно принять непосредственное участие в деле. Но из отрывочных замечаний, делаемых тем или другим,—правда, очень редко,—мне не трудно было с течением времени понять, что большинство околачивавшихся в этом притоне лиц являлось не только близкими друг другу знакомыми и единомышленниками, но также и членами тесного революционного кружка, поставившего себе чрезвычайно важную и какую-то очень

опасную цель. В чем именно последняя состояла, а также—кто из этих лиц входил непосредственно в кружок, я узнал лишь несколько месяцев спустя после знакомства и сближения с этими бунтарями. Не трудно было также вскоре заметить, что главную, самую видную роль в этом кружке играл Владимир Карпович Дебагорий-Мокриевич, которому, несмотря на солидный его возраст,—ему тогда было лет под тридцать, между тем, как остальные были значительно его моложе,—почему-то присвоена была кличка «Мишка». Он являлся общепризнанным лидером или, как в те времена принято было говорить, «генералом», хотя сам он не только ничем решительно не проявлял никаких претензий на верховодство, но всегда резко высказывался против кружковых «генералов». Всегда в добродушно-веселом настроении, жизнерадостный, разговорчивый «Мишка» охотно говорил и спорил о чем угодно; он много рассказывал из своего и тогда уже довольно богатого всевозможными происшествиями, как революционного, так и личного характера, прошлого. Он был остроумен, находчив, умелый спорщик, всегда способный опровергнуть любого, значительно более его образованного противника. При этом он не только не обладал большой эрудицией, но, наоборот, для своего ума и положения в революционной среде, отличался как раз обратным,—был совсем мало начитан и в этом отношении уступал большинству тогдашних «лидеров», а также и некоторым членам своего кружка. Едва ли будет преувеличенным, если скажу, что в описываемое мною время Владимир Карпович не читал даже таких популярных тогда книг, как «История цивилизации в Англии» Бокля, «Положение рабочего класса» и «Азбука социальных наук» Флеровского, «Исторические письма» Миртова и т. п. произведений, с которыми большинство тогдашней передовой молодежи знакомилось еще на школьной скамье. А Мокриевич, как сам он подробно сообщает в своих интересных «Воспоминаниях», будучи в университете, «посещал лекции, по по вечерам нередко, подобно другим, таскался по трактирам, где простаивал иногда за полночь у бильярдных, наблюдая за игрою; сам редко играл, так как не имел денег. Иногда мы просиживали вечера за шахматною доскою, разбирая партии американского шахматиста Морфи, пользовавшегося в то время большою известностью. Так проводилось время в Киеве. На vacation я уезжал в село Луку-Барскую к родителям, и там моя жизнь совершенно менялась. Я бродил по окрестным лесам с ружьем, или же так просто шатался по нашей огромной усадьбе среди дерев и бурьянов. Часто отправлялся на косьбу или на другие полевые работы и т. д.»¹⁾.

Страсти к чтению у Владимира Карповича, повидимому, не было от рождения, а в юношеском возрасте в оправдание этого равнодушия у него еще присоединилась теория Бакунина, как известно, решительно отрицавшая необходимость научной подготовки для революционной деятельности. Как самый ярый тогда последователь апостола разрушения, успевший, будучи в Швейцарии в 1874 г., не только познакомиться, но даже перейти с ним на «ты», Дебагорий-Мокриевич в своих отрицательном отношении к теоретическому развитию доходил буквально до геркулесовых столбов: сам ничего серьезного не читая, он чуть не возмущался и, во всяком случае, высмеивал других, занимавшихся этим, по его убеждению, вредным препровождением времени. Более того, мне, да и другим, он не раз самым серьезным образом доказывал, что он был бы очень доволен, если бы забыл и то немногое, что приобрел в гимназии и университете, так как, мол, он стоял бы тогда ближе к совсем безграмотной народной массе, и ему легче было бы ее понять и сблизиться с нею.

Однако, это предпочтение невежества уместившему развитию не удерживало «Мишку», как я уже упомянул, от вступления в споры даже с очень начитанными оппонентами. В этом, кроме природных диалектических способностей, не в малой степени помогала ему необычайная его смелость: схватывая на лету те или иные факты, положения, взгляды, нередко заимствуя их от своего же собеседника, «Мишка» все узнанное тут же пускал с отвагой в ход, не всегда, впрочем, к стати и пра-

¹⁾ См. «Воспоминания», стр. 33—34. Книгоиздательство «Свободный Труд». 1906 г.

вильно, почему иногда и попадал впросак. Так, припоминаю один его спор со мною и с покойной Верой Ивановной Засулич, происшедший, правда, несколько лет спустя после описываемого мною в настоящей главе времени, а именно летом 1881 г., когда, бежав из Сибири, он приехал в Швейцарию, где мы с нею тогда проживали.

Речь зашла у нас о «судьбах России». Как принято было, — с легкой руки начавшего тогда входить в моду небезызвестного «экономиста» В. В., — «теория Маркса» считалась «неприменимой» для нашей родины. В своих скитаниях по разным местам заключения Владимир Карпович, конечно, слышался от других, а затем и сам начал повторять эту ставшую стереотипной фразу. К ней-то прибег он и во время беседы с нами по поводу неизбежности для нашей родины пережить капиталистическую фазу: этот вопрос, как известно, в сильнейшей степени занимал тогда всю передовую часть нашего общества; за разрешением его Вера Ивановна обратилась как-раз в то именно время, письменно, к Марксу и Энгельсу, о чем в своем месте сообщу подробно.

— Вот ты говоришь, что «теория Маркса» не применима к России, но откуда ты это почерпнул, разве ты прочитал его «Капитал»? — спросил я, желая его поддеть.

— Да, читал эту книгу во время моего пребывания в тюрьмах, на этапах и в Сибири, — правда, не всю, но все же значительную ее часть, и я убедился, что теория Маркса, — очень остроумная и ловко им аргументируемая, к России совсем не применима.

Зная давно «Мишку», я не убедился этим его заявлением и продолжал допытывать его, много ли он одолел страниц «Капитала». Помнится, он ответил, что около 200.

— И из них ты убедился, что теория Маркса к России не применима?

— Да! — смело заявил он.

— Но на указанных тобою страницах Маркс трактует о «товарах и деньгах», о «процессе обмена», об «обращении товаров», о «превращении денег в капитал»...

И мы с Верой Ивановной доказали нашему смелому оппоненту, что в этих главах развиваются общие экономические законы, одинаково применимые к любой стране.

Увидев себя побитым, Владимир Карпович, помню, только воскликнул:

— Ну, я вызубрил же вы эту книгу!

— А ты признайся, что не прочел и 200 страниц, — пристал я.

— Нет, право, пробовал, да скучно показалось, — начал он сдаваться.

Конечно, «Капитала» он не читал и говорил с чужого голоса. Но возвратился к «Мишке», каким он был в южно-булгарском кружке в 1875—76 гг., когда и он входил в его состав.

Он был тогда полон сил и энергии, всегда носился с разными, самыми решительными, даже — отчаянными планами, о чем сообщу подробно ниже; он проявлял большую инициативность и находчивость. «Мишка» редко сидел без какого-нибудь дела: если не спорил с кем-нибудь, пуская в ход всевозможные парадоксы и гиперболы, то играл в шахматы, стрелял из револьвера в цель, точил кинжал или приготавливал фальшивые паспорта, вырезывая печати и пр.

Выглядел тогда «Мишка» здоровым, прекрасно сложенным, с привлекательными, очень выразительными и энергичными чертами лица мужчиной, почему и пользовался огромным успехом среди женщин.

В описываемое мною время Дебагорий-Мокриевич находился в супружеских отношениях с Марьей Павловной Ковалевской, урожденной Воронцовой, сестрой писателя В. В. Из женщин «Маруся», как все ее называли, являлась не только одним из наиболее выдающихся членов нашего кружка, но и одной из самых крупных участниц революционного движения 70-х годов, что она доказала во время своего ареста, процесса, пребывания на каторге и, особенно, своей мученической смертью на Каре. Отсылая интересующихся жизнью, деятельностью и трагической участью

этой замечательной женщины к моей книге «16 лет в Сибири», где я довольно подробно сообщаю о ней, я здесь ограничусь лишь немногими словами.

Когда я с нею познакомился, ей было лет около 25-ти. Небольшого роста, с очень смуглым, даже цыганским цветом лица, большими темно-карими глазами и черными, как смоль, волосами, Маруся не была красивой женщиной, но на всех решительно она производила обаятельное впечатление своим сангвиничным темпераментом и изумительной живостью. Кровь в ней всегда klokотала, минуты она не могла сидеть молча, без дела.

Как и Дебагорий-Мокриевич, Маруся любила беседы, споры, пение малороссийских песен и товарищеские попойки, сопровождавшиеся веселым, заразительным смехом. По своим убеждениям она также являлась сторонницей самых крайних и наиболее решительных приемов борьбы. Страстно, беззаветно любя «Мишку», ради которого она рассталась со своим мужем, учителем гимназии, — известным украинифилом, Ник. Вас. Ковалевским, — с годовой своей девочкой Галей, Маруся, тем не менее, вечно спорила, по любому поводу, с Мокриевичем, проявляя при этом изумительные диалектические способности. Как и он, Маруся не отличалась большой начитанностью и любовью к книгам, что отчасти объяснялось ее институтским воспитанием. Все же она производила впечатление человека более знакомого с мировой литературой, в особенности с изящной, чем Владимир Карнович. Не пережив в такой степени, как многие другие передовые женщины той эпохи, «нигилизма» 60-х годов, Маруся, тем не менее, была пассивно пропитана его отрицательным отношением ко всем устаревшим догматам, обычаям, понятиям. Она являлась крайней «реалисткой», подобно Базарову, решительно ничего не боявшейся, ни с чем не считавшейся. Временами могло казаться, что Маруся хватает через край, особенно, когда речь заходила о половых отношениях, но в словах ее никогда не было ничего вульгарного. Закончу эту краткую характеристику указанием на то, что Маруся так же, как и большинство женщин этого типа, предпочитала мужское общество женскому и среди первых пользовалась большим расположением, чем среди последних.

Всего в нашем кружке было четыре женщины; кроме Марии Павловны Ковалевской, в него входили еще: Анна Марковна Макаревич, Вера Ивановна Засулич и Мария Александровна Каленкина; упомянутая мною выше Лидия Павловна Барышева, урожденная Воронцова, старшая сестра «Маруси», по каким-то личным соображениям не состояла в этом кружке, но фактически принимала во многом деятельное участие и была в хороших отношениях со всеми, пользуясь общим доверием и симпатией. Каждая из наших женщин была в своем роде замечательна, в особенности же первые две. Но наиболее выдающейся по своим дарованиям среди всех них являлась Анна Марковна Макаревич. Вместе с изящной, бросавшейся в глаза не только привлекательной, но даже блестящей внешностью, она соединяла многочисленные и разнообразные дарования.

Блондинка, с голубыми глазами и чуть выюпимися на голове волосами, которые она заплетала в толстую длинную косу, «Аня», как все звали ее, обладала правильными чертами и белым, прозрачным цветом лица. Среднего роста, стройная, с легкой походкой, она, благодаря всегда изящному на ней костюму, несколько не походила на «нигилистку» и выглядела немного старше своих лет. При встрече с нею на улице многие обращали на нее внимание, что, в виду ее «нелегальности» и подробно указанных в списке разыскиваемых примет ее, было не совсем удобно и безопасно для нее.

Так, однажды, вернувшись откуда-то домой, она, между прочим, сообщила нам, что встретила на улице жандармского адъютанта, барона Гейкинга, который, разминувшись с нею, долго смотрел ей вслед, обернувшись. На ее замечание, что он, вероятно, узнал ее, как разыскиваемую по списку скрывшихся пропагандистов, кто-то из нас, присутствовавших, заметил, что вероятнее внимание его привлекла красивая женщина, так как высокий, с большими баками барон был известен, как

большой ловелас. Но каково же было наше изумление, когда в один из ближайших дней болтливый Гейкинг кому-то из пришедших к нему по делу поднадзорных сообщил про эту встречу, заявив: «Я узнал по приметам разыскиваемую Анну Макаревич, хотел было задержать ее, да потом раздумал,—Бог с нею, пусть гуляет на свободе хорошенькая женщина, пока нет прямого мне предписания арестовать ее».

Но поклонение женской красоте у этого остзейского барона было до того велико, что, как ниже увидим, он упустил случай арестовать Аню, даже когда получил прямое об этом распоряжение.

Как я уже упомянул в одной из предыдущих глав, с Анной Макаревич я познакомился у д-ра Эмме еще в предшествовавшем году. Но близко узнал я ее и подружил, встретившись с нею вновь, к немалому своему удивлению, среди самых крайних бунтарей, так как ни внешностью, ни складом своего характера она совсем к ним не подходила, что, как потом сообщу, она и сама затем признала.

Будучи единственной дочерью очень богатого симферопольского купца Розенштейна, Аня, 16 лет, окончив с медалью местную гимназию, отправилась в Швейцарию и поступила в Цюрихе в политехникум. Она явилась чуть ли не первой женщиной в России, а, может быть, и во всем цивилизованном мире, избравшей в самом пачае 70-х годов технические науки своей специальностью. В первое время Анна Розенштейн очень усердно принялась за занятия, при чем сразу проявила редкие дарования, изумительную настойчивость и огромные успехи. Не только профессора, но и студенты-швейцарцы приходили в не поддающийся описанию восторг от ответов на экзамене молоденькой, к тому же очень красивой русской студентки. Своєю восхищением они открыто выражали, провожая ее толпами домой и распевая по почтам под окнами ее квартиры серенады. Все, в том числе профессора, предсказывали ей блестящую перспективу на ученом поприще, но вскоре она избрала себе иное.

Как известно, в то именно время началось у нас среди передовых наших женщин стремление в Цюрих для получения там высшего образования, а вместе с этим двинулись туда из разных мест и эмигранты. Пошли толки о «судьбах России», о наивернейших способах сразу превратить ее в земной рай и проч. Чуткая, отзывчивая Аня не могла, конечно, остаться безразличной к пропаганде новых для нее, великих идей о всеобщем равенстве и счастье для обездоленных. Оставив свои так блестяще начатые занятия в политехникуме, она с теми же, если не с большими еще пылом и страстью отдалась ознакомлению с социальными вопросами,—стала усердно посещать рефераты и разные собрания, набрасывалась на социалистические произведения и пр., а вскоре затем вступила там же в кружок, который, как я уже сообщил в одной из предыдущих глав, по фамилии братьев Жебуневых, получил в революционной среде кличку «сен-жебунистов». В него, между прочим, входил также молодой и способный человек по фамилии Макаревич, с которым Анна Розенштейн вскоре сблизилась, а затем они и обвенчались.

«Сен-жебунисты» по своим воззрениям были мирными пропагандистами, сторонниками взглядов Петра Лавровича Лаврова. Как и преобладающее большинство тогдашней русской молодежи вообще, а цюрихчан—в частности, к этим же воззрениям примкнула юная студентка политехникума, Анна Розенштейн-Макаревич.

Еще в Цюрихе «сен-жебунисты» сформировали тайный кружок, поставивший себе целью, по возвращении на родину, посвятить все свои силы и средства делу пропаганды социализма среди крестьянского населения Малороссии.

Надо заметить, что три брата Жебуны (Николай, Владимир и Сергей) унаследовали от своих родителей, богатых помещиков Черниговской губ., довольно большое состояние. Кроме того, в их кружок, как я уже сообщил, входил также вскоре затем ставший предателем, средней руки помещик Трудницкий, отдавший тоже свои средства на общее дело. Таким образом, кружок Жебуневых являлся одним из наиболее обеспеченных в материальном отношении.

В отличие от большинства других пропагандистов, ради лучшего сближения с народом перерывавшихся, как известно, в крестьян и занимавшихся физическим

трудом, жебунисты избрали для себя менее тяжелый способ для проникновения в деревни и села: они решили отправиться в народ, главным образом, в качестве народных учителей, а также фельдшеров, писарей и т. п., даже не переходя на «нелегальное положение», т. е. не меняя своих званий, фамилий и пр.

В нахождении вакантных мест помог им священник села Дептовки, Конотопского уезда, Черниговской губ., Василий Стефанович, отец революционера Якова Васильевича. Не будучи, конечно, сам нисколько расположенным к социалистическим стремлениям своего сына и его товарищей, к тому же совершенно не веря, чтобы путем пропаганды возможно было достигнуть каких-нибудь радикальных перемен в России, священник Стефанович, как очень умный человек, к тому же, стоявший за просвещение темных масс, признавал полезным пребывание в селах и деревнях образованных молодых людей. «На социальную революцию,—говорил он им,—вы невежественных мужиков не подвигайте, а грамоте их научите».

Народных школ в то время было чрезвычайно мало; поэтому Василий Стефанович, являвшийся благочинным, прибег к решительному приему для увеличения их числа. Будучи по натуре сторонником якобинизма и признавая мужиков грубой, полу-дикой ордой, повинующейся только решительным мерам, священник Стефанович применил следующий способ: раз'езжая по подведомственным ему, как благочинному, селам, он приказывал собирать крестьянские сходы, на которых обращался к прихожанам с требованием, чтобы они немедленно ассигновали средства для оплаты учителей, а также и материалов, необходимых для постройки школ, грозя, что в противном случае подчиненные ему священники не будут ни венчать их, ни крестить, ни хоронить и т. д.

Прием этот подействовал: школы были вскоре сооружены, а учителями стали жебунисты. Но, как мы уже знаем, вследствие доноса Трудницкого, эти, как и масса других пропагандистов, были арестованы. Жебуневым, однако, как-то удалось скрыться, после чего они эмигрировали в Западную Европу.

Работая вместе с ними, Анна Марковна Макаревич также была оговорена Трудницким, но и ей посчастливилось избежать ареста. Но она не последовала за своими уцелевшими товарищами, скрывшимися за границу, а, перешедши на «нелегальное положение», осталась в России.

Со своим мужем Анна Марковна почему-то разошлась и вскоре затем она сблизилась с Виктором Костюриным, довольно видным в Одессе революционером, о котором подробнее сообщу ниже. К ним затем примкнул также разыскиваемый член московского кружка чайковцев, Михаил Федорович Фроленко. С этими лицами, еще недавно являвшимися ярыми лавристами и, следовательно, решительными противниками бакунизма, после испытанных ими в народе неудач, повторялось то же, что и с большинством тогдашних пропагандистов: они разочаровались в своих способностях повлиять на крестьянскую массу путем устного и печатного слова, а потому склонились к бунтарству, после чего все трое присоединились к киевскому кружку Дебагория-Мокриевича. Анна Марковна, несмотря на свои 20 лет, явилась в этом кружке, так сказать, уже с революционным стажем: за границей она познакомилась со многими виднейшими эмигрантами, что тогда являлось своего рода аттестатом; вернувшись на родину, действовала среди парода, а, главное,—фамилия ее с приметами была помещена в не раз уже упомянутом мною списке разыскиваемых Третьим Отделением революционеров по Большому процессу ¹⁾. Список этот был разослан по всей России тайной и явной полиции, благодаря чему, конечно, попал и в наши руки, после чего он появился на столбах лавровского «Вперед».

Благодаря блестящим своим дарованиям, а также революционному своему прошлому, Аня сразу заняла очень заметное место в киевском бунтарском кружке. Подобно Марии Павловне Ковалевской, она также отличалась ораторскими способ-

¹⁾ Вот как она была там пропечатана: «Макаревич, Анна, рожденная Розенштейн, жена дворянина; лет около 20, белокурая, лицо чистое, белое; среднего роста; не дурна собой.

ностями, но производила впечатление более ее образованной и, в отличие от Маруси, являлась не спорщицей, а скорее агитаторшей.

В дальнейшем мне еще не раз придется касаться Ани, а потому ограничусь пока приведенными мною о ней данными и перейду к другим членам южного кружка. Раз заговорив о наших женщинах, коснусь здесь оставшихся двух—Веры Засулич и Марии Каленкиной.

Обе они резко отличались от Маруси и Ани: ни Вера Ивановна, ни Мария Александровна не бросались в глаза своими дарованиями, ничем не выделялись вперед, но, как я уже упомянул, они также являлись замечательными женщинами, в особенности первая из них.

У Веры Ивановны, которой присвоена была кличка «Марфуша», имелось более почетное революционное прошлое не только чем у выше названных двух наших женщин, но даже у кого-либо из мужчин, членов этого кружка.

Как известно, она привлекалась по нечаевскому делу и была в первый раз арестована еще в 1869 году. После этого она около двух лет просидела в Третьем Отделении и в Петропавловской крепости; затем в течение ряда лет ее административно пересылали из одного северного захолустья в другое, при чем каждый раз заключали в тюрьмы, пока, наконец, в 1875 г. она самовольно покинула последнее место своей ссылки, г. Харьков, где, после пятилетних скитаний, ей дозволено было поселиться для поступления на местные акушерские и фельдшерские курсы. За ней, таким образом, было шести- или семилетнее революционное прошлое, чем не мог похвалиться никто другой из остальных членов кружка бунтарей, тогда еще не успевших познакомиться ни с тюрьмами, ни с ссылками.

Однако, относительно богатое тяжелыми испытаниями прошлое не наложило на Веру Ивановну печати мученичества, и выглядела она очень здоровой, хорошо сложенной, способной ко всякому физическому труду, деревенской девушкой. Маниерами,—сильной жестикующей и громкими выкриками во время бесед, а также внешностью, на которую Марфуша, видимо, не обращала никакого внимания, она несколько не напоминала «столбовую дворянку», каковой была по происхождению: она являлась типичной «нигилисткой» 60-х годов.

Мало привлекательного было в ней, как в женщине, и из черт ее лица только в глазах отражался большой природный ум. Вместе с тем чуть не из первых бесед с нею для каждого вполне обнаруживалось, что она какая-то своеобразная, необычайная, недюжинная девушка. Во всем ее поведении, в обращении с другими, особенно в речах ее бросались в глаза необычайная искренность и простота. Ей не только совершенно не присуще было стремление выдвинуться, обратить на себя внимание, но, наоборот, она как бы старалась ступешаться, остаться незамеченной, хотя по своему уму и развитию, в особенности по начитанности, Вера Ивановна стояла выше всех остальных членов этого кружка. Марфуше совершенно чужды были чувства самолюбия и честолюбия. Забегая много вперед, скажу здесь, что с годами и ростом ее всемирной известности, эти черты ее характера не умалывались, а, наоборот, скорее усиливались: непритязательной, чрезмерно конфузлившейся и крайне застенчивой Вера Засулич, как известно, осталась до самой смерти.

Будучи в бунтарском кружке, как и в других потом, Марфуша брала на себя только самые простые функции и обязанности,—квартирной хозяйки, стряпки и т. п. При этом все, за что она принималась, исполняла наиболее усердно, добросовестно, к тому же просто, без малейшей суетни, раздражения или придирчивости к окружающим, что так часто происходило даже у революционных «хозяек» конспиративных квартир.

Уже до знакомства со мною, Марфуша летом 1875 г. побывала, вместе с Яковом Стефановичем и Иваном Бохановским в «народе» и, как мне потом они передавали, она прекрасно исполняла роль деревенской «бабы», считаясь женой одного из этих ее спутников,—не помню в точности, кого именно из них, кажется, первого.

Типичная великороска, с певучим московским акцентом, впервые попавшая тогда на Украину, Марфуша, конечно, плохо понимала местный язык, из-за чего у нее нередко выходили недоразумения с соседками-хохлушами, подымавшими добродушно на смех симпатичную им «кацапку».

Еще одной чертой Вера Ивановна уже тогда отличалась не только от своих товарок по кружку, но и от мужской его части: лишь только представлялась ей малейшая возможность,—в городской ли общей квартире, где вечно толкалась масса всякого народа, или в крестьянской избе, когда роль «хозяйки» отнимала много времени,—Марфуша углубилась в книгу. При этом она с одинаковым увлечением поглощала как серьезные произведения, так журнальные статьи или иностранные романы,—все решительно интересовало эту на редкость любознательную и довольно уже тогда разностороннюю социалистку.

Но читатель, мало знакомый с той замечательной эпохой, едва ли в состоянии вполне оценить только-что приведенную мною черту характера Веры Ивановны,—ее любознательность. Я должен, поэтому, напомнить,—о чем мне уже приходилось сообщать в печати,—что в середине 70-х годов чтение книг вообще, в особенности же легальных, не только не было в обычае, но прямо и резко порицалось настоящими, последовательными бакунистами, к числу которых, как я уже упомянул, в киевском бунтарском кружке принадлежал задававший тон всему «лидер» Мишка. Он даже утверждал, что «было бы недурно забыть и то, чему раньше выучились, так как интеллигентность только мешает омуужиченью и полному слиянию с народной массой»¹). Помню, как однажды, заметив, что я читаю какую-то статью Михайловского, «Мишка» обратился с громким смехом к присутствовавшим товарищам: «Смотрите, он набирается ума у Михайловского!». Его смех был поддержан другими.

Нужно было, поэтому, обладать особенной, чуть ли не сверхестественной любознательностью, чтобы, при таком отношении товарищей к чтению, предаваться этому «вредному» для настоящего бунтаря занятию. Сугубо ценна, в виду сказанного, была эта страсть к чтению у скромной, застенчивой Марфуши, отпосившейся с большой симпатией и уважением ко всем, вообще, товарищам, а к «Мишке»—в особенности.

Решительно со всеми членами этого кружка Вера Ивановна была в наилучших, приятельских отношениях, но особенно сблизилась она с Марией Коленкиной, Яковом Стефановичем, а затем со мною, о чем подробнее скажу в своем месте.

В каждом из товарищей Марфуша находила хорошие, положительные стороны и совершенно не замечала у них отрицательных черт. В ту пору,—а в значительной степени и в течении всей дальнейшей жизни,—Вера Ивановна вообще склонна была несколько идеализировать симпатичных ей людей, в особенности в начале знакомства с ними.

Нахожу необходимым несколько остановиться здесь на удивительно меткой и верной характеристике, данной известным Степняком (С. М. Кравчинским) Вере Ивановне в его «Профилях»²). В ней нет ни одной неверной или сколько-нибудь преувеличенной черты: такую именно была Вера Ивановна после покушения ее на ген. Трепова. Но не совсем такой являлась она за три года до того, когда мы впервые встретились с нею осенью 1875 г., в Киеве. Когда она состояла в бунтарском кружке, ей совершенно не свойственна была, как сообщает Степняк, «русская болезнь, состоящая в терзании собственной души, в погружении в ее сокровенные глубины, в безжалостном анатомировании ее, в выскивании пятнышек и недостатков, часто воображаемых и всегда преувеличенных» (там же, стр. 67). Зная

¹) Приведа эту фразу в своих «Воспоминаниях» (см. стр. 115), Дебагорий-Мокриевич приписывает ее «некоторым, договорившимся до этого»; между тем, все мы отлично помним, что именно он вел тогда самую усиленную агитацию за невенство.

²) См. «Подпольная Россия», изд. «Фонда вольной русской прессы», стр. 65-71.

очень близко Веру Ивановну, и положительно утверждаю, что тогда, в середине 70-х годов, у нее эти черты характера совершенно отсутствовали или, быть может, были зарыты глубоко-глубоко в душе, так что не только нам, немногим друзьям ее, они не были заметны, но возможно, что и сама она отрицала бы их у нее существование, если бы другой утверждал что-либо подобное.

Тогда Вера Ивановна решительно не страдала «припадками черной хандры», которые,—по словам Степняка,—«овладевали ею время от времени, как царем Саулом и держали ее в своей власти дни за днями» и т. д. (там же).

Во время пребывания членом южного бунтарского кружка, да и в два-три последовавшие за тем года Марфуша, повторяю, была вполне жизнерадостной, всегда бодрой, веселой девушкой, никогда не впадавшей не только в «черную хандру», но даже просто не испытывавшей дурное настроение. Правда, и тогда она являлась чрезвычайно оригинальной девушкой, начиная от походки, костюма, внешности и кончая манерами, способом выражения своих мыслей, всегда новых, остроумных и оригинальных.

Но я должен также сообщить здесь, что в описываемое мною время Марфуша, в отличие от Маруси и Ани, не проявляла при обсуждении в кружке общих дел никакой личной инициативы, хотя она всегда внимательно прислушивалась к речам остальных товарищей. В этих случаях она несколько не проявляла также ни «редкую силу мысли», ни «самостоятельности», ни «неспособности идти по проторенным дорожкам», о чем сообщает Степняк, и что в описываемое им время Вера Ивановна, действительно, всегда почти проявляла. Тогда она еще не «проверяла и не подвергала критике все», а многое принимала на веру, без всяких споров, о которых говорит Степняк. Марфуша охотно соглашалась с решениями, а также с планами деятельности, предлагаемыми другими товарищами, что объяснялось, главным образом, свойствами ее характера,—скромностью, склонностью преувеличивать способности других и, наоборот, умалять присущие ей самой. Готовность следовать в практических делах за указаниями близких, симпатичных ей людей, как ниже увидим, осталась у Веры Ивановны и в дальнейшей ее деятельности.

В заключение этой краткой характеристики Марфуши до ее покушения на ген. Трепова, что, несомненно, имело громадное влияние на ее характер а также и жизнь ее, замечу, что, за исключением пас тропх—Коленкиной, Стефанович и меня,—едва ли кто-либо еще из остальных членов киевского бунтарского кружка мог в описываемое мною здесь время допустить, что скромная, непритязательная Марфуша скрывает в себе способность к безграничному самопожертвованию, к полному равнодушию не только к своему здоровью, но и к своей жизни, к редкому героизму.

Единственным среди наших женщин и вместе наилучшим другом Веры Ивановны была, как я уже упомянул, Мария Александровна Коленкина, которую все мы называли просто «Машей». Очень мало общего было у этих закадычных подруг.

Стройная, тощая блондинка, с золотистого цвета волосами, с прозрачной кожей, очень большим белым лбом и выразительными глазами, окаймленными длинными ресницами, Маша была вообще не дурна собой. Внешностью, манерами, походкой она производила впечатление вполне благовоспитанной девицы привилегированного сословия. В действительности же она была мещанкой какого-то небольшого городка на юге, ни в каком учебном заведении не училась она, да и сама не очень пополнила тогда свое образование. Как сообщила мне Вера Ивановна, главным источником всех познаний Маши были стихотворения Некрасова, каким-то образом рано ей попавшиеся в руки,—кем-то ей был подарен том их. Из него она почерпнула не только большинство своих сведений о жизни во вселенной вообще и в России—в частности, но Некрасов же научил ее полюбить обездоленных и посвятить себя делу их освобождения. За это как же любила она его и как хорошо знала все его стихотворения!

Однако, эти знания далеко не удовлетворяли ее; более того,—ее крайне угнетало и огорчало, когда кто-нибудь даже из друзей касался щекотливого, большого для нее пункта, что все свои знания она почерпнула из Некрасова ¹⁾.

Не только по внешности, манерам и своему образованию, но и по характеру Маша в сильной степени отличалась от своего друга Марфуши. Между тем, как Вера Ивановна была всегда чрезвычайно общительна с близкими и в веселом, бодром пастроении, Маша, наоборот, была крайне молчалива, сосредоточена в себе, грустна и производила такое впечатление, словно ее угнетает, мучает какое-то большое горе, несчастье. В течение многих не только дней, но недель и месяцев от Маши можно было только услышать лаконичные ответы «да» или «нет»; сама же она в крайне редких, только в исключительных случаях обращалась даже к симпатичным ей товарищам с каким-либо словом. С крепко стиснутыми губами, выводя карандашом, булавкой или чем-либо аналогичным на бумаге, а то на столе или на стекле какие-нибудь фигурки, значки и пр., Маша казалась совершенно индифферентной ко всему кругом нее происходившему.

За все время моего с нею знакомства я не могу припомнить ни одного случая какого-либо активного ее участия в общих беседах, хотя бывали и чрезвычайно важные заседания, от того или другого решения которых зависела свобода, а то и жизнь многих из нас.

Но, думая вечно свою грустную думу, эта очень умная от природы девушка замечала все кругом нее происходившее и составляла свое самостоятельное мнение, которым делилась только с подругой своей Марфушей. Лишь с нею одною,—по крайней мере во время пребывания в нашем кружке,—Коленкина была разговорчива, что можно было заметить по их частым шушуканиям где-нибудь в стороне.

Как неизмеримо более образованная и развитая, Марфуша несомненно имела большое, к тому же, благотворное влияние на свою подругу. Хотя они были ровестницами,—25—26 лет,—тем не менее, Вера Ивановна относилась к Коленкиной, как старшая, нежно любящая свою меньшую сестренку: заботилась о ней, как о слабосильной, болезненной, хотя в то время Маша никаким физическим недугом не страдала и, несмотря на хрупкую свою фигуру, была довольно вынослива ко всякому труду.

По внешнему уже виду Коленкиной можно было заключить, что она обладает большим умом и сильным самостоятельным характером. При более же близком с нею знакомстве обнаруживалось, что она, к тому же, очень самолюбива, мнительна и обидчива,—эти черты совершенно не были свойственны Марфуше.

На естественный вопрос, что сблизило этих двух, повидимому, столь различных девушек, ответу: главным образом, отзывчивость и способность к безграничному соболезнованию, черты, которые в сильной степени были всегда присущи Вере Ивановне. Чрезвычайно поблудательная, она не могла вскоре не заметить, что Коленкина чем-то обижена, недовольна, что ее, как я упомянул, словно сосет большое горе, которое она могла бы открыть только очень большому другу и тем облегчила бы свое душевное состояние.

Добрая, способная к соболезнованию, к тому же ужасно простая на вид Марфуша, очень скоро разгадав болезненно самолюбивую натуру Коленкиной, сумела подойти к ней, заставить ее заговорить, излиться, чему Маша очень обрадовалась, так как ее наверно крайне тяготило ее душевное одиночество.

Вот, по-моему, главная причина сближения этих казавшихся столь различными натур. В действительности же, при внешней их противоположности, в их характерах

¹⁾ Забегав много вперед, скажу здесь что впоследствии Коленкина, находясь в тюрьмах и на каторге, самостоятельно приобрела относительно значительные знания и, очутившись, по выходе из Кары, в Иркутске, занялась с большим успехом обучением детей. Кажется, она и до сих пор продолжает тем же заниматься там.

были и общие обеим свойства, при этом столь существенные, важные, что они превалировали над всеми остальными в то, по крайней мере, время.

Как и Вера Ивановна, Коленкина так же являлась очень сложной натурой, обладавшей богатым внутренним миром: скромная, как и ее подруга, она всегда желала оставаться никем не замеченной, в тени; но, главное, Маша тоже способна была на безграничное самопожертвование, на героизм, что она впоследствии и проявила. Более того: если память мне не изменяет, инициатива пожертвовать собой для восстановления поруганной чести товарищей принадлежала Коленкиной. Но об этом подробно сообщу в своем месте.

За Машей также имелось уже революционное прошлое: она входила в знаменитую «Киевскую Коммуну», столь оклеветанную прокурором Желиховским по Большому процессу и подробно описанную Дебагорием-Мокриевичем в его «Воспоминаниях». Весной 1874 г. Маша, вместе с Екатериной Константиновной Брешковской и Яковом Стефановичем, ходила, в качестве крестьянки, в народ, и только случайно спаслась от ареста. Попад в список разыскиваемых полицией, она перешла на нелегальное положение.

В упомянутых записках Мокриевич сообщает, какую осторожность и вместе настойчивость проявила Коленкина в дни разразившегося осенью 1874 г. на юге погрома. Описанное им свидание с нею до того характерно, что я считаю нужным привести его здесь целиком.

«Я зашел к Коленкиной, занимавшей номер в гостинице,—рассказывает он.—Помню, когда я вошел к ней в комнату, она сильно встревожилась моим приходом и стала настаивать на том, чтобы я немедленно уходил из гостиницы.

— Уходите пожалуйста отсюда,—говорила она.—В соседнем номере живут шпионы. Сегодня ночью я слыхала разговор за этой стенкой..

То была деревянная тонкая перегородка... Сквозь нее легко можно было слышать, что говорится в соседней комнате.

— Хорошо, я уйду, но мне хотелось бы условиться относительно встречи,—проговорил я тихо, чтобы не слышно было в соседнем номере.

— Уходите! И слышать не хочу: вас здесь арестуют...

— В таком случае и вас арестуют!

— Лучше одному погибнуть, чем двоим: уходите!

— Дайте мне кончить: условлюсь...

— И слушать не хочу!—перебила она и затем, чтобы на самом деле не слышать меня, она закрыла себе уши пальцами и заговорила: «Уходите, уходите, уходите, уходите!», повторяя это слово раз десять ¹⁾).

Такую же непоколебимую настойчивость Коленкина проявляла всегда и во всем. Черта эта временами доходила у нее до невероятного упрямства, что в особенности у нее проявлялось, когда дело касалось интересов товарищей.

Словом, Маша, как и Марфуша, была по редкость альтруистической, кристально-чистой, тонкой, изящной натурой и, в противоположность ее закадычному другу, в ней не было ничего «нигилистичаго».

Хотя, как я сообщил, Маша всегда хранила гробовое молчание, все же члены бунтарского кружка чутьем угадывали, что это недюжинная революционерка, и относились к ней с заметным вниманием и с большой симпатией. То же отношение к себе вызвала она, когда впоследствии переселилась в Петербург, но со стороны некоторых своих товарищей на каторге она, как мне передавали, уже не пользовалась такой симпатией, так как там, вследствие болезни легких, характер ее будто бы резко изменился. Не знаю, насколько это верно.

**

Мужской контингент южного бунтарского кружка значительно превосходил количеством, но не качеством, перечисленных выше жепщин. Нужно констатировать

¹⁾ «Воспоминания», стр. 163

даже обратное: между тем как последние все на подбор являлись особенно выдающимися, что они и доказали в дальнейшей своей деятельности, сыграв очень видную роль в нашем революционном движении; из четырнадцати мужчин только немногие чем-нибудь проявили себя впоследствии, и лишь двух-трех мужчин этого кружка можно отнести к недюжинным, исключительным революционерам той эпохи. Среди них наиболее видное место бесспорно занимал Як. Вас. Стефанович, о котором Степняк в «Подпольной России» совершенно правильно говорит; что одно время он «был едва ли не самым популярным человеком в партии» ¹⁾.

В описываемое мною время имелось несколько особенно выдающихся участников революционного движения, фамилии которых, по тем или другим причинам, произносились одновременно, по-парно. Так, называя Рогачова, непременно прибавляли Кравчинского (или обратно) ²⁾, Ковалика соединяли с Войнаральским, а Стефановича называли вместе с Мокриевичем.

Однако, из таких соединений не следует заключить, что эти пары являлись своего рода Аяксами, закадычными, неразлучными друзьями. В особенности этого нельзя было сказать о последней из перечисленных мною пар,—о Мокриевиче и Стефановиче.

Еще менее общего, чем между Верой Засулич и Марией Коленкиной, было у Стефановича с Мокриевичем: ни по складу их умов, ни характерами они несколько не походили друг на друга, к тому же было также и значительное различие в их летах, что особенно ощущается в том возрасте, в котором они находились. По указанным и по другим причинам, о которых подробно сообщу ниже, между этими наиболее тогда видными бакунистами не только на юге, но и вообще в России, не было тесных, дружеских отношений,—связывало их тогда, главным образом, общее дело, единство стремлений и цели.

Хотя Мишка являлся «генералом» в нашем кружке, но мы ниже увидим, что во многом он уступал «Дмитру», как назывался Стефанович в революционном мире. В нашем кружке, да и повсюду вообще в то время, Стефанович пользовался несколько не меньшим авторитетом и престижем, чем Мокриевич. Среди же большинства членов нашего кружка, Дмитро вызывал к себе куда больше симпатий, расположения и уважения, чем Мишка Мокриевич, обращавший на себя общее внимание благодаря как своей красивой внешности, так и разговорчивости; Дмитро же, отличавшийся чрезвычайной молчаливостью, скромностью и застенчивостью, являлся значительно более инициативным, предприимчивым, деловитым. Фактически главные связи и сношения с крестьянами, на которых основывались задачи и планы этого кружка, как ниже увидим, находились исключительно в руках Стефановича. Вот почему, несмотря на юный свой возраст,—ему тогда было 21—22 года,—Дмитро явился вскоре действительным руководителем самого выдающегося в середине 70-х годов бакунинского кружка в России.

Как я уже сообщил, Стефанович был сыном сельского священника Черниговской губ. Будучи в последних классах гимназии, он,—как и большинство тогдашних революционеров,—начал свою общественную деятельность на мирном, культурном поприще, участвуя в одном из распространенных в Малороссии украинофильских кружков, задававшихся безобидной целью способствовать развитию своего родного языка, литературы и т. п. Но царское правительство «реформатора» Александра II считало крайне вредным такое стремление украинцев и всячески его преследовало. Убедившись на личном опыте в невозможности самой скромной просветительной работы для родного края, Стефанович, подобно другим представителям лучшей части нашей учащейся молодежи, стал, под влиянием нашей передовой литературы, склоняться к социализму.

¹⁾ Там же, стр. 30.

²⁾ После ареста первого, летом 1876 г., говорили: «Кравчинский и Клеменц» и обратно.

Блестяще окончив гимназию и поступив, как мы уже знаем, в 1872 г. на медицинский факультет, Стефанович самым усердным образом прилепился за изучение анатомии. Но весной следующего года началось знаменитое движение нашей революционной молодежи «в народ». С твердостью, настойчивостью и энергией, которые с юных лет были в сильной степени присущи Стефановичу, он также, не останавливаясь ни перед чем, устремился в водоворот, который поглотил не одну тысячу самых даровитых юношей, девушек и женщин нашей страны.

Но оставив навсегда университет и связанное с медицинской карьерой привилегированное положение, Стефанович в течение некоторого, — правда, очень короткого, — времени являлся мирным социалистом, сторонником устной и печатной пропаганды, как это проповедывал П. Л. Лавров. Присоединившись сперва к кружку «сенжебунистов», он и сам собирался действовать среди народа, в качестве народного учителя. Затем он примкнул к местному отделению известного кружка чайковцев, имевшему филиальные разветвления в некоторых университетских городах, — в Москве, Киеве, Одессе. Собираясь в народ, Стефанович, подобно другим тогдашним социалистам, на всякий случай тоже стал обучаться сапожному ремеслу. Но насколько великими оказались его успехи на этом поприще, может показать следующее.

Когда, изготовив, после долгих усилий, первую пару сапог, Стефанович принес ее на рынок, то какой-то покупатель, взглянув на нее, воскликнул: «Лучше бы ты принес одну кожу, тогда взял бы ее, а сапоги твои куда не годятся».

Не долго, однако, оставался Стефанович среди мирно настроенных социалистов. Уже осенью 1873 г. он вошел в состав известной «Киевской Коммуны», где он особенно сблизился с Брешковской и с Коленкиной, с которыми, как я уже упомянул, летом следующего года ходил в народ. Но еще раньше этого путешествия, он, вместе с Дебагорием-Мокриевичем и другими тремя товарищами, исколесил некоторые малороссийские губернии, в качестве чернорабочего или красильщика материй, о чем подробно рассказывает Мокриевич в своих «Воспоминаниях» (стр. 132—33).

Из рассказов Стефановича о его странствованиях совместно с одной лишь Брешковской в моей памяти запечатлелся следующий интересный эпизод, едва не кончившийся для них печально.

В каком-то селе они попали в среду штундистов, в ту пору только что начавших распространяться в Херсонской и Киевской губерниях под влиянием проповеди очень смышленного крестьянина по фамилии Рябошапка. Брешковская и Стефанович чрезвычайно обрадовались, когда они наткнулись на тогда новую для них рационалистическую секту. Завязались у них разговоры и споры о преимуществах учения новой секты перед православием. Пользуясь этими беседами, наши странствовавшие из села в село революционеры начали, ссылаясь на священные книги, не без успеха склонять штундистов на свою сторону. Последние стали затем упрашивать Стефановича остаться у них до приезда их проповедника Рябошапки, чтобы из состязания с ним они могли убедиться, на чьей стороне правда. Хотя Стефанович очень опасался за последствия этой дискуссии, но он должен был на нее согласиться.

Действительно, вскоре приехал туда Рябошапка, которого, быть может, его последователи специально выписали. Узнав о происходивших в его отсутствия дискуссиях с пришлыми агитаторами, этот проповедник пожелал устроить с ними состязание при всех своих последователях. Смышленный, очень хитрый малороссианин, быстро сообразив, с кем он имеет дело, предложил тогда безумному агитатору изложить, в чем состояла «его вера». Приняв этот вызов, Стефанович повторил то, что он уже излагал раньше частным образом многим из собравшихся на дискуссию.

— Э, та ось воно що! Ось ви який! — воскликнул Рябошапка. — Затем он заявил Стефановичу, что, собственно, должен был бы, «скрутив ему назад руки, доставить его в волость», но не делает этого отчасти в виду его молодости, а также своих религиозных взглядов. В заключение этот пройдоха-проповедник самым на-

стоятельным образом посоветовал нашим агитаторам поскорее убраться по-добру, по-здорову ¹⁾).

Но не только в этот раз Стефанович был на волосок от ареста,—совершенная случайность также спасла его, когда задержана была его попутница и лучший друг Е. К. Брешковская.

О дальнейших перипетиях Стефановича я уже вскользь упомянул выше. Ограничусь пока сообщенным мною о нем и перейду к остальным мужчинам, членам названного кружка.

**

Одним из самых видных представителей не только кружка, но и вообще революционного движения той эпохи являлся Михаил Федорович Фроленко. В «Галлерее Шлиссельбургских узников» Вера Николаевна Фигнер дала о нем некоторые биографические сведения; но в виду незначительного распространения этого, к слову, чрезвычайно интересного сборника, ставшего теперь библиографической редкостью, я приведу здесь наиболее крупные факты из жизни Фроленко.

Он не принадлежал,—как большинство тогдашних революционеров,—к привилегированному сословию. Отец его, бывший фельдфебель, служил смотрителем каменно-угольных копей в Кубанской области. Он рано умер, оставив жену с дочерью и малолетним мальчиком, родившимся в Ставрополе, в 1848 г., совершенно без всяких средств. Много горя и лишений испытала эта семья. Но мать Фроленки была выдающейся женщиной, имевшей на него огромное влияние. Выбываясь из сил на тяжелой подневной работе, она тем не менее старалась дать мальчику образование. Случайное обстоятельство содействовало его поступлению в уездное училище, в котором он прекрасно занимался и окончил первым. Добрые люди помогли ему затем попасть в ставропольскую гимназию, по окончании которой он добрался в Петербург, где поступил в Технологический институт. Но, спустя год, Фроленко перекочевал в Москву, чтобы, окончив там Петровско-Разумовскую академию, помогать крестьянам своими агропомическими познаниями. Этой мирной задаче, однако, не суждено было осуществиться: начавшийся революционный подъем, о котором я уже много раз упоминал, увлек и Фроленко, восприимчивого к страданиям ближнего, почерпнутым не из книг, а из личного горького опыта. Покинув земледельческую академию, Михаил Федорович примкнул к кружку московских чайковцев.

Начал он, как и все тогда, с культурно-просветительной деятельности,—с обучения кружка рабочих грамоте. Затем, с наступлением весны 1874 г., вместе с товарищем Аносовым, он отправился «в народ».

Подобно некоторым членам кружка Фесенко в Киеве, о чем я сообщил во второй главе, они выбрали секту «бегунов», как наиболее протестующую против существующего строя. Но их поиски этих народных «бунтарей» на Урале оказались столь же тщетными, как и вышеупомянутые мною, предпринятые в низовьях Волги моими товарищами в Киеве.

Будучи скомпрометирован в глазах жандармов, вследствие начавшегося тогда повсюду погрома, Фроленко осенью 1874 г. перешел на нелегальное положение, в котором,—замечу к слову,—он остался до марта 1881 г., т.-е. почти целых семь лет, следовательно, дольше, чем кто-либо другой из русских революционеров. В отличие от многих «нелегальных» он не отправлялся, даже на время, за границу, чтобы замести следы, а ограничивался только перенесением своей деятельности с севера на юг и обратно.

¹⁾ Впоследствии Стефанович, описав этот эпизод, насколько было возможно по цензурным условиям, отправил статью в «Отечественные Записки»; вскоре получилось от Михайловского письмо с чрезвычайно лестным о ней отзывом и с обещанием,—с некоторыми пропусками, поместить ее. Но все по тем же цензурным причинам она не появилась в печати, и рукопись так и застряла в редакции вскоре затем закрытого журнала. Было-бы очень ценно, если-бы она нашлась.

Попав в Одессу, Фроленко, как я уже выше упомянул, сошелся с Анной Макаревич, Виктором Костюриным, Иваном Дробязгиным, с тамошними «чайковцами», и, вообще, с недавними «лавристами», разочаровавшимися в успешности пропаганды и примкнувшим к бакунистам.

В киевском бунтарском кружке «Михайло», как мы звали его, благодаря своему характеру, а также тому, что он являлся одним из наиболее опытных, бывалых деятелей, занял довольно видное положение.

Он также не бросался в глаза, также редко можно было услышать его голос, но когда он делал какое-либо замечание, сообщение и пр., это всегда выходило у него просто, лаконично, кстати. Не могу припомнить, чтобы он когда-либо принимал участие в теоретических беседах, — кажется, уже тогда они совершенно его не интересовали: как и Стефанович, он являлся практиком, человеком, всегда чем-нибудь занятым, исполняющим какую-либо нужную функцию или миссию. Но, в отличие от Дмитра, Михайло редко вносил в общее дело что-либо свое, проявлял какую-нибудь самостоятельность, а тем более инициативу. Он был пезаменнм, как исполнитель, но, — по крайней мере тогда, — он не проявлял творческих дарований, чему иллюстрации приведу ниже.

Своею внешностью Михайло также нисколько не выделялся. Он принадлежал к более пожилым членам южного кружка, — ему было лет 25—26. Среднего роста, худощавый, с темно-русыми волосами на голове и жидкой рыжеватой бородкой. Михайло мало напоминал интеллигента, а скорее походил на мастерового или военного писаря. Среди товарищей он пользовался уважением, — его считали серьезным, делным и аккуратным работником, на которого можно положиться, что он наилучшим образом исполнит то, за что взялся.

Наиболее близок был Михайло с Аней и «Алешкой», как все звали Виктора Костюрипа, хотя общего с ним у него решительно ничего не было, если, конечно, не считать одинаковых взглядов и безграничной преданности революционной борьбе. Никто не сомневался, что Михайло, в случае необходимости, пойдет на самое отчаянное, самое смелое предприятие, что, как известно, он впоследствии неоднократно доказал. Мне еще не раз придется в дальнейшем сообщить о Фроленко.

**

Из наиболее «солидных» по возрасту, кроме Мишки и Михайло, был Сергей Чубаров, он же «Зеленый», «Капитан» и «Американец». Почему ему присвоены были первые две клички, я теперь не помню; последнюю же он получил, благодаря своему долгому пребыванию в Сев.-Америк. Соед. Штатах. Ему также было тогда лет 25—26, а «революционное прошлое» он имел большее, чем кто-либо другой из мужчин этого кружка, так как, вместе с Верой Ивановной Засулич, Чубаров привлёкся по нечаевскому процессу.

Будучи студентом Петровско-Разумовской академии в 1869 г., Чубаров имел очень отдаленное отношение к заговору Нечаева, все же полиция его усиленно разыскивала, почему он счел за лучшее скрыться, после чего эмигрировал в Америку. Там он почему-то очутился, в качестве рабочего, во Флориде, где прожил несколько лет и, вернувшись незадолго до моей встречи с ним, попал в этот кружок.

Хотя он часто начинал свои рассказы с фразы: «когда я жил во Флориде», но я решительно не могу припомнить никакого сколько-нибудь интересного сообщения о его жизни в Новом Свете. За то «Зеленый» был неистощим, как рассказчик всевозможных анекдотов, преимущественно нецензурного характера.

Веселый, добрый товарищ, всех забавлявший, «Зеленый» никем, кажется, не считался сколько-нибудь выдающимся деятелем. Неглуный от природы человек, он, несомненно, был целиком предан интересам трудящихся масс, что впоследствии он и доказал своей героической гибелью на виселице. Но в описываемое мною время, насколько теперь могу припомнить, он решительно не проявлял никаких талантов.

никакой серьезной практической работы он не исполнял, ограничиваясь только ролью «каспра», которой, однако, никто ему не поручал.

Дело в том, что после смерти отца, помещика средней руки Пензенской губ., Чубаров с братом оказался наследником довольно значительного количества земли. В виду нелегального своего положения он предоставил брату право пользоваться его долей, получая за это от него соответствующую плату. Часть,—быть может, наибольшую,—этих сумм Зеленый употреблял на дела нашего кружка, что, кажется, являлось главным источником наших материальных средств. При этом замечу, что он не был особенно щедр. Впрочем, подробнее об этой его черте, приведшей к довольно неприятному финалу, я сообщу в своем месте подробно.

Внешностью и манерами Зеленый также не imponировал, и в кружке он не принадлежал к видным членам. Кажется, не будет ошибкой, если скажу, что к нему тогда не относились серьезно,—скорее безразлично, хотя и считали его отважным, смелым человеком, готовым на самопожертвование.

**

Еще менее заметной, если это возможно, была роль тоже «солидного» члена,—Ивана Бохановского, уже окончившего киевский университет, когда началось хождение в народ. Бросив во время окончательных экзаменов юридический факультет, «Иван»,—он же «Казак», как его звали,—последовал за другими; скомпрометировавшись вскоре в качестве пропагандиста, он также стал бакунистом, затем перешел на нелегальное положение и примкнул к кружку Мокриевича.

Много общего в его характере было тогда с Михайлой: та же серьезность, деловитость, аккуратность в выполнении взятых на себя обязанностей и то же отсутствие собственной инициативы. Но, в отличие от Фроленко, Бохановский обладал значительной дозой хохлацкой флегматичности.

Из мужчин Иван-Казак был наиболее молчаливым и незаметным в нашем кружке. В этом отношении он даже превосходил Машу Коленкину: от него и лапаческого ответа не сразу можно было добиться. Он, конечно, также не принимал никакого активного участия в общих обсуждениях и тоже безусловно соглашался с решениями, принятыми остальными товарищами. Но, между тем, как у Маши сразу бросались в глаза присущие ей выдающиеся качества,—большой природный ум, огромная настойчивость и пр.,—с Иваном нужно было очень долго прожить вместе при особенно благоприятствующих знакомству и сближению обстоятельств, чтобы заметить, что и этот необычайно замкнутый человек не лишен многих крупных достоинств. Только Стефановичу и мне, затеявшим впоследствии, сообщая с Бохановским, «Тайное общество» среди крестьян, о чем сообщу ниже, удалось близко узнать и оценить этого нашего товарища. Но я уверен, что во время его пребывания в кружке Мокриевича для большинства членов он остался совершенно неизвестным, неразгаданным человеком.

**

Совсем в другом роде был другой «хохол», также пазывавшийся Иваном,—Дребязгин, о котором не мало сообщает Дебагорий-Мокриевич в своих воспоминаниях, как о спутнике в его розысках связей среди крестьян для подвигания их на восстание.

Уроженец Новороссийского края, кажется, студент одесского университета. Дребязгин тоже был из числа тех пропагандистов, которые выбирали сектантов, как людей, наиболее восприимчивых к проповеди социализма. Поэтому, до вступления в кружок южных бунтарей, Дребязгин, вместе с прославившимся вскоре затем Иваном Ковальским, отправился к штундистам. Среди них он, вероятно, имел такой же успех, как и все мы, избравшие эту среду ареной своей деятельности,—в точности не могу теперь припомнить собственных его об этом сообщений. Но уже один тот факт, что в голове моей на этот счет не удержалось ничего определенного, может служить плохим признаком.

Дребязгин был одним из наиболее разговорчивых в нашем кружке. При этом он отличался значительным остроумием,—он был полон хохляцкого юмора. Его остроты, каламбуры и анекдоты привлекали к нему общее внимание, но особенно, помню, восхищалась его разговорами Вера Ивановна, которая готова была слушать его без конца. Она не скрывала своего к нему расположения, почему,—к слову,—некоторые подшучивали над нею, высказывая предположение, что она к нему равнодушна.

Ниже среднего роста, с белокурой жидкой бородкой и неправильными чертами лица, Дребязгин имел невзрачный вид. Но достаточно было провести с ним короткое время, чтобы заметить, что он обладает своеобразным умом и независимым характером. Он обнаруживал также недурное знание крестьянской среды, а, главное, по-видимому, умел действовать в этой среде, при чем не лишен был инициативности.

Дребязгин был еще очень молод, лет 22—23, и, быть может, со временем из него вышел бы очень крупный революционер. Но, год спустя, он был арестован, а затем без всякой вины с его стороны,—только вследствие возмутительной жестокости местного сатрапа,—он так же, как и Чубаров, был повешен в Одессе.

**

К немногочисленным в этом кружке видным мужчинам отчасти принадлежал и не раз уже упомянутый мною Виктор Костюрин, хотя по возрасту он примыкал к молодой части наших бунтарей,—при моем с ним знакомстве ему было 21—22 года,—но, благодаря довольно значительной белокурой бородке, он выглядел на пару лет старше.

Сын мелкого помещика Бессарабской губ., «Алешка», как мы его звали, тоже рано примкнул к революционному движению. Покинув университет и вступив в местный кружок чайковцев, он скоро скомпрометировался и стал «нелегальным», а затем, как я уже сообщил, вместе с Фроленко и Анной Макаревич вошел в киевский бунтарский кружок.

Как и большинство бывших чайковцев, Алешка не чужд был некоторого теоретического развития, а также интереса к чтению. Но, в виду сангвиничного своего темперамента, он в чрезвычайно сильной степени увлекался новым кругом охвативших его идей и планов, а потому, будучи в бунтарском кружке, иногда не заглядывал в книгу, по крайней мере при мне. Вместо этого «ничемного» и даже «вредного», как мы уже знаем, по мнению лидера Мишки, занятия, Алешка, наравне с лучшим другом его, точнее—с женой, Аней, всегда носился по разным делам, перелетая из Киева в Одессу, Кишинев, Харьков, являясь метеором на самое короткое время, завязывая новые связи и всюду внося оживление и инициативу.

Веселый, жизнерадостный, с открытым, умным выражением лица, Алешка был очень не дурен собой и пользовался значительным успехом среди женщин. Он несомненно принадлежал к одаренным от природы натурам, но неблагоприятно сложившиеся для него обстоятельства, что, как известно, было участием преобладающего большинства выдающихся русских передовых деятелей, помешали ему запясть соответствовавшее его способностям положение среди наших революционных деятелей. В своем месте я сообщу о дальнейшей его участи, закончившейся каторгой и бесконечным пребыванием в гиблых сибирских тупах.

**

Еще печальнее, еще ужаснее была судьба другого видного юноши—Виктора Малинки, которого мы называли «Хомой»: он, как известно, вместе с Дребязгиным (а также с Л. Майданским, не входившим в наш кружок) погиб на виселице.

Сын очень богатого помещика Полтавской губ., Малинка, оставив университет, примкнул к революционному движению. Суровый, деспотического нрава отец лишил его за это всякой материальной поддержки, что, однако, несколько не огорчило его. Хома, по-видимому, унаследовал от отца сильный, непреклонный характер.

С некрасивыми чертами лица и суровым взглядом из-за черных густых бровей, к тому же молчаливый, Малинка производил не особенно благоприятное впечатление: он казался нелюдким, неприветливым, черствым человеком, чего вовсе не было в действительности. Суровым, беспощадным Хома был только по отношению всех представителей господствовавшего строя. К ним он питал сильную, глубокую ненависть и вражду, с ними он не прочь был в любой момент разделаться. Но особенно беспощаден был Хома по отношению ренегатов, чем и объясняется принятое им первым в то время решение покончить с Гориновичем, когда тот подвернулся ему под руку, что, как известно, привело его и еще двоих к виселице.

При нашем знакомстве ему шел только двадцатый год, но он также выглядел старше своих лет. Он целиком был человеком дела, к тому же самого решительного, отважного, на котором можно было бы сложить свою голову. Его, поэтому, чрезвычайно тяготили всегда неизбежные в революционных предприятиях отсрочки, выжидания. Как почти ни у кого другого из членов этого кружка, слово всегда шло у Хома рядом с делом: он не допускал ни малейших соображений с обстоятельствами, компромиссов. Это был тип непреклонного революционера, террориста, жаждущего героических подвигов.

Многими чертами своего характера Малинка очень походил на описанного Герценом юношу Бахметьева, оставившего у него значительную сумму денег и затем отправившегося на Принцевы острова проповедывать социализм туземным дикарям-людоедам ¹⁾. Из выдвинувшихся потом русских революционеров Малинку очень напоминал известный народоволец Баранников, о котором мне также придется ниже сообщить свои впечатления. Доживи Малинка до времени господства у нас террористической борьбы, он, вероятно, явился бы одним из наиболее стойких ее adeptов.

**

Мне трудно дать характеристики всех остальных членов первого бунтарского кружка в России. Вследствие чрезвычайной конспиративности, господствовавшей тогда среди революционеров, почти невозможно было сколько-нибудь близко узнавать друг друга, особенно некоторых товарищей. Поэтому, при кратких, далеко неполных описаниях погибших или давно затерявшихся старых товарищей, какими неизбежно являются такие заметки, рискуешь невольно сделать какой-нибудь крупный промах. дать неверное представление или, в лучшем случае, сообщить только общие черты, которые присущи были многим участникам той эпохи.

В вышеприведенных набросках я остановился на наиболее, как мне кажется, крупных и оригинальных членах этого кружка, к тому же на особенно сильно потом пострадавших за свою революционную деятельность, фамилии которых фигурировали в политических процессах. Но из этого, полагаю, вовсе не следует заключить, что не упомянутые мною члены нашего кружка не заслуживают внимания и что они были мало или вовсе неинтересными людьми. Нисколько. О некоторых из них у меня не только не сохранилось никаких биографических данных, но я не помню даже их настоящих фамилий. О других мне придется кое-что сказать ниже, в своем месте, а об одном сообщу сейчас, так как впоследствии он тоже попал «в историю», но крайне тяжелую, незавидную. Я имею в виду в свое время приобревшего печальную известность Федора Курицына, сильнейшим образом навредившего многим бывшим его товарищам и ставшего одним из самых вредных тогда ренегатов. Таким образом, на составе этого выдающегося кружка тоже подтверждалась верность пословицы — «в семье не без урода». Особенно печально, что, как сейчас увидим, совсем не трудно было заранее предсказать ненадежность этого члена и принять соответственные меры предосторожности.

**

¹⁾ См. «Былое и Думы», т. XII, изд. под ред. Лемке.

Однажды ночью описываемой мною выше зимы 1875—76 гг., когда в квартире, которую, как я сообщил, снимала Лидия Павловна Барышева, собрались многие бунтари, вдруг раздался резкий звонок.

«Жандармы!»—произнес кто-то. Все присутствовавшие спокойно остались на своих местах, за исключением одного, видимо, страшно испугавшегося, изменившегося в лице, пугливо озиравшегося и со словами «надо спрятаться» метавшегося по обеим комнатам, пока не подлез под диван. Как ни было напряженно состояние остальных, некоторые все же не могли удержаться от смеха. Тем комичнее стало положение этого труса, когда оказалось, что пришли не жандармы, а кто-то из своих же. Помню, что тогда же Маруся Ковалевская проявила большую прозорливость: «В случае ареста,—сказала она более близким товарищам,—Федька может всех выдать». Это был Курпыцын.

Не помню его родословной,—кажется, сын купца или мещанина, бывший студент Харьковского ветеринарного института, «Федька», попав какими-то судьбами в этот избранный кружок, решительно ни в ком из членов не приобрел к себе ни уважения, ни симпатий. Но не описанный только-что случай был этому причиной,—не помню даже, всем ли он был известен,—а то от него отталкивало, что он казался неестественным, каким-то ходульным, напоминал провинциального, к тому же плохого, актера. Вдобавок, все находил его очень ограниченным, скучным, неприятным и мирились с ним только потому, что не было повода, основания удалить его, раз он уже попал в эту среду. Положительным его достоинством являлся только бывший у него недурной голос и знание многих оперных мотивов, но, как он сам впоследствии объяснил в печати, хорошее его пение и погубило его. О нем мне также еще придется ниже рассказать.

**

Давая характеристики участников бунтарского кружка, я по необходимости должен был часто забежать вперед, так как само собою, думаю, понятно, что то или иное мое представление об этих лицах составилось у меня не сразу, не в первые недели моих с ними встреч, а лишь постепенно, много месяцев, а то и лет спустя. Я должен, поэтому, вернуться к началу моего рассказа, к первому времени моего знакомства с этими бунтарями.

Спустя пару-другую недель, у меня начали уже наклеиваться кое-какие общественно-характера планы и предприятия то с тем, то с другим из обитателей притона на Тарасовской улице. Поводом к первому по времени делу послужил приезд в Киев Дмитрия Лизогуба, о чем он немедленно меня уведомил. Обязанный подпиской о невыезде из своего имения, он предпринял долгие хлопоты для получения разрешения ему покинуть на время крайне тяготившее его бесцельное сидение в глуши. Получив, наконец, таковое, он отправился в Петербург и на обратном пути завернул в Киев, чтобы повидаться со мною, Колодкевичем и другими товарищами.

Он первый тогда привез нам известие о происходивших в столице совещаниях по поводу неудач, постигших пропагандистов в народе, а также разразившихся во многих местах разгромах.

Слушая его рассказы, признаюсь, я не без внутреннего удовольствия убеждался, что не мне одному и не только членам кружка Фесенко не повезло в народе, а что почти полная безрезультатность пропаганды социализма крестьянам была, повидимому, общим явлением.

В свою очередь, и Лизогуб с видимым интересом выслушал от меня подобное же повествование о моих похождениях и, насколько могу теперь припомнить, кажется, признал правильными сделанные мною выводы относительно молокан.

Заметно было, что и в его взглядах произошла значительная перемена: он также в сильной степени «полевел» и стал, повидимому, терпимо относиться к бакунистам. В виду этого, я решил познакомить его с Дебагорием-Мокриевичем и со Стефановичем, являвшимися, как мы знаем, лидерами описанного кружка. Делая ему

это предложение, и, конечно, желал привлечь его, а, следовательно, и значительные денежные средства, которыми он располагал,—на сторону моих новых и казавшихся мне симпатичными знакомых.

Лизогуб охотно согласился на это предложение, и в условленный вечер я привел его на квартиру, которую снимала Барышева.

Теперь мне, конечно, трудно воспроизвести завязавшиеся переговоры между тогда очень популярными среди революционеров Мокриевичем со Стефановичем, с одной стороны, и Лизогубом—с другой. Помню только, что как он, так и они остались довольны друг другом. Но, так как главной целью этого знакомства для названных бунтарей было желание получить от Лизогуба материальную помощь на их предприятие, открывать которое постороннему человеку они считали невозможным, то мы сообща стали придумывать какой-нибудь допустимый план, на который он согласился бы дать средства. Однако, в тот приезд Лизогуба нам, кажется, ничего не удалось ему предложить. К тому же он, помнится, мне сообщил, что, будучи в Петербурге, сошелся с вернувшимся из ссылки тогда очень популярным Марком Андреевичем Натансоном, задавшимся, как известно, целью восстановить разрушенные общим разгромом организации, о чем подробнее сообщу в своем месте. На эту цель Лизогуб согласился отдавать все свои средства, по мере того, как они будут им получаться от арендаторов его земли.

Другое предприятие, которое вскоре затем обсуждал я с бунтарями, также обуславливалось участием в нем Лизогуба.

Когда, однажды, перед вечером я пришел в «притон», то, кажется, Вера Ивановна познакомила меня с приехавшим из Харькова юношей, оказавшимся небезызвестным впоследствии бывшим студентом Сергеем Ястрембским. Как и мне, ему шел тогда только 20-й год, но для своих лет он был довольно развит, начитан. Помню, что, знакомя нас, Вера Ивановна сказала мне: «Вот твой ровесник и, как и ты, любитель книг», что мне было приятно слышать, но что, как мы уже знаем, служило плохой рекомендацией для кандидата в бунтари...

Ястрембский оказался не только очень умным, но и чрезвычайно остроумным юношей, сыпавшим остроты, шутки и проч. С ним, поэтому, как я, так и некоторые из находившихся в то время в притоне бунтарей скоро сошлись. Чуть ли не в первый же день нашего с ним знакомства он сообщил нам о цели своего приезда к Киев.

Среди знакомых ему студентов Харьковского университета находился сын одной из самых аристократических и богатых местных семей, по фамилии Харин, проявлявший склонность к социализму. Ястрембский стремился привлечь его к нашему движению, для чего считал полезным свести его с Лизогубом, который, как человек того же ранга, что и Харин, и сам все отдавший делу обездоленных, мог бы оказать наиболее благотворное влияние на еще не сложившегося юношу.

План этот нам очень понравился, и я охотно взял на себя заботу об устройстве сперва свидания Ястрембского с Лизогубом и затем последнего с Хариним. Но теперь не помню, удалось ли это. Кажется, обстоятельства так сложились, что не потребовалось вмешательства Лизогуба, так как Харин вскоре затем сам примкнул к движению.

Но особенно сблизило меня с обитателями притона дело устройства побега из тюрьмы студента Семена Лурье.

Выше я уже сообщил, что П. Б. Аксельрод имел огромное влияние на своих сверстников. В числе последних был единственный сын довольно зажиточного купца—С. Лурье. Очень способный юноша, любознательный, педантически аккуратный, он, казалось, менее кого-либо другого был способен увлечься социалистическими идеями. Между тем, когда поднялась волна хождения в народ, она захлестнула и его. Правда, он в народ не отправился, но взял на себя чрезвычайно опасную функцию—заведующего справочным бюро, т.-е. у него хранились адреса лиц, ушедших в народ, и через него вели они переписку и сношения. Поэтому, при малейшей неосторожности кого-либо из них, Семену Лурье угрожала опасность очутиться в тюрьме, что

вскоре, действительно, и случилось: где-то при обыске был взят его адрес, и его арестовали.

То был первый арест в Киеве социалиста, который, поэтому, нагнал на многих сильнейшую панику: стали сжигать самого невинного содержания письма, документы, книги, боялись поддерживать знакомства со сколько-нибудь «неблагонадежными лицами». Друг другу передавали всевозможные ужасы по поводу, будто бы, применяющихся к арестованным политических страшных мер, чуть не пыток. Между тем, в действительности было совсем не так, по крайней мере относительно режима, которому подвергли Семена Лурье.

В течение долгого времени его содержали в одиночной камере при полицейском участке. Но до чего, в противоположность вышеуказанным легендам о страшных мерах, применявшихся будто бы к заключенным, обращение с ним было, наоборот, патриархальным,—по крайней мере на первых порах,—доказательством отчасти может служить тот факт, что буквально за двугривенный удавалось не только все решительно передавать арестованному, но можно было также и иметь с ним ежедневно продолжительные свидания. Я сам неоднократно отправлялся по вечерам в Старокиевский участок, где содержался С. Лурье, беспрепятственно приходил на тот коридор, где была его камера, всовывал двугривенный дежурному городовому и затем беспрепятственно беседовал с заключенным, стоя у дверного окошечка.

В виду столь легкого режима мы, товарищи С. Лурье, уговаривали его бежать, обещая ему в этом наше содействие. Но в течение очень долгого времени он, по разным причинам, не соглашался. Когда же после годичного заключения у него начался легочный процесс, он, наконец, согласился.

Главной задержкой в осуществлении этого плана являлась трудность, в виду господствовавшей в городе среди либералов паники, найти подходящее безопасное убежище, где после побега мог бы укрыться Лурье. В это именно время я совершенно случайно нашел «сочувствовавшего», оказавшего нам содействие, в лице такого человека, на которого, казалось, меньше всего можно было рассчитывать.

Это был простой, малообразованный еврей, лет 24—25, на вид невзрачный, плохо одевавшийся, занимавшийся исполнением разных поручений. При этих внешних чертах Соломон,—как все знакомые его называли,—являлся на редкость честным, добрым и альтруистичным человеком. Он всегда рад был оказать, какое было в его силах, содействие каждому, при этом проявляя полнейшее безкорыстие. Более того: Соломон, не ожидая обращения к нему, по собственной инициативе приходил на помощь нуждавшимся в чем-либо, выполнение чего было для него возможно.

Благодаря этим свойствам, Соломон приобрел обширный круг знакомых, как среди евреев, так и христиан, между людьми состоятельными и, наоборот, лишенными материальных средств. Но все решительно его знакомые быстро проникались безграничным расположением и доверием к этому человеку ¹⁾.

После того, как Соломон мне также оказал ряд мелких услуг, что меня убедило в возможности довериться ему, я спросил его, не знает ли он вполне безопасное место, где в течение некоторого времени мог бы укрыться один мой знакомый,—по конспиративным соображениям я не вправе был открывать ему всю правду.

Оказалось, что у невзрачного на вид, неряшливо одетого еврея имелся такой зажиточный знакомый, занимавший прекрасную квартиру, который в то время господства всеобщей паники охотно согласился приютить «нелегального», за что он подвергался риску, в случае провала, угодить в Сибирь, а то и на каторгу.

Не буду сообщать здесь, как произошел побег С. Лурье,—об этом я подробно рассказал в очерке, озаглавленном «Четыре побега» ²⁾. Приведу наиболее лишь

¹⁾ В другом месте я посвятил этому удивительному идеалисту отдельный очерк; см. «Встречи».

²⁾ См. Сборник «Знаппе» 21-й; также появилась в Берлине отдельная книжка под этим же заглавием.

существенное, касавшееся меня и имевшее то или иное влияние на революционное движение той эпохи.

Так как я, не имея на то разрешения, к тому же в штатском платье был на свидании, предшествовавшем побегу С. Лурье, о чем вскоре узнал барон Гейкинг, то им произведен был у меня в ту же ночь, в моем отсутствии, обыск. Опасаясь, поэтому, быть арестованным и, как военно-служащий, подвергнуться за содействие в побеге политического тяжелой ответственности, я решил посоветоваться с бунтарями, что мне предпринять.

Они приняли живейшее участие в обсуждении моего положения и, взвесив все обстоятельства, предложили мне остаться у них в притоне, пока не узнаем, какое направление даст Гейкинг делу побега Лурье. Собственный интерес должен был побудить барона, по возможности, замять это неприятное для него происшествие, потому что без всевозможных льгот, поблажек и упущений, которые он делал для Лурье, последний не смог бы совершить побега.

Соображение это вскоре оказалось правильным, но пока мы в этом убедились, прошло пять-шесть дней.

Вспоминая теперь, по прошествии почти сорока пяти лет, эти несколько дней, проведенные мною в кругу уже описанных выше бунтарей, я нахожу, что это был один из лучших, из наиболее приятных моментов в моем революционном прошлом, как известно, не лишенном интересных встреч и разных происшествий. Уже и до того казавшиеся мне чрезвычайно симпатичными обитатели притока на Тарасовской улице во время моей совместной с ними жизни представились мне еще лучшими и стали мне еще милее, еще дороже.

Большее радушие и внимание, чем проявленное этими заслуженными и уже пользовавшимися некоторой известностью революционерами, по отношению еще равно ничего не сделавшего юнца, каким я тогда являлся, едва ли было возможно встретить в другом кружке, даже в описываемое время, когда между участниками тогдашнего движения, вообще, господствовали самые теплые братские отношения.

В особенности сблизился я за эти дни со Стефановичем и с Верой Засулич: мы были неразлучны, все время проводили вместе где-нибудь в стороне от остальных, предаваясь тихим беседам и обсуждениям разных спорных революционных вопросов. Многое, поэтому, тогда выяснилось для меня. Постараюсь, насколько это возможно, воспроизвести здесь все узнанное мною в те дни,—это тем более важно, что в современной печати мало, если не сказать,—вовсе не затрагиваются вопросы, волновавшие революционеров в то отдаленное время.

**

Как известно, революционные деятели первой половины семидесятых годов на севере и в течение всего этого десятилетия—на юге, по принципу, из конспиративных соображений, на случай провала решительно воздерживались от всяких изложений на бумаге не только своих планов и организационных уставов, но даже общих, теоретических программ: со всем этим,—с задачами, стремлениями, взглядами все неопиты знакомились, главным образом, путем бесед, из устных сообщений более старых деятелей, и лишь кое-что в этом отношении они могли вычитать из тогдашних подпольных, запретных, заграничных сочинений эмигрантов разных толков и направлений.

То же со мною, как и со всеми другими юными адептами, произошло.

До моей встречи с бунтарями я об их воззрениях знал отчасти из указанной литературы, но еще больше того из изложений противников бакунизма—д-ра Эмме, Фесенко и др. Как бы объективны ни были эти лица, их отношение к неприятным им взглядам не могло не быть односторонним, а, следовательно, не совсем правильным. Только из многочисленных бесед с самими бунтарями я впервые почерпнул верное представление об их воззрениях и стремлениях. В чем же те и другие состояли?

Как я уже сообщил в одной из первых глав, противники бакунистов резко опровергали их взгляд на русский народ, как на будто бы чрезвычайно революционный, всегда, мол, готовый к бунтам. Но, если раньше, в начале семидесятых годов, последователи Бакунина целиком разделяли этот взгляд, то ко времени моего с ними знакомства они в значительной степени от него отказались, внесли в него некоторые коррективы. Достаточно оказалось даже столь поверхностное знакомство с настроением наших крестьян, какое бакунисты могли приобрести путем летучих посещений деревень в период хождения в народ, чтобы разочароваться в чрезвычайной его революционности. Но,—утешали они себя,—«как путем упражнения развиваются силы и способности отдельного организма, так и весь народ подготавливается к революции только путем упражнения своих революционных чувств и способностей»¹⁾.

Логическим выводом из этой теории являлась необходимость всюду, где только представится малейшая возможность, стремиться «вызвать бунт». Не беда, если он будет подавлен,—на этот счет у них было оправдание, а также и сильная поддержка со стороны такого авторитета, каким в глазах многих тогда являлся Бакунин, который говорил: «Мы должны беспрестанно делать попытки восстания. Пусть нас разобьют один, два, наконец, десять, двадцать раз, но если на двадцать первый народ поддержит, и восстание делается всеобщим,—жертвы окупятся»²⁾. Словом, бунт, по взгляду Бакунина и его последователей, являлся школой, которую русский народ,—как, впрочем, и некоторые другие, преимущественно же романские народы, должен обязательно пройти, чтобы приобрести способности, необходимые для совершения победоносной революции. Но эта теория являлась бы мало утешительной, если бы нужно было ждать, пока школу бунтов пройдет весь русский народ. Утешением служило исходившее от самого Бакунина заверение, что, стоит только оказаться успешным народному восстанию в каком-нибудь месте, как оно, подобно искре, воспламенит весь народ.

Кроме указанного взгляда на роль бунтов, последователи Бакунина расходились с лавристами, как отчасти я уже сообщал выше, еще по целому ряду вопросов.

Так, между прочим, бунтари считали для себя обязательным при малейшем риске быть арестованными немедленно переходить на нелегальное положение, но ими считалось недопустимым, чуть не преступным и позорным навсегда эмигрировать,—разрешалось лишь на короткое время уезжать за границу, чтобы «замести следы».

Далее, в случае обыска бунтарь обязан был оказать явившейся полиции самое энергичное сопротивление, открыв пальбу из револьвера, который всегда заряженным он должен был иметь при себе.

Мотивировались эти вооруженные сопротивления бакунистами, как необходимые акты самозащиты, чтобы не сдаваться, как бараны. К этому отчаянному решению склонили последователей Бакунина, кроме общего их мировоззрения, отчасти также чрезвычайная смертность и большой процент заболевших, сошедших с ума и окончивших самоубийствами из числа лиц, арестованных вследствие погромов 1874—75 гг.³⁾. «Раз нам все одно суждено, после ареста, погибнуть, так за-одно захватим с собою одного-другого жандарма»,—говорили бакунисты.

Вместе с тем, уцелевшие на воле товарищи должны были стараться, по мере их сил, охранять честь и достоинство арестованных путем мести разным должностным лицам за жестокое обращение с заключенными. Первоначально все этого рода акты назывались «самозащитой»; впоследствии, после убийства ген. Мезенцова, их стали называть «террором». В акты же самозащиты входили также стремления, по

¹⁾ См. «Воспоминания» Дебогория-Мокриевича, стр. 127.

²⁾ Т. ж. стр. 97.

³⁾ Из числа привлеченных по проц. 193-х лиц, за время предварительного их заключения, умерло 43, окончили самоубийством—12, сошло с ума—33 чел. В этот перечень не вошли заболевшие неизлечимыми болезнями, покушавшиеся на самоубийства и др.

возможности, оказывать содействие в побегах из мест заключений наиболее скомпрометтированным революционерам.

Против верности и правильности вышеприведенных воззрений бунтарей я, конечно, ничего не мог возразить, так как и сам, еще до встречи с ними, додумался до много из того, что услышал от них. Поэтому, я уже готов был предложить им себя в сочлены, но неожиданно для себя вынужден был расстаться с ними на довольно продолжительное время.

Когда мы убедились, что барон Гейкинг стремится замять дело о побеге Лурье, я решил вернуться на службу, предполагая, что за самовольную отлучку в течение 5—6 дней меня могут подвергнуть только дисциплинарному наказанию. Вышло, однако, хуже: начальник дивизии, ген. Ванновский, впоследствии ставший небезызвестным министром, после личного допроса меня по поводу этой моей отлучки, отдал распоряжение о предании меня военному суду. К этому «преступлению», уже находясь под арестом, я присоединил еще другое—оскорбление дежурного офицера. Мне, поэтому, грозило заключение в крепость года на $1\frac{1}{2}$ —2.

Пребывание под арестом также в немалой степени посодействовало моему еще более тесному сближению с бунтарями, особенно с уже не раз названным мною—Я. Стефановичем и В. Засулич. Как он, так и она поддерживали со мною сношения путем нелегальной переписки; они снабжали меня всем необходимым, а, главное, содействовали задуманному мною побегу, который, отчасти благодаря им обоим, в особенности же Я. Стефановичу, мне и удалось осуществить (19 февраля 1876 г.).

Таким образом, перейдя в ряды «нелегальных» и имея за собою уже такую «заслугу», как побег, я приобрел и фактическое право быть занесенным в ряды бунтарей.

Лев Дейч.

К истории рабочего движения в конце семидесятых годов ¹⁾.

Насколько помнится, это было в начале весны 78-го года; мне Плеханов сказал со слов знакомого нам разносчика газет, что на фабрике Торнтон забастовали шпильщики и что есть вероятность, что и остальные рабочие этой фабрики забастуют. Мы решили с ним в этот же вечер отправиться в одну из артелей рабочих этой фабрики, где жил и наш знакомый разносчик газет. Вечером мы отправились и застали в артели много рабочих, все больше земляков, которые собрались, чтобы столкнуться,—бастовать ли им или нет. Когда мы вошли в квартиру артели и стали прислушиваться к разговору, то прежде всего узнали, что не все разряды рабочих фабрики одинаково относятся к стачке. Я не помню хорошо,—ткачи ли или прядельщики были за стачку, а помню только, что между этими двумя классами рабочих шла борьба. Первые слова, которые поразили мой слух, когда я вошел в квартиру, были: „Вам, чертям, хорошо, так вы думаете, и всем хорошо“.

Ответом из противного лагеря было:

— Тут и думать нечего: нам тоже деньги не пригоршнями дают, а только и вам дурить нечего.

— Дурим ли или нет, а только так и знайте,—завтра мы не станем на работы.

Новый голос, менее решительный:

— Мы же не говорим супротив вас,—и всех-то нас не чаем с калачами поит наш фабрикант Торнтон.

Третий голос, решительнее первых двух, из оппозиции:

— По-вашему выходит, идти нам всем за шпильщиками, а по моему нужно шпильщикам вихры помять. Отцы-то в деревне—поучить и некому.

Тут загудели шпильщики, все подростки (лет 12—14) на все лады вплоть до передразнивания, какое обыкновенно практикуется по деревням: «фу-ты, ну-ты, мы-с-та, вы-с-та», с характерным прононсом.

В это время подошли к нам знакомые, среди которых был и разносчик газет, и мы вышли в артельную кухню, где была жена раз-

¹⁾ Эти воспоминания были найдены в тетрадке, оставшейся после смерти (1938 г.) известного землевольца Михаила Родионовича Попова. Они были написаны в декабре 1902 г. в Шлиссельбургской крепости, где М. Р. пробыл в заточении 26 лет, и вывезены оттуда 27-го октября 1905 г., когда вместе с другими шлиссельбургскими узниками М. Р. Попов, наконец, получил свободу. Но М. Р. недолго довелось прожить на воле. 5 января 1908 г. он скончался. Биография и список печатных работ покойного (впрочем, далеко не полный) помещен в «Галлерее Шлиссельбургских Узников». Несколько глав из воспоминаний М. Р. Попова было напечатано уже ранее в „Голосе Минувшего“. Они будут выпущены в скором времени отдельно издательством „Задруга“.

носчика, артельная повариха и две-три женщины. Здесь нам сообщили, что фабрика не работала весь день. Утром, когда начали рабочие становиться на занятия и были пущены в ход машины, один из мастеровых, незнакомый нам и даже не числившийся среди рабочих в качестве революционера, потушил газ и снятую свою рубашку, кумачевую (многие рабочие работают без рубах) надел на рукоятку метлы и прокричал:

— Выходи, ребята, из фабрики, пускай машины работают сами. Большинство с ним согласилось.

— И вот,—сказал рабочий, рассказывавший мне об этом,—с утра так и ходим из артели в артель: сговариваемся, да никак не сговоримся, как быть—бастовать или работать. Завтра сберемся в фабричном дворе все. Что будет, не знаем. Вот здесь свои—земляки, и то не столкуемся.

— Чего там земляки,—все мы земляки, все тверяки,—сказал разносчик.—Вот если бы какой адвокат, который поговорил бы нам от закона, а то некоторые сумлеваются,—как это по закону выходит. Всякий из нас, хочет работает, хочет нет,—взял расчет, и дело с концом. А как вот все.

Из этих слов ясно выходило для нас—вопрос ставится такой: законна или незаконна стачка. Мы ответили нашим знакомым, уже посвященным в революционную пропаганду, так: русский закон, как во многом другом, на этот счет кривой. С одной стороны, уничтожив крепостное право, он признал труд вольно-наемным, так как признает обе договаривающиеся стороны, как нанимателя, так и нанимающихся свободно договаривающимися сторонами, а, с другой стороны, стачки законом воспрещаются. Выходит, что закон к рабочим и лицом, и спиной в одно и то же время. Сам себе противоречит. Задача рабочих снять с закона эту маску, требовать, чтобы закон смотрел в таких случаях прямо в лицо рабочим, иначе на словах рабочие будут свободно договаривающейся стороной, а на деле труд будет подневольный. Рабочий только и силен, когда он сообща ставит условия нанимателю. Поэтому, если мы пригласим настоящего адвоката и предоставим ему говорить с рабочими, то он им скажет кратко: стачки законом воспрещаются. Вот вы и решайте,—как нам быть. По нашему мнению, стачка рабочих—единственное средство в их руках в борьбе с капиталистом, и кто признает необходимость борьбы, должен признать и необходимость стачек. На это нам ответили знакомые, что они-то согласны, а вот никак не согласим всех. После этого частного сговора, мы вошли опять в ту же комнату, где рабочие вели спор о том, бастовать или нет, и из которой мы на время выходили в кухню. Все присутствующие рабочие знали или, по крайней мере, догадывались, что некоторые их земляки ведут знакомство с нашим братом-революционерами, „со студентами“, как они говорили. Очевидно, рабочие даже ждали нашего вторичного появления, ибо, когда мы вошли, то разговоры прекратились, и глаза присутствующих были направлены в нашу сторону. Общее водворившееся молчание разносчик газет, желавший вывести обе стороны из неловкого положения, прервал, обращаясь к нам со словами: вот не знаем, как нам быть, бастовать ли всем, или становиться на работы.

В толпе пронесся легкий, дружеский смехок по адресу разносчика, и кто-то из толпы сказал: „да тебе-то что, Андронич, на кой леший тебе становиться, взял под мышки газеты и выкрикивает: „кому новых, свеженьких газет“.

— Ну, брат, врешь, и я не понесу газет, коли на то пойдет, — с вами ж буду; я, брат, артельный человек.

— Против этого кто же говорит, — начал было тот же голос, но другой прервал словами: „Ну, будет вам чесать языки. Дай сказать людям, — сами-то мы договорились до хрипоты, а что надумали — и не знать.“

Плеханов только этого и ожидал. В таких случаях он человек незаменимый; импровизации его всегда были, по-моему, лучше гораздо, чем предварительно продуманная речь. К сожалению, я не могу воспроизвести его речь дословно; я помню только, он начал так: „Господа, даром ничего не дается...“ В этой речи выставлялась выпукло и ярко та мысль, что рабочие — свободно договаривающаяся сторона; крепостничество с барщиной кануло в вечность; что задача рабочих — отучить своих хозяев от привычки смотреть на них, как на своих крепостных; в манифесте ясно сказано — отныне труд свободен.

Все это было произнесено сильно и энергично. Что же касается того, что стачки законом воспрещаются, то это затуманивалось тем, что „богатому сам чорт службу служит“, что, конечно, за деньги они найдут охотников, которые сумеют и законное дело сделать незаконным. „Поверьте мне, — говорил Плеханов, — я хоть и не пророк, но не нужно быть и пророком, чтобы предсказать, что и это ваше вполне законное желание, не давая себя в обиду, — они назовут бунтом. Но вы этим не смущайтесь; мы постараемся вывести ваше дело на свет Божий, мы будем печатать о ходе вашей стачки в газетах. В крайнем случае, если понадобится, можно будет подать прошение, — по-моему лучше не государю, а наследнику, он, говорят, более расположен к простому человеку; насколько это верно, — Бог знает, но все же к нему легче доступ, чем к государю. Но об этом после, об этом надо еще посоветоваться с адвокатами“. Закончил он так: „Господа, мы не хотим лгать вам и не станем вас уверять, что вы в этот же раз победите; может-быть, вам придется и покориться; но мы твердо верим, что рабочие в конце-концов выйдут победителями, верим, что труд победит капитал“.

„Мне остается сказать еще только вот что, — так закончил свою речь Плеханов: — Вы заметили, я все время говорил вам: мы, да мы, а не я. Есть много, господа, людей, которые готовы работать и жертвовать своей жизнью для блага русского народа, для блага русского рабочего. А пока, господа, прощайте. Я вам сказал наш совет, ваше дело принять его или отвергнуть“.

Эта речь произвела сильное впечатление. Непринужденное и дружное: „Благодарим покорно, благодарим“, — было ответом. С тем мы и ушли. Мы прямо отсюда отправились на квартиру, принадлежащую организации „Земля и Воля“, где собрались и ждали нас члены основного кружка, которым мы должны были дать отчет о том, что мы узнали о предполагавшейся стачке. И так нам пришлось стать в первый раз пред лицом факта, — самостоятельного протеста рабочих. Вопрос заключался в том, — принять ли нам участие в этом протесте рабочих и какое дать ему направление. Несомненно, нашим прямым долгом, предписываемым нам нашей программой, было принять участие во всех протестах народа, и мы все единодушно решили взять стачку в наши руки. Но вот трудный вопрос, — какое дать направление стачке? Легко сказать — принимать, но не так легко выполнить. О том, как руководить стачкой, программа ничего не говорила, да и не могла сказать. В программе нашей скорее выражались наше стрем-

ление, наше настроение под впечатлением совокупности фактов русской жизни. Настроение сказалось в словах—принимать участие во всех протестах народа. Но, ведь, каждый протест имеет свои особенности; к этим особенностям должны приспособляться акты деятельности революционной партии. Словом, пред нами стоял один из тех вопросов, более или менее безошибочное решение которых дается практической деятельностью. И поэтому каждый легко поймет, что по этому вопросу у нас не было единодушия, и чем резче это выступало, тем резче отличались темпераменты присутствующих. Плеханов вообще пылкий человек, а в данном случае, кажется, под впечатлением своей же собственной речи, настолько увлекся, делая доклады о том, чего мы были только-что свидетелями, что даже я, несомненно подогретый происходившим в артели, чувствовал, что он слишком увлекается, и это так сказывалось на моем лице, что Ольга Александровна (жена Марка) сказала: „Я вижу, Оратор ¹⁾, по лицу Родионныча ²⁾, что он с вами не согласен“. И она не ошиблась. В самом деле, если бы даже на меня все, что мы видели и слышали в артели, произвело такое впечатление, как на Плеханова, а этого не было, то и тогда я не мог бы согласиться с предложением Плеханова сразу превратить стачку в уличную демонстрацию под предлогом подачи прошения наследнику. Г. В. Плеханов ставил вопрос так: завтра же он скажет собравшимся рабочим на фабричном дворе речь и предложит, как он сказал, идти с петицией к наследнику. Мне же казалось, хотя, конечно, и у меня не было определенного плана, что рабочие должны сперва скольконибудь пропитаться духом протеста, который, несомненно, будет развиваться в ходе стачки под взаимным воздействием толпы на личность и личности на толпу. Я и сказал: „Не знаю, придется ли прибегнуть в конце-концов к подаче прошения наследнику, но начать с этого, значит, этим и кончить. А так поступать совсем не расчетливо. На нашу долю не часто выпадают такие случаи, и я прежде всего предлагаю воспользоваться этим случаем для взаимного ознакомления нас с рабочими и рабочих с нами“. Плеханов с этим и согласился и тут же начал строить и планы о расширении стачки, и о том, как начать агитацию на других фабриках Петербурга. (Эти его мечты, как потом увидит читатель, не были далеки от действительности, и рабочие пошли навстречу нам). Мы остановились твердо пока на том, что Плеханов идет сейчас же к Ледрю-Роллену и чрез посредство его напечатает завтра же в „Новостях“ о стачке на фабрике Торнтон. Мне же предстояло отыскать подходящего человека, который бы в качестве рабочего поместился в артели. Нужно правду сказать, что это было не легко выполнить, так как „Земля и Воля“ скупно ставила своих людей на рискованные позиции и всегда в таких случаях искала людей на стороне. Нужно, например, студентов вызывать на протест, в университете тогда поручается „Юристу“ (кличка) найти подходящего человека. Нужно собрать сходку для реферата в духе „Земли и Воли“—поручается „Оку“ (кличка) собрать сходку и прочесть на такую-то тему реферат. Плеханову очень нередко делались выговоры за его горячность, так как он редко воздерживался от того, чтобы не вскочить на скамью и не сказать импровизацию или не вступить в полемику с оппозицией нашей программы или практическому плану. Но было бы несправедливо поставить это

¹⁾ Революционный псевдоним Плеханова,

²⁾ Революционный псевдоним Р. М. Попова.

в укор организации. В делах особенной важности, в делах, в которых приходилось рисковать жизнью, всегда, хоть один непременно участвовали члены основного кружка. Благодаря этой тактике организация только и могла непрерывно существовать с 1876 г. вплоть до раздела на „Народную Волю“ и „Черный Передел“.

Итак я отправился в штаб-квартиру „Ока“ и предложил Николаю Ли поселиться на время в качестве рабочего в артели. Там я переночевал, и на другой день вместе с Николаем сначала отправились в артель, где Николай облекся в поддевку фабричного, а оттуда вместе с рабочими отправились во двор завода Торнтон, где собрались почти все рабочие фабрики. За время этой стачки я просто полюбил Николая. Часто недочеты личного характера дают ложное представление о человеке. Так было и с Ли, а в этот раз он обнаружил такие таланты, что многие из его критиков остались бы далеко позади его. Он сразу ориентировался, точно он попал в родную среду, где он вырос и все стороны которой ему так же известны, как и всякому принадлежащему к ней. Только мы вошли во двор, как мой Николай исчез. Слышу, то там, то в другом месте отдается его голос, а поймать не поймаю. Вдруг вынырнет перед моим носом: „Родноныч, идите, Андрюха принес „Новости“. Проталкиваюсь за ним, он вскакивает на кучу угля с газетой в руках: „Ребята. Слушайте, в газетах про нас пишут“, и прочел: „На хлопчатобумажной фабрике Торнтон, на Обводном канале, рабочие забастовали. Поводом к стачке послужила сбавка с поштучной работы от 4 до 7 коп., смотря по роду ткани, шпудльщикам же уменьшена дневная плата на 6 коп. Это, повидимому, ничем не вызванное понижение цены вызвало справедливый отпор со стороны рабочих алчности наших капиталистов, привыкших рассматривать все с точки зрения только своего интереса. Дело осложнилось к тому же еще недовольством рабочих главным мастером фабрики, который, говорят, злоупотребляет штрафами. В редакции имеются и более подробные сведения относительно этого ревниителя хозяйского, а может быть и своего интереса, но пока мы об этом не сообщаем. Подождем официального разъяснения этого протеста рабочих, которое, конечно, не заставит ждать себя. Пора, наконец, чтобы законная власть обузда алчных предпринимателей и защитила в неравной борьбе сторону более слабую“, и т. д. Рабочих сразу ободрил тот факт, что о них пишут в газетах. В толпе послышались возгласы: „Верно, справедливо“. „Эй, кто там, как тебя, ну, прочти еще раз“. „Николай,—не удерживались свои рабочие,—прочти еще раз“. Ли повторил. С этого времени Ли стал известен всем рабочим под именем Николая и в дальнейшем ходе стачки он стал центральной личностью в числе стачкующихся рабочих. „Ну, теперь, ребята,—сказал Ли,—не робь, дело наше пошло в ход. Уж коли в газетах пропечатано, тут уж не спрячешь концы в воду,—у всех на глазах. Значит, и расходись по квартирам,—будем ждать, что дальше. Пускай директор выставит новую табель,—сбавки долгой, чтоб по-старому, тогда и на работы станем“. „Ребята,—голос из толпы:—надо бы еще, чтобы расчет был правильный, точный, по субботам, нечего задерживать. Вот в газете об этом не сказано, а надо бы сказать, что контора затягивает выдачу“. Я кричу: „Завтра будет об этом напечатано в газетах“. „Правильно,—говорит новый голос из толпы,—надо расчет точный по субботам, какого дьявола там еще: деньги заработаны—и отдай, нечего канителить“.

— Значит,—кричит вновь Ли,—выставь нам перво-на-перво та-

бель, сбавки долой. Правильный расчет по субботам, по окончании работ.

— Верно, по субботам расчет, зашабашили в субботу,—и давай деньги.

— Так, значит, и знай всяк, и расходись, ребята, по квартирам. Эх, господа, надо бы еще этого аспида-немчуру чтобы убрали.—Верно, ребята, к чорту его,—к чертям в пекло,—раздаются ругательства и смех.

К этому времени появляются у ворот полицейские мундиры, околоточные, пристава, полицеймейстер. Наконец, приехал и сам Зуров, тогдашний петербургский градоначальник. Входят во двор. Толпа стала плотней, сгрудилась, как говорят в народе. Зуров подошел к толпе.

— Вы чтож это, вздумали бунтовать.

— Никак нет, ваше превосходительство,—кричал Ли.—Никакого бунта с нашей стороны нет, а только несходно нам так работать; сегодня пятак, завтра другой сбавят, а там третий... Вед, это, ваше превосходительство, и на квас с хлебом не хватит. А надо-ть и в деревню послать тоже. Примерно, я в этот месяц получил по старой расценке 16 руб.; 3 отдай за квартиру, приварок с хлебом бедно-бедно 5 руб., чай тоже надо, да надо одеться, обуться, —много ль останется в деревню-то послать? А за тем и ездим-то сюда, ваше превосходительство. А по этой расценке и того меньше придется.

— Вы бы меньше пропивали. Все расчел, да забыл только, сколько в праздник пропил,—сказал, улыбаясь, Зуров.

— Бывает, ваше превосходительство, что и выпьешь стаканчик в праздник,—ответил Ли:—и без этого тоже рабочему человеку нельзя. Только не больно-то разгуляешься. Примером, у меня в деревне отец, мать, жена, детей, скажем, пока нет, но зато братишки—все рты, ваше превосходительство.

— Не сходно, говоришь, бери расчет, иди, ищи, где сходней. А ведь это сборище,—скоп,—законом это воспрещается. Я должен буду разослать вас по деревням. Фабрикант не обязан давать вам то, что вы хотите. Без выгоды фабриканту тоже нет расчета работать.

В толпе с разных сторон: „Мы чужого не хотим, отдали б наше... Одними штрафами сколько им идет нашего... где уж тут взять ихнее, больно цепко держут. Заработанные пока возьмешь, так находишься в конторы, ноги обобьешь“, и т. п. Революционная группа: „Труд теперь свободный, мы не крепостные Торнтонна, сборища никакого нет, пришли на фабрику, никуда в другое место; каждый день собираемся на фабрику на целых 14 часов, а сейчас собрались только узнать—согласна ли фабрика работать по старой таксе,—станем на работы, нет—разойдемся по квартирам, вот и все сборище.

— Ну довольно,—заявил градоначальник.—Вот что я вам скажу: становитесь на работы, справедливые требования директор обещает удовлетворить; он обратит внимание на то, чтоб с вами поступали по правилам фабрики, несправедливо не обижали. Говорю вам: что можно будет сделать,—будет сделано. А затем еще раз повторяю: если это будет продолжаться,—распоряжусь выслать вас по деревням. В Петербурге празднующегося сброда и без вас достаточно.

— Из толпы: „Мы не золоторотцы, ваше превосходительство,—у нас паспорта есть“.

— Ну, довольно,—прервал Зуров,—все, что нужно, я вам сказал и вас выслушал, больше чтоб этого не было.—И повернулся уходить.

Полицеймейстер что-то сказал шопотом, Зуров вновь повернулся к толпе:

— Да вот что, кто будет других подбивать, чтоб не работали и бунтовали, тогда ему же будет хуже. Такое самоуправство не может быть терпимо на фабрике; это нарушение фабричных правил карается законом.

В толпе гробовое молчание; Зуров обратился к полицеймейстеру со словами: „Этого мерзавца нужно отыскать“.

Отмечаю характерное поведение полиции. Как до приезда Зурова, так и потом обыкновенная городовая полиция держала себя так по отношению к стачечникам, как будто это дело не касается ее, и городские стояли на своих обычных постах. Но зато сыскной полицией или, как говорили рабочие, пауками Обводный канал был довольно-таки насыщен. Но дело в том, что в этом рабочем квартале сыскная полиция оказалась совсем безвредной. Рабочий узнает рабочего по духу, и появление „паука“ сейчас же обнаруживается. Помню, свечерело уже; я шел по Обводному каналу в известную уже читателю артель. Рабочие во время стачки обыкновенно шатались по Обводному каналу, заходя то в один, то в другой трактир, и в воздухе то там, то здесь раздавались полудетские голоса подростков-рабочих (шпульщиков): „Ребята, паук, паук, вот, вот“. Мало того, в рабочих трактирах прислуга с рабочими живет по-товарищески, а она нюхом узнает „паука“. В подростках же фабрика имела отличных сыщиков, тем более, что для них охота на „пауков“ была забавным и приятным препровождением времени. Идешь, бывало, и то-и-дело натыкаешься на такие сцены: подбегают к группе рабочих подростки: „Паука“ сейчас видели, и уйма же их“. — „Вы бы их камнями“, — поощряют рабочие. — „Мы и то“. И действительно, прежде всего при обнаружении паука раздаются голоса: „Глядите, паук, паук, паук“. Часто в рабочих группах высказывалось желание, что „надо бы хоть одному пауку намять бока“, — тогда в догонку ему посылались камни, которые были у каждого из подростков в кармане про запас.

После отъезда Зурова рабочие разошлись по квартирам и трактирам. В трактирах разговоры рабочих обнаруживали твердую решимость продолжать стачку, несмотря на угрозы Зурова разослать по деревням. „Эх, запугал: разошлю по деревням. Сделай милость, — слышалось то за одним, то за другим столом, — даром домой съезжу“, и пр. в этом роде, но вместе с тем не обходили молчанием и слабых сторон стачки. Не раз приходилось слышать: „Не сплеховали бы только наши семейные. Карманы-то им не долго повытрусить“. Семейные рабочие очень смущали стачечников. Уже накануне нам приходилось слышать, что семейные рабочие неохотно соглашались на стачку. На это болезненное место мы и обратили наше внимание. Николай отправился с другими рабочими по артелям, чтоб собрать сведения о том, кто из семейных скоро будет нуждаться в средствах прокормления, а я отправился к своим, чтоб поставить им на вид, что придется, вероятно, если не сейчас, то скоро давать пособие семейным. Скоро были организованы сборы по учебным заведениям мужским и женским. Для учащейся молодежи, студентов и студенток и даже вообще для либеральной интеллигенции эта стачка была медовым месяцем сочетания с рабочими. Пошли вечеринки, сборы по аудиториям и вообще повсюду, где можно было хоть что-нибудь сорвать в пользу стачки. Ольга Александровна посетила всех либералов и литераторов и адвокатуру. Но вот характерный эпизод для демонстрации того го-

рячего сочувствия, которое проявила культурная молодежь к стачке. Пришел я однажды в артель; Николай конспиративно заявил мне, что вчера некто Гаркуша (лаврист) был в артели, пригласил рабочих прийти на Пески в такую-то квартиру и что не мешало бы мне с рабочими пойти туда, — „Знаете, — не напакостили бы нам лавристы. Рабочие меня приглашают; но я жду „Оратора“, так как нужно непременно Зиновьева (тот, кто потушил газ) отправить на время в деревню да и покончить вопрос о выборе комитета для распределения пособий“. Я отправился с рабочими на Пески. Квартира, куда мы пришли, принадлежала студенткам-медицам. Первая комната, куда мы вошли, была набита битком. Каких только разновидностей интеллигенции, собравшихся на эти смотрины, здесь не было. При входе в квартиру нас встретил сам Гаркуша. Я был с ним хорошо знаком, но он, полагая, вероятно, что я также один из пришедших на смотрины, — поздоровался со мной, пригласил рабочих на почетное место, предоставив мне самому позаботиться о себе. Рабочие посмотрели на меня в нерешительности, как будто спрашивая взглядом, как им быть. „—Идите, — говорю, — что-ж“. Наблюдаю со стороны: хозяйки квартиры суется с чаем, закусками, угощая рабочих, а публика со всех сторон напирает. Начались расспросы о делах на фабрике, сыплется похвалы, одобрения. Рабочие в необычной обстановке теряются, конфузятся. Один из них до того растерялся, что только и нашелся сказать, указывая на меня кивком головы: „Да вот они знают“. Тогда все взоры направились в мою сторону, чтобы видеть, кто это они. Признаюсь, я тоже был смущен вопрошающими взорами, — кто это они. Можете по этому судить, как были смущены рабочие, в особенности, если принять во внимание, что фабричные рабочие Петербурга и Москвы в то время были крестьяне в чистом виде, и даже в той артели, в которой мы толкались, были рабочие, приехавшие в первый раз в Петербург. Но что делать, видно на лицах всех благожелательное, чистосердечное, искреннее отношение к виновникам торжества; оставалось только сказать про себя, — назвался груздем, полезай в кузов. Но, с другой стороны, нельзя было не переживать и того душевного состояния, которое испытывали рабочие. Представьте себе троих рабочих 22—24 лет в светло-голубых фабричных поддевках, посаженных рядом на стульях, — ровно их привели на выставку; представьте одного из них, конфузливого и растерявшегося до того, что забывает, что он держит на коленях свой картуз, и потому постоянно нагибавшегося, чтобы поднять с пола упавший с его колен картуз, который он через некоторое время опять ронял. Когда одна из студенток, заметив это, решила, наконец, избавить его от сизифовой работы и обратилась к нему со словами: „Дайте ваш картуз, я вот здесь его повешу“, то мне, молча наблюдавшему, казалось, что на лице его была написана готовность не только отдать картуз, но и себя самого, лишь бы только она унесла его отсюда. А между тем, этот рабочий своей смелостью и находчивостью производил в артели выгодное для себя впечатление. Наконец, я решился и сказал: „Ну, господа, нам пора идти, узнаете обо всем потом, а пока нам нужны только деньги“. Этими словами я ровно разрядил электричество. Вижу, как сейчас, фигуру Грушецкой. Я раньше встречал ее в польском кружке, но она обыкновенно молча слушала, и потому, несмотря на красоту, не производила особенного впечатления. Тут же она точно преобразилась: схватила со стола тарелку, на которой лежал хлеб, стряхнула на стол хлеб и с лицом, на котором скорее было написано приказа-

ние дать деньги, чем просьба, начала обходить публику. Да и каждый из присутствующих так это понимал. Студент, которому, может быть, не на что будет купить к чаю колбасы, бросил бумажку, клали на тарелку такие вещи, как часы и пр. Пока Грушецкая собирала деньги, предметом внимания сделался я, до сих пор не замечаемый такими близко знакомыми мне, как Мария Николаевна и Наташа. Последней, между прочим, даже нужно было видеть меня, чтобы передать деньги, собранные на Георгиевских курсах. А тут набросился на меня Ледрю-Роллен со словами, полными трагизма: „Родионыч, вы должны мне дать слово; даете?“ Этим он меня так огорошил, несмотря на то, что я его уже достаточно знал с этой стороны, как в сентябре предыдущего года, когда приехал из Ростова-на-Дону¹⁾. Я сидел в его рабочем кабинете погруженный в чтение Щедрина, и был внезапно огорошен им, писавшим здесь же стихи для „Новостей“, словами: „Возьмите, что хотите, но только скорее, пожалуйста, рифму на „крест“. Оказалось на самом деле всего-на-всего только то, что я с „Оратором“ должны идти к князю Велепольскому, и опять только потому, что он, я и „Оратор“ прикосновенны к стачке. Через него, как я уже говорил, „Оратор“ печатал о ходе стачки в „Новостях“.

Грушецкая окончила свою миссию, и мы вышли.

Только что рабочие передохнули от тяжелого испытания, стали расспрашивать меня, что за люди тут были, как, слышу, кто-то окликнул меня сзади. Оглядываюсь и вижу знакомую мне барышню. „У меня к вам, Родионыч, дело есть, можете уделить несколько минут“. Долго мнетса барышня, наконец спрашивает: „Вы идете туда—к рабочим“. „Туда“,—отвечаю я.—„Как бы мне пойти туда с вами“.—„Ну, стоило,—говорю—за этим догонять меня; что вы там будете делать?“—„Нет, я, положим, имею к вам дело. Мне вчера один знакомый говорил, что Рогожин, знаете, тот, что издавал раньше „Неделю“, узнав про стачку, сказал ему: вот это дело, вот это я понимаю и готов помочь деньгами“. Так вот бы вы съездили к нему“. Я понял, что это был только предлог, а главное не это, и говорю: „Так вот что: у вас, наверное, сегодня будет „Юрист“,—предложите ему сходить“.—„Хорошо, я предложу ему. Но отчего бы мне нельзя пойти туда, Родионыч? Ведь, есть у рабочих жены, я и могла бы некоторое время побыть у них“.—„Нет, оставьте вы это, зачем?“—„Опять зачем,—несколько обидевшись, сказала она. Просто желала бы видеть быт, обстановку их жизни“.—„Нет, право, это неудобно, особенно теперь“,—и я поворотился, продолжая свой путь. Потеряв надежду убедить меня, она вдогонку уж мне сказала: „Скажите Николаю, что Вере (ее сестре) нужно видеть его“. Рабочие были очень заинтересованы всем виденным, спрашивали о том, о другом, особенно их интересовали студентки, о существовании которых они узнали в первый раз. Очевидно, культурное общество произвело на них хорошее впечатление и вызвало даже в их душах порывы к чему-то лучшему. „Хорошо,—сказал рабочий, ронявший шапку,—если б всем так жить: учатся, соберутся, есть о чем поговорить. Не то, что наш брат,—неделю работает, в воскресенье пьяный напьется, а в понедельник опять начинает с того же“. В артели, куда мы пришли, были „Оратор“, Николай и много рабочих. Раньше уже нами было решено выбрать несколько человек из рабочих и поручить им распоряжаться раздачей пособий нуждающимся. Такое предложение и было сделано „Оратором“. „Как же это нам распорядиться чужими день-

¹⁾ Родина М. Р. Попова.

гами?—возражали рабочие. Когда же им поставили на вид, что деньги пожертвованы для поддержания стачки, и что в целях этого им легче, чем жертвователям, стоящим вне их среды, распределить деньги по мере нужды каждого из них, то холостые рабочие стали настаивать на том, что лучше бы семейным выбрать из своей среды распределителей пособий, так как семейным легче узнать через своих жен, у кого есть что сварить и варится, а у кого нет. Семейные не отрицали удобства знать через жен, кто нуждается, но боялись нареканий, не вышло бы, что, мол, своей семье мирволит. Кончили тем, что при четырех семейных распределяли деньги между нуждающимися.

Наши собрания на фабричном дворе стали происходить не каждый день и очень на короткое время, в виду того, что в конце-концов нами было решено вести рабочих ко двору наследника для подачи прошения, и мы не хотели давать повода Зурову привести в исполнение угрозу разослать стачечников по деревням. Газету „Новости“, где от времени до времени сообщалось о ходе стачки, раздавали в числе 12 экземпляров по артелям. Кстати, маленькое замечание. Ли часто сам ходил в контору редакции „Новостей“ в качестве рабочего. Раз его в конторе редакции начали пропагандировать, он разыграл роль пропагандируемого рабочего до конца, но, получив №№ газеты и расплачиваясь за них, заметил: „Вот вы все хорошо говорили в нашу пользу, иначе деньги за газету берете, а они у нас сильно плывут и в съестные лавки, и туды-сюды, и за газету“. Пропагандисты, конечно, немало были этим смущены, но кончилось все-таки это тем, что они обещали впредь до конца стачки не брать с рабочих за газету.

В начале этих воспоминаний я отметил, что Плеханов мечтал о расширении стачки, и мечты его были недалеки от действительности. Рабочие Торнтона имели земляков и на других фабриках, и о забастовке поэтому сейчас же узнали рабочие других фабрик. Стали доходить к нам слухи о том, что о стачке поставлен вопрос на трех фабриках: на Васильевском острове, за Невской заставой и на Охте. Однажды нам даже сообщили, что на Охте стачка рабочих уже началась, но потом оказалось, что администрация фабрики, уступив рабочим, предупредила стачку. Какие требования ставили рабочие этих фабрик, не знаю, а может быть и знал, да забыл; твердо помню только, что стачки не состоялись на этих фабриках и, кажется, не состоялись в виду уступчивости со стороны фабрик по отношению к рабочим.

Мне кажется, я исчерпал все заслуживающее интереса в этой стачке, и теперь можно приступить к эпилогу ее,—подаче прошения наследнику. На вопрос, что заставило нас дать такой поворот стачке,—ответить нетрудно. Во-первых, демонстрация,—рабочие пройдут процессней до Аничкова моста; во-вторых, в нашей программе предлагалось пользоваться всеми случаями, которые можно эксплуатировать в качестве средства расшатывать веру в царя. Но почему мы спешили с подачей прошения, на это я затрудняюсь ответить. Бодрость в рядах стачечников скорее повышалась и, во всяком случае, не падала. Средства к нам притекали, и нам обещали в случае нужды дать до 1000 руб. Теперь мне кажется, почему бы нам было не продолжать стачку, тем более, что она представляла нам прекрасные условия для сближения с рабочими. За время этой стачки было привлечено рабочих больше, чем за все предыдущее время. Под конец стачки я и „Оратор“ (о Лопатине и говорить нечего) могли бывать в любой из артелей рабочих, конечно, в сопровождении знакомых

рабочих. Я в артелях рекомендовался, как „Адвокат“, Плеханов—„Оратор“—был „Оратором“ и между рабочими. Мы могли бы легко при помощи рабочих этой фабрики завести прочные связи и на других фабриках. Но таково уж было наше нетерпение,—поскорее вывести рабочих на улицу. Мы считали это самым важным, а, может быть, нас заставляла спешить боязнь, как бы уступка со стороны фабричной администрации не отняла у нас повода повести рабочих к наследнику. Нам составили прошение по всем правилам адвокатского искусства. Мы переписали его в 2-х экземплярах, один для того, чтобы прочесть рабочим, а другой—чтобы иметь в запасе готовым с гербовой маркой на случай, если рабочие согласятся, чтобы завтра же им вручить и двинуться к Аничкову дворцу.

Вечером Николай собрал в одной из артелей представителей остальных артелей, и мы отправились с „Оратором“. Мы не ожидали, что рабочие так охотно пришлют представителей. Мы заметили, что все же нужно спросить всех.

— Если уж идти,—сказали мы,—с прошением к наследнику, то чтобы шли все рабочие или, по крайней мере, большинство.

На это они нам ответили:

— Что спрашивать,—все пойдут, не пойдут разве только те, кто работу где на стороне нашел. (Рабочие ходили на поденные работы, какие случалось найти).

Прочли мы копию прошения,—не привожу его дословно, ибо и тогда я едва ли передал бы его содержание, если бы кто спросил меня, так мало мы придавали значения содержанию его. Но, конечно, в нем было изложено все то, чего рабочие решили добиться путем стачки. Рабочие одобрили.

— Ну, в таком случае,—сказал я,—собирайтесь завтра к часу на фабричном дворе; я к этому времени приготовлю прошение с гербовой маркой, и прямо двигайтесь к дворцу наследника.

На том мы и решили. Выбрали тут же из представителей артели, кто будет вручать прошение, и двоих ассистентов, которые должны быть при нем неотлучно. Ассистентами были разносчик газет и другой тоже из рабочих-революционеров. На другой день ровно в 12 часов я был уже на Обводном канале в трактире, куда должен был явиться один из рабочих, чтобы сказать мне, что делается на фабричном дворе. В час я отправился на фабричный двор, вручил прошение выборным, и рабочие двинулись. Не доходя до Невского уже к процессии приставала публика, на Невском же проспекте толпа увеличилась вдвое, но шла по тротуарам по обеим сторонам Невского, так что рабочие, шедшие по самой улице, составляли толпу без примеси. Я шел по тротуару, по левой стороне Невского проспекта. Помню, идет навстречу мне господин. очевидно, провинциал; увидел эту процессию и спрашивает меня: „Что это такое?“—„Не знаю хорошо сам,—отвечаю я,—говорят, рабочие, что ли, идут с прошением к наследнику“.—„Это от Торнтона,—отвечает кто-то сзади меня,—обижает, значит“.—„Кто нашего брата не обижает, почитай, кто только не хочет“. Оборачиваюсь,—вижу старика со спичками на лотке. Сказал это он с таким чувством, так сердечно, что невольно заразил этого господина. „А мерзавцы, сказать правду, эти толстосумы, до чего людей доводят“.—„Коли не мерзавцы, настоящие аспиды, ваша милость. Такой народ зря не пойдет, это не студенты“.—„Вот видишь, старик,—отвечает провинциал,—говоришь, не студенты, а, может, и студенты не зря поступают,—у всякого своя нужда“.—„Не спорю, ваша милость, а мы, зна-

чит, промеж себя говорим: студенты, мол, балуют, а, может, и ваша правда,—у всякого своя нужда“.—Не знаю, что дальше говорили эти два случайно вступившие в беседу представителя двух различных классов. Я стал продолжать свой путь. Когда я поровнялся с воротами дворца, их уже спешили закрыть. Не умею объяснить безучастного поведения полиции: на всем пути ни разу со стороны полиции не было сделано никакого обращения по адресу рабочих. Вероятно, полиция не ожидала, что стачка примет такой поворот. Но, как бы то ни было, стачечники беспрепятственно подошли ко дворцу и стали перед парадным входом. Зуров, взволнованный, но довольно мягким тоном спросил, в чем дело. В переднем ряду рабочие заявили, что они пришли подать прошение государю-наследнику. „Без разрешения его высочества, государя-наследника, я не могу принять прошения,—ответил Зуров,—но я доложу ему“,—и отправился во дворец. Минутой через 10 Зуров возвратился и сказал: „Его высочество поручил мне принять прошение и приказал мне передать вам, чтобы вы спокойно разошлись по домам. Итак, расходитесь по домам. А ты,—обратился он к подавшему ему прошение,—останься, и еще вот ты, ты...—указал еще на 5 человек в переднем ряду,—тоже останьтесь“. Рабочие также толпой пошли обратно. Когда рабочие отошли на довольно значительное расстояние от дворца, ворота дворца растворились, вошли рабочие 6 человек во двор, и ворота опять затворились. Такой конец демонстрации нами не ожидался. Скорее можно было ожидать, что рабочих не допустят до дворца. Вышло не так, как мы думали. Перед нами теперь стоял вопрос, как же быть дальше. Мы думали, что этих 6 человек арестовали и как зачинщиков подвергнут ссылке. Оставалось одно, именно, чтобы рабочие требовали освобождения своих товарищей. Но хватит ли у стачечников гражданского мужества на это,—ведь, тут нужно было вести на чистоту уже дело. Да, по правде сказать, и мы были в большом затруднении на счет того, каким путем требовать. Можно было предложить рабочим идти ко дворцу и потребовать выдачи товарищей, но я, по крайней мере, не рассчитывал на такое гражданское мужество со стороны рабочих. Решили подождать до завтра и, в ожидании могущих быть арестов в артелях, не пошли в этот вечер к рабочим. Утром на другой день я отправился в один из трактиров на Обводном канале и к моему удивлению встретил там нескольких из тех рабочих, которые были вызваны к наследнику. Они пришли в трактир в надежде увидеть кого-нибудь из нас. Я вышел из трактира и отправился в артель. Рабочие, поняв значение моего выхода, тоже вышли вслед за мной и пришли туда же. Вот, что они рассказали: их отвели в подвальный этаж двора, где помещались пожарные инструменты дворца, и под караулом, кажется, частного пристава, они там просидели часа три. Зуров уехал. Куда он ездил, к царю ли, к шефу ли жапдармов,—это осталось неизвестным. Потом, часа через три, приехал и сказал им приблизительно следующее: „Вы люди простые, вы не все умеете понять, и вас легко могут обойти люди враждебные России и русскому государю. Государь-наследник изволил принять во внимание вашу простоту и прощает вам ваш незаконный поступок. А вы вот скажите нам, по чьему совету вы решили подать прошение государю-наследнику“. Ему на это ответили, что мысль подать прошение явилась у них сама собой, а прошение написал адвокат, фамилии которого не знаем, так как случайно встретили его в трактире; он обещал написать прошение и на другой день привез и даже денег не

взял; говорит: вы люди бедные, вам и даром, говорит, можно¹⁾. „Ну вот-вот, я так и думал именно и даже не спрашиваю у вас, кто тот, кому он вручил прошение и с кем говорил в трактире. Скажу только, вас обошел злой человек. Ну, так вот что: идите себе домой, успокойте ваших товарищей. Государь-наследник обещал расследовать ваше дело, и вы должны положиться на его обещание. А вот, если встретите этого адвоката, который писал вам прошение, укажите его полиции. Подача прошений на имя наследника и государя разрешается только поодиночке и не лично, а через канцелярию. Адвокат должен был это знать и не подводить вас, людей темных, на незаконный поступок. Идите с Богом и помните благодарность к государю-наследнику за его доброту к вам“.

Фабрика уступила требованиям рабочих, и скорее всего потому, что хозяева фабрики (фабрика акционерная и говорили тогда даже, что великий князь Константин Николаевич был в числе акционеров этой фабрики) были скандализированы этим столкновением рабочих с администрацией фабрики, поведшим к подаче прошения на имя наследника. Через некоторое время после того, как рабочие стали на работы, был даже удален директор фабрики. Таким образом, стачка окончилась в пользу рабочих. После этого мне не приходилось уже бывать в артелях рабочих, работавших на этой фабрике, сначала из опасения, чтоб какой-нибудь из рабочих не поступил по совету Зурова, а потом был чем-то другим занят,—помнится, после этого скоро стали готовиться к освобождению Мышкина по пути в централку. Но когда я ехал в каторгу на Кару, то в Красноярске встретил следовавших в ссылку в Восточную Сибирь 3-х рабочих с фабрики Торнтонна; два из них были мои знакомые, один Тимофеев, другого забыл фамилию. Они рассказали мне, что на фабрике в конце 79-го года или в начале 80-го, хорошо не помню, Плеханов хотел повторить ту же историю, т. е. повести рабочих с прошением к тому же наследнику, при чем рабочие вышли с красными флагами из фабричного двора, но не успели они дойти до Фонтанки, как на них бросились казаки с нагайками; рабочие сначала оказали сопротивление, но были разбиты казаками. Многих из них тут же арестовали и часть разослали по деревням, часть выслали в Западную Сибирь, а их троих ссылают в Восточную Сибирь.

М. Р. Попов.

¹⁾ Такой ответ им был рекомендован накануне нами.

Вера Засулич и народовольцы в воспоминаниях Анри Рошфора.

Покойный французский публицист Анри Рошфор оставил после себя очень интересные воспоминания, опубликованные под заглавием: „Приключения моей жизни“ (Les aventures de ma vie). (Некоторые отрывки из этих воспоминаний были переведены уже в „Голосе Минувшего“). В 4-м томе их он рассказывает о своем пребывании в Женеве после побега с каторги, куда он был сослан, как участник Парижской Коммуны 1871 года, и о своих встречах с русскими революционерами 70-х годов. Приводим ниже те две главы 4-го тома „Приключений“, где Рошфор вспоминает о Вере Засулич и о народовольцах.

1.

Вера Засулич.

О встрече своей с Верой Засулич в Женеве Рошфор пишет: „Возвратившись, однажды вечером, домой, на бульвар Плэнпале (Plainpalais), я нашел у себя на столе таинственную телеграмму, отправленную из Берлина, следующего содержания:

„Не покидайте Женевы и ждите письма“.

Телеграмма была без подписи, но имела слишком повелительный характер, чтобы не заставить призадуматься. На другой день,—рассказывает Рошфор,—я получил длинный мемуар, в котором мне описывали положение молодой нигилистки Веры Засулич, только что сделавшей в Петербурге два выстрела из револьвера в генерала Трепова, начальника русской полиции, о котором было известно, что он применяет к арестованным русским революционерам те же приемы воздействия, какие применялись в Новой Каледонии к каторжникам Коммуны.

Находившийся в заключении студент Боголюбов был, по приказу этого Трепова, подвергнут наказанию розгами самым ужасным образом,—за то, что он слишком небрежно приветствовал этого истязателя во время посещения им Петропавловской крепости.

Рассказ об этом наказании взволновал почти до бреда бесстрашную Веру Засулич, которая сама в это время выходила из тюрьмы, где она в течение двух лет оставалась на хлебе и на воде, причем никто даже не сообщил ей о том, какое преступление или деяние вменяется ей в вину.

По прошествии двух лет, ее выбросили из тюрьмы так же, как и бросили в тюрьму, без объяснений и извинений. И, вот, она солидаризировалась с подвергнутым истязанию Боголюбовым, которого она знала лишь по имени, и решила отомстить за него, так как сам он не мог этого сделать.

В России, как в былое время у восточных народов, высшие чиновники принимают просителей на публичных аудиенциях. Вера Засулич заявила, что она хочет подать прошение Трепову, и, воспользовавшись минутой, когда начальник полиции читал поданную ею бумагу, послала ему две пули, одна из которых ранила его тяжело в живот.

Она ждала, что ее повесят после комедии суда, — так рассказывала мне она сама, но мало беспокоилась об этом. Для нее было важно лишь раскрыть перед общественным мнением тайны русских темниц. На суде присяжных перед публикою, составленною почти исключительно из чиновников, и перед подобранным нарочно составом присяжных, она с таким огнем и красноречием рассказала о мучениях, которые она перенесла сама и которых ей пришлось быть свидетельницей; невольно она придавала такую яркость описанию бесчисленных крестных путей, которые пришлось пройти ей и многим ее политическим друзьям, что вся зала разразилась слезами.

Отвратительная физиономия кнутабойцы Трепова (knouteur Trepoff) также говорила в пользу героини, которая, при всеобщем энтузиазме, была оправдана присяжными почти без совещания.

Но Александр II, в качестве самодержца, имел все права, включая и право аннулировать вердикт присяжных, что он и не преминул сделать. Предвидя эту развязку, друзья Веры поспешили увезти ее сейчас же после произнесения приговора и посадить в экипаж, который доставил ее в надежный дом, где она должна была ждать событий под охраной защитников, верных до смерти.

Полиция организовала, в поисках за нею, бесполезные облавы по всему городу, но ее телохранители воспользовались ночным поездом, чтобы отправить ее по направлению к Германии в вагоне *четвертого*¹⁾ класса, где она сидела среди крестьян, сама одетая крестьянкой.

Легенда сейчас же овладела этим необыкновенным приключением; возникли слухи, что лицо, которое дало ей приют, было не кто иной, как великий князь Николай, брат Александра II, которому, как говорили, он составлял глухую оппозицию, следуя обычной традиции младших линий.

Молва доходила до утверждения, будто он снабдил Веру рыжим париком и поместил ее в вагоне первого класса, переодетую барином. Эта басня настолько была принята с доверием, что все полицейские обыски направлялись на тех путешественниц, которые ехали с наибольшим комфортом.

Однако, недалеко от границы, она чуть-чуть не лишилась плода стольких ухищрений и усилий. Она чувствовала себя умирающей с голоду и сошла на одной из станций, чтобы купить хлеба; но поезд передвинулся, и она не могла отыскать своего вагона. Локомотив свистел. Она была вынуждена обратиться к служащему, который грубо ответил ей: „Тем хуже для вас! Поезд отходит. Вы можете ехать с следующим поездом“.

Тогда она бросилась в первый попавшийся вагон и прибыла без дальнейших осложнений в Берлин.

Оттуда ее спутники и послали мне свою депешу, потому что русское правительство предъявило требование о выдаче ее, и нет

¹⁾ Курсив автора.

никакого сомнения, что хотя Вера и была оправдана судом, но старый Вильгельм выдал бы ее России.

В письме, которое я получил в Женеве, меня спрашивали, могу ли я гарантировать безопасность беглянки и займусь ли ею. В виде ответа я просто телеграфировал по условному адресу одно слово:

— „Приезжайте.“

Я решил взять ее к себе и приютить ее у себя в течение необходимого времени, — частное жилище в Швейцарии неприкосновенно. Однако, раньше, чем предпринять какой-либо скоропалительный шаг, я решил посвятить в дело г. Эритьэ, кантонального депутата, заведывавшего департаментом внутренних дел; я знал, что могу рассчитывать на его лояльность.

В девять часов вечера я отправился к нему, в его маленький домик. Мы сошли в сад, и я раскрыл ему тайну.

— А теперь, — прибавил я, — если русский консул в Женеве потребует выдачи, что вы ответите ему?

— Я отвечу, что в книге, где записываются приезжие иностранцы, не значится никакой особы, носящей имя Веры Засулич, — сказал мне Эритьэ. — Поэтому, как только ваша протеже придет, попросите ее перемепить имя.

Вера прибыла в Женеву на другой день, и я был чрезвычайно изумлен, когда передо мной предстала маленькая молодая девица с черными волосами, в косу ниспадающими на спину. Ей уже было двадцать пять лет, — заявила она мне. Но на вид ей нельзя было дать и восемнадцати.

Можно было находить не очень гармоничным ее немножко калмыцкое лицо, но ее голос и взгляд были так приятны, ее манера держаться так скромна и так сдержанна, что она меня живо заинтересовала. Я сейчас же увидел в ней мыслителя (*la méditative*), который не изливается в революционных криках, а в тишине обдумывает свои решения, наедине с собою и с своей совестью.

Мы отправились вместе устраивать ее в комнате, где она записалась под именем г-жи Студенецкой, студентки. Несмотря на мои неоднократные вопросы, она осталась очень сдержанной в изложении подробностей того, что она сама называла своим „преступлением“, и я не мог удержаться от смеха, когда она отвечала мне самым естественным тоном:

— Когда я решилась совершить мое преступление...

Русские эмигранты до того остерегались возможных доносов, что скрывали от своих лучших друзей свои адреса и места, где они собирались. Даже мне, который только что оказал им требуемую услугу, они пожимали неожиданно руку, говоря „до свидания“, и исчезали темными улицами, оборачиваясь, чтобы удостовериться, что никто не следует за ними.

Эту привычку не доверять ни, усвоили, потому что жизнь их была постоянной игрой в прятки. Вере Засулич, следовательно, нечего было бояться их нескромности; я же, из боязни привлечь к ней внимание агентов русского консульства, воздержался от личных визитов к ней.

Однако, немного надо было для того, чтобы все эти предосторожности оказались ни к чему. На другой же день по приезде Веры Засулич, наш друг Разуа ¹⁾ умер внезапно от мозговой судороги, и

¹⁾ Один из офицеров коммуны.

мы повели юную русскую социалистку на похороны французского социалиста. Но один из сотрудников газеты „Petit Lyonnais“ прибыл в Женеву, чтобы написать отчет о погребении старого солдата коммуны, и мы представили ему вновь прибывшую, побег которой занимал в этот момент европейское общественное мнение.

Несмотря на все свои обещания хранит абсолютный секрет, этот неистовый репортер, едва вернувшись в Лион, поспешил угодить своему редактору, рассказав со всевозможными прикрасами и о своем знакомстве с знаменитой нигилисткой и о всех мелочах, случившихся за завтраком, который мы разделили вместе, перед тем, как присоединиться к похоронному кортежу.

Это разоблачение нас тем более удручило, что русский консул был взволнован им до такой степени, что потребовал объяснений от женевского правительства. Тогда я сейчас же принес в жертву себя. Я сам составил для опубликования в самых враждебных нам газетах заметку такого рода:

„Этот бедный Рошфор решительно сделался величайшим из проstackов. Вся Женева потешается над приключением, смешною жертвою которого он только что стал. Какая-то интриганка, приехавшая неизвестно откуда, явилась к нему под именем пресловутой Веры Засулич, недавно оправданной судом, но снова разыскиваемой царской полицией, за то, что она дважды стреляла в генерала Трепова. Рошфор и его друзья с энтузиазмом приняли эту лже-героиню. Ей дали приют, ей устраивали обеды, для нее организовали подписку, плоды которой la prétendue justicière прикарманила без зазрения совести. А затем, когда смелое мошенничество было уже почти раскрыто, особа исчезла, не оставив адреса и унеся с собой le magot.“

Что же касается настоящей Веры Засулич, то нам сообщают, что она только что арестована в тот момент, когда переходила из России в Германию. В настоящее время она заключена в крепость на русской границе и вскоре будет отправлена обратно в Петербург, где снова будет предана суду.

„Alas! Alas! Poor Rochefort!“

Газетки лагеря Мак-Магона много потешались по поводу этого quiproquo qui les défraya huit jours à mes dépens. В итоге, Вера смогла продолжать жить в Женеве, ибо — опасность выдачи была устранена“.

II.

О народовольцах.

В главе XXVI-ой 4-го тома Рошфор описывает похороны Бланки и затем переходит к характеристике русских террористов-народовольцев.

„Политиканы, покинувшие народ, охотно утверждают, что народ неблагодарен. Но люди лояльные, которые всегда верно служили ему, знают хорошо, до чего доходит его признательность. Сто пятьдесят тысяч французов, которые сопровождали Бланки в его последнюю темницу, своим присутствием ярко подтверждали это. Эта большая и великолепная манифестация была в одно и то же время и утешением, и угрозой. Утешением для тех, кто грезил ее уничтожить.“

Однако, так как умеренные всегда должны иметь повод трепетать, страх, который внушал Бланки, уступил вдруг место безумному страху нигилизма. Покушение, от которого умер Александр II, в тот

самый момент, когда русские революционеры, казалось, были обезоружены, было ударом грома среди сравнительно ясного неба. Уже в течение нескольких недель перед этим я ждал катастрофы, о которой предупреждали меня русские эмигранты из Женевы, не осведомляя меня точно относительно того, каким образом она произойдет.

Незадолго до амнистии коммунаров ко мне явилась очаровательная русская молодая девушка, — ей было девятнадцать лет, и ее приключения были точно взяты из романа. Это бедное дитя за принадлежность к тайному обществу было арестовано в Петербурге, где ее отец был генералом при императорском штабе.

Заключенная в Петропавловскую крепость, в подземную камеру, которую Нева затопляла во время наводнений, она была поражена первичной болезнью, вызванной перенесенными ею страданиями и, в особенности, криками арестантов, которых ежедневно били кнутом или розгами. Будучи в этом ужасном состоянии, она узнала о болезни, а потом об агонии своего отца, который хотел обнять своего ребенка перед смертью. Благодаря высокому положению, которое занимал умирающий, эта исключительная милость была предоставлена ей. Извлеченная из тюрьмы, девушка была отведена двумя стражниками к изголовью своего отца, но после первого поцелуя она выбежала на лестницу, заперев за собой дверь комнаты, где остались ее надсмотрщики, и скрылась через другой выход.

Поиграв довольно долго в прятки с полицией, красивая нигилистка прибыла в Женеву, где она опять нашла способ работать для своей партии. Ее мать, столь же преданная делу, как и она, истратила половину своего богатства на содействие побегам революционеров, сосланных в Сибирь, и вот, как ей удалось спасти целые сотни их:

Что всегда отнимало всякую надежду на успех их попыток бежать, — это были с одной стороны огромность пространств, которые приходилось преодолеть, чтобы добраться до границы, с другой стороны недостаток средств, которыми располагали беглецы для путешествия в полторы тысячи лье.

И, вот, мать и дочь придумали снять в аренду или купить участки земли на дороге из Тобольска в Петербург; на этих участках они распорядились выстроить, на расстоянии каждого перехода, хижины, — в них поселились бедные земледельцы, которые ни у кого не могли вызвать никаких подозрений.

Осужденные, будучи предупреждены обо всем этом, направлялись в эти убежища, где поддельные крестьяне принимали их и откуда они отправлялись дальше, отдохнув и подкрепившись, — так они могли добраться до большого города, в котором и затеривались, чтобы затем перебраться за границу.

Эта хитроумная выдумка имела успех в течение долгого времени. Затем, в виду многочисленности побегов, русское правительство столь деятельно искало причину, что в конце концов открыло и упразднило благодетельные пристанища.

Однако, молодая девушка, которая доверилась мне и которую я после того видал два или три раза в Париже, сохраняла попрежнему связи с своими собратьями по оружию и дала мне понять, что готовится большое событие. После безрезультатных попыток в Зимнем Дворце и на Московской железной дороге, я естественно подозревал, что дело идет о близкой смерти Александра II. Однажды я обедал у г-жи Дориан, достойной вдовы бывшего министра национальной обо-

роны, и в тот момент, когда уже садились за стол, слуга подошел ко мне и сказал, что одно лицо ожидает меня в прихожей, желая сказать мне нечто очень важное и очень спешное.

Я настолько предчувствовал покушение, что сказал Эдуарду Мокруа, который, конечно, помнит это:

— Я уверен, что дело идет о каком-нибудь предприятии, направленном против царя.

Посетитель был русский, который забежал ко мне, чтобы сообщить новость, и, узнав, где я обедаю, помчался туда. Когда я вернулся в столовую, я сказал своим сотоварищам по столу:

— Как видите, я не ошибался: Александр II только-что убит.

На другой день я получил шжеследующее письмо, которое появилось в „Intransigeant“ и подтвердило все мои предвидения:

Женева, 14 марта 1881 г.

Дорогой г. Рошфор,

посылаю вам наспех некоторые сведения с пассажиром скорого поезда, который вручит вам их сегодня, у вас, в редакции.

Секретное заявление революционного нигилистического комитета было доставлено Александру II 3-го марта. Обращение, за коллективной подписью *исполнительного комитета*, предлагало тирану или дать русскому народу свободу, которой они требуют столь справедливо и столь долго, или же опасаться всего.

Император ответил новыми проскрипциями.

После попыток в Москве и в Зимнем дворце, вся Европа думала, что наша несчастная партия навсегда побеждена.

Неудача заговора в Зимнем дворце имела своим последствием конфискацию 400.000 франков, которые были переданы нигилистами на хранение нашему другу С..., служащему дворца,—у него был сделан полицией обыск.

Между прочим, так и не узнали, что случилось с этой суммой,—ни в одном из протоколов нет никакого упоминания о ней, и, без сомнения, полицейские присвоили ее себе.

Революционеры должны были восстановить свою кассу. Это и дало возможность думать о временном затишье в их работе. Но вы видите, что если они дремали, то лишь на один глаз.

Вопреки тому, что утверждали газеты, нигилисты никогда не переставали делать царю категорические предостережения.

Видя, что за этими предостережениями не следует немедленных покушений, царь снова успокоился.

Бомбы фабриковались вовсе не в Лондоне, как это утверждают, а в самом Петербурге. Подобно тому, как это было с Верой Засулич, о которой ее друзья нарочно распространяли слух, что она арестована для того, чтобы затруднить ее действительный арест, исполнительный комитет усиленно распространял слух о том, что взрывчатые снаряды яко бы фабрикуются в Лондоне, в квартире Хаммерсмис.

В связи с этим, в феврале, русская полиция, насторожившись, заарестовала в таможне ящик с изделиями из железа и чугуна, среди которых были между прочим haltères, предназначенные для какой-то гимнастической школы.

В это время работа заканчивалась в самом сердце Петербурга.

Я не могу сказать вам ничего больше,—добавлю только, что бомбы снаряжались женщинами.

Я читал в газетах, что арестованный молодой человек носит имя Рысакова; нигилисты не имеют этого имени в списках своих сторонников.

Д.....“

В самом деле, вдохновительницей и подготовительницей заговора была необыкновенная женщина, Софья Перовская, которая в возрасте двадцати шести лет принимала уже деятельное участие во всех конспиративных предприятиях, организованных в целях эмансипации русского народа.

Софья, которую нигилисты называли „Софией великой“, подобно тому, как сторонники императорской власти говорили о „Екатерине Великой“, стала учительницей и воспитательницей, разделяя пищу с слугами и мужиками, к которым она внушала идеи свободы, и обращая в свою идейную веру учеников, которых ей поручали для обучения.

Оливье Пэн¹⁾ и я поехали, не долго думая, в Женеву, чтобы там собрать из уст самих заговорщиков все сведения об этом устрашающем событии.

Мы нашли русских революционеров в состоянии такого сумасшедшего возбуждения, что они были, казалось, вне себя. Во всяком случае, они были не у себя дома, куда они не возвращались уже в течение трех дней, празднуя par une sorte de Kermesse то, что они называли своим торжеством. В это время франко-русский союз, возникновению которого я старался содействовать больше, чем кто-либо другой, был еще в состоянии мечты, и французские республиканцы видели в русском правительстве, самодержавно представляемом царем, лишь преобладание силы над правом и деспотизм одного, палящий над волей всех.

Убийство Александра II, который без видимых оснований и даже без всякого добросовестного или злого объяснения мотивов бросил в тюрьму и держал в ней два года юную Веру Засулич, было повсюду принято, как ответ насилем на насилие. Я формулировал это мнение в своей статье в „Intransigeant“. Статью эту озаглавил: „Реванш нигилистов“ (La Revanche des nihilistes). В ней я говорил:

„Однако в предостережениях не было недостатка. Сперва Трепов, потом Мезенцов, потом Кропоткин (кузен лондонского эмигранта, убитый в Харькове) пробили час напоминания царю. Он не услышал предсмертного барабана и продолжал обезлюживать города, чтобы населять рудники и каторгу.

Бомба Орсини, которая остановит это обезлюжение, сделала для России то, что стрела Вильгельма Телля сделала для Швейцарии, то, что эшафот Карла I сделал для Англии и что эшафот Людовика XVI сделал для нас. Свобода всех народов процветала на крови угнетателей“.

Русское правительство взволновалось и потребовало судебного преследования против меня и нескольких других журналистов, на что французское правительство согласилось без колебаний. Судебное преследование было довольно неловким шагом, в том смысле, что оно давало обвиняемым превосходный случай заклеймить деспотизм, который иногда приходится терпеть и выносить, но который ни в каком случае не может быть защищаем.

¹⁾ Коммунар, товарищ Рошфора по ссылке в Новую Каледонию и по побегу оттуда.

Всего несколько месяцев, как я вернулся во Францию, в объятия народа, и третий раз уже привлекался к суду. Обвинение гласило: „Восхваление деяний, квалифицируемых как преступления“, на что я возражал, что ссылка двадцати тысяч человек в Сибирь, которые были сосланы туда без суда, по чистому произволу, неспоримо составляет преступление, и все-таки прокурор не сажает на скамью подсудимых тех, кто ежедневно восхваляет это преступление.

Однако, несмотря на ужасные результаты покушения, заговорщики и заговорщицы, отважившиеся на него, обнаружили столько неустрашимости в пожертвовании собственной жизнью, которую они отдали без сетований и сожалений, что мои судьи не решились проявить страстность, которую,—это было слишком очевидно,—не одобрило бы общественное мнение.

Что касается меня лично, то я был как раз в новом расцвете своей популярности, и было бы опасно строго покарать меня. Поэтому председатель суда Грессье, перед которым я уже более или менее появлялся в эпоху Империи, притворился, что он до известной степени принимает мою систему защиты, которая для предвзятого человека была системой нападения на прокуратуру.

— Вы автор статьи, озаглавленной „Реванш нигилистов“, сказал мне председатель. Эта статья появилась в номере „Intransigeant“, 15 марта.

Я ответил:

— Я всегда беру на себя ответственность за то, что пишу. Но я удивлен, что меня судят за проступок, заключающийся в цитированной статье. Надо быть все-таки несколько логичным. Меня судят раньше, чем русская юстиция произнесла свое решение. Париж старается обогнать С.-Петербург. Кто доказал, что царь умер не от апоплексического удара или не от куска кирпича, свалившегося ему на голову с крыши? Людей иногда арестуют по подозрению в покушении, но всякий обвиняемый считается до приговора невиновным и мне кажется, что следовало бы по меньшей мере подождать, пока тамошний суд определит судьбу Рысакова и его так называемых соучастников.

Вдобавок есть и прецедент: Вера Засулич была оправдана русским судом присяжных. Стали бы меня судить и приговаривать к наказанию, если бы мне захотелось восхвалить деяние мужественной девушки, на другой день после его совершения, или хотя бы просто дать ему надлежащую оценку? В сущности, сегодня чрезвычайно поспешили.

Я констатировал, что некоторые нигилисты хорошо себя чувствуют по поводу смерти царя, точно так же, как иногда родственники хорошо себя чувствуют, когда видят смерть тех, кому они должны наследовать; но радоваться исчезновению человека еще не значит восхвалять деяния, квалифицируемые, как преступления, в особенности, когда причины смерти данного лица юридически еще не установлены“.

В сущности моя аргументация страдала недостатком основательности, ибо каждое утро я доставлял читателям „Intransigeant“ новые детали, которые я получал от революционеров-эмигрантов в Женеве и, в частности, от очаровательной девушки, бежавшей из Петропавловской крепости.

Эти конфиденциальные сообщения позволили мне даже опровергнуть некоторые легенды относительно организации русского ре-

волюционного общества, которое действовало в эту эпоху агитации и террора. Это не было, как утверждали, что-то вроде „карбонариев“ с общими собраниями, благодаря которым так облегчаются доносы и шпионаж. Общество это состояло из молодых людей, готовых на смерть, и мы видели, как они умирали. Они являлись в комитет и заявляли о своем желании поступить на ту или иную работу или заняться тем или иным определенным предприятием.

В Московском покушении, где дело заключалось в том, чтобы взорвать рельсы и вызвать крушение императорского поезда, участников было пятнадцать.

Во взрыве в Зимнем дворце их было восемнадцать.

В убийстве Мезенцова участвовало трое. Решение предать смерти Александра II было принято лишь после того, как Исполнительный Комитет увидел, что в его распоряжение предоставляет себя большее количество рук, чем нужно, и что неудача первого покушения не помешает успеху покушений следующих.

В первое время возникновения нигилистического общества, люди, на которых возлагалось исполнение приговора, назначались по жребию. Все возраставшее число добровольцев, — добровольцев смерти, — позволило уничтожить этот обязательный характер исполнения.

Когда покушение окончательно решено настолько, что назначена дата, выбирают молодых людей, пригодных для фабрикации снарядов, и женщин, на ловкость которых можно рассчитывать при опасных манипуляциях с нитроглицерином.

Поняти все заговорщики и предлагали себя для метания бомб. Из них выбрали пятерых, но их могло бы быть и тридцать, если бы комитет не опасался, что присутствие, при проезде императора, такого количества молодых людей, большинство коих были более или менее под наблюдением полиции, не испугнуло последнюю.

Рысаков, который был неизвестен до покушения, примкнул к сообществу, повидимому, всего за несколько дней перед тем; это внушало сомнения в серьезности его участия в метании бомб.

Я отделался от своего нового процесса тысячью франков штрафа, — цена довольно мягкая сравнительно с значительностью и стоимостью товара.“

Встречи.

И. Г. А. Лопатин.

Всегда увлекательно веселый и подвижной, всегда остроумный и занимательный, неподражаемый рассказчик, поражающий знаниями, памятью,—таким рисуется мне неизменно Герман Александрович Лопатин при наших довольно многочисленных встречах в Петербурге у В. И. Семевского и в Москве у В. Д. Лебедевой.

Впервые я встретился с Лопатиным у Семевских. Он был одним из самых аккуратных посетителей традиционных воскресных обедов, на которые сходилась узкий кружок друзей В. И. и Е. Н. Семевских. Сотрапезники оставались и на вечер, когда у Семевских собиралась довольно многочисленная и разнообразная публика, я бы сказал,—народовольцы, литераторы и ученые.

Г. А. после вкусного и сытного обеда с вином никогда не мог выдержать искуса до конца и с обеда непосредственно перейти на журфикс. Незаметно он куда-то исчезал на часок, что давало повод Е. Н. над ним постоянно подтрунивать. Он отправлялся соснуть в соседнюю комнату, хотя никогда в этом не признавался в дамском обществе и хотя также несомненно все это знали, так как подобное скрывание происходило каждое воскресенье и уже в течение ряда лет.

„Дамы“ были слабостью Г. А., как и сам он был слабостью дам. Его всегда окружали какие-то дамы, всегда ему назначались какие-то деловые свидания в дамском обществе, всегда он хлопотал о каких-то девицах, что служило поводом для бесконечных добродушных подсеменваний во время воскресных обедов. Г. А. смущался от нападок, но своим успехом был доволен.

Два народовольца, резко отличные друг от друга, выйдя из долголетней тюрьмы, как бы переживали вторую молодость: Н. А. Морозов и Г. А. Лопатин.

Г. А. было уже за шестьдесят лет, когда я с ним познакомился, но в нем столько было именно жизненной энергии, что, казалось, он хотел использовать все, что могли только дать жизнь и свобода. Легко представить его себе молодым. Эта кипучая энергия, исключительно богатые дарования, тонкий наблюдательный ум, остроумие, смелость, мужество—одним словом, действительно черты истинного героя. Я думаю, что все женщины всегда немного были влюблены в этого рыцаря семидесятих годов, всегда относились к нему с некоторым восхищением и обожанием. И его сверстницы переживали в его присутствии свою вторую молодость, вспоминая далекие дни прекрасной юности. Когда у В. Д. Лебедевой, этого друга швейцарбуржцев, встречались Морозов, Фигнер и Лопатин, чувствовались своеобразные отношения хозяйки к своим знаменитым друзьям. Если перед В. Н. Фигнер чувствовалось поклонение с некоторою даже боязливостью, если в отношении Н. А. сквозили добродушие и дружба, то в отношении Г. А. чувствовались ноты именно произвольного восхищения и нежности, прикрытые несколько иронической внешностью. И, мне кажется, такое отношение было не только у В. Д. Лебедевой.

Известно, что вся жизнь Г. А.—вихрь эпизодов и случайностей. Какова была бы его судьба в нормальных условиях жизни, трудно сказать. Такие люди с исключительными дарованиями или становятся великими людьми или остаются талантами, не сумевшими найти должное применение своим слишком широким возможностям. Это был прирожденный вождь революции, но революции карбонарской, я бы сказал—второй Желябов, но только с еще более чуткой и нежной душой.

В годы своей старости, несмотря на всю жизненность, Г. А. не мог уже быть политическим работником, каким была В. Н. Фигнер, не мог заниматься наукой, как неустанно продолжал это делать Н. А. Морозов. Г. А., может быть, один из самых крупных народовольцев,—мог только доживать свой век.

Во всей громадной фигуре Г. А., сквозь эти пасуленные брови, сквозила та нежная доброта, то благородство человека, который видит в другом действительно брата. Это—не доброта от слабости и простодушия, это доброта величия, умеющая снисойти, объяснить и простить. Недаром такой суровый ригорист, по внешности такой нетерпимый, а в действительности обладавший золотым, любвеобильным сердцем, как В. И. Семевский, относился к Г. А. с исключительной нежностью. Об этом отношении можно судить по небольшому приветствию Семевских, написанному Г. А. в день его семидесятилетия

Вот оно.

«Глубокоуважаемый и дорогой Герман Александрович

Позвольте нам, самым преданным Вашим друзьям и почитателям Вашей общественной деятельности, сердечно приветствовать Вас в день Вашего 70-летия. Ваша жизнь полна с одной стороны смелыми подвигами общественного служения, с другой многолетними страданиями в русских Бастилиях. Эти Бастилии еще не разрушены, но Вы много поработали для их разрушения, и, когда эта цель будет достигнута, обаятельный образ милого, доброго, так много пожертвовавшего собой на пользу русского народа Германа воссияет еще в большей славе, чем теперь, и в тогдашних святцах Вы наверное будете причислены к лику святых.

Горячо любящие Вас

Елизавета и Василий Семевские.

У Семевских Г. А. всегда был центром. Обладая исключительным даром образного рассказчика, он в сущности был замечательным мемуаристом. Жизнь его полна была встреч, и при своей наблюдательности Г. А. подмечал черты, которые ярко иногда характеризовали и людей и события. Слушать его было наслаждение. Надо было только суметь навести его на соответствующую тему. Обычно воспоминания шли произвольно, попутно темам, около которых вертелась беседа. Эти короткие эпизоды, штрихи и характеристики иногда удивительно передавали сущность. Мне редко приходилось бывать на воскресных обедах у Семевских,—только в тех случаях, когда я три, четыре раза в год приезжал в Петербург. Во время этих обедов обычно и вспоминал прошлое Г. А. К этому удивительно умел его всегда побудить Н. С. Рusanов. Сам живой собеседник, он что-нибудь говорил из своих заграничных встреч, упоминал о Лаврове и других вождях русской мысли. И это вызывало ту или иную реплику Лопатина или оспаривание им рассказанного факта.

Всякий хороший рассказчик немного выдумщик; говорят, что этот элемент был и в рассказах Г. А. о своих необычайных похождениях. Может быть. Но в характеристиках людей и событий он был необычайно точен. Это была революционная энциклопедия, которая вводила безконечные поправки к рассказам современников.

Любил он поиронизировать, нередко в присутствии самого автора, над воспоминаниями Н. А. Морозова.

Мне часто приходилось присутствовать при таких сценах, тем более, что ряд глав „Повестей моей жизни“ печатался в „Голосе Минувшего“. Прелесть воспоминаний Н. А. Морозова в их непосредственности, а не в точности фактов. Автор живет своим прошлым, живет теми, с которыми он встречался и работал в дни юности, и поэтому ему так ярко и выпукло удается передать настроения молодежи описываемой эпохи, свои чаяния и надежды, свои упования и разочарования. Как историко-психологические этюды, „Повести“ Морозова — источник незаменимый, но, конечно, в них много и очень много беллетристики. Над ней-то и подтрунивал Г. А., обладавший феноменальной памятью. Вот Н. А. описывает Н. — маленькая черная бородка, а у него в действительности была огромная рыжая борода. Два-три таких штриха, конечно, убивали историческую достоверность деталей, которыми любил гордиться автор. Возражать трудно было, и Н. А. предпочитал отмалчиваться, хотя его всегда несколько задевала эта незлобивая критика.

Если бы Г. А. написал свои воспоминания, то они были бы исключительным даром для истории русского революционного движения, но, к сожалению, у него была, как это часто бывает у слишком энергичных и подвижных натур, большая нелюбовь к писанию: не только воспоминаний, но и писем. Рассказчик поглощал в Г. А. писателя.

Много раз с В. И. Семевским мы полусерьезно проектировали посадить где-нибудь стенографистку, чтобы записывать за Лопатиным. Вероятно, редактор американского пошиба это и сделал бы. Но Лопатина нельзя было попросить что-нибудь рассказать. Нужна была непосредственная, оживленная беседа, какая-нибудь реплика, блеснувшее воспоминание, которое одушевило бы Г. А.

Он, смеясь, рассказывал, что Амфитеатров записал за ним целых четыре тома, когда Лопатин жил у него в Италии. Самого Г. А. невозможно было заставить написать. Единственные воспоминания его, появившиеся в „Голосе Минувшего“, вызваны были рассказом Сажина, затрагивавшим П. Л. Лаврова. Лопатин считал своим нравственным долгом опровергнуть неверные, пристрастные, по его мнению, отзывы о его учителе и друге.

В портфеле редакции нашего журнала имеется несколько стихотворений, написанных Г. А. При жизни его нам так и не удалось их напечатать; несмотря на настойчивые и многократные просьбы, Г. А. откладывал их опубликование. „По просьбе В. И. Семевского, — писал он мне 1 января 1917 г., — я написал те стихотворения, которые я читал ему на память. Но когда он спросил моего согласия напечатать их в „Голосе Минувшего“, я отвечал, что сейчас сделать этого не могу. А вот когда получу оставленный мною в Париже сборник моих шлиссельбургских стихотворений, представляющий нечто вроде дневника тамошней жизни, то я выберу из него то, что считаю удобным для печати, проверю редакцию, вставлю даты, сделаю нужные примечания и передам все ему“. Умер Семевский, умер Лопатин, и проект этот так и не осуществился. Сохранился ли, по крайней мере, этот дневник шлиссельбургского узника, вылившийся в форме стихотворных откликов?

У Г. А. совершенно не было личного честолюбия. Всякого рода оvation, поклонение, чествования только его смущали. Он совершенно не стремился к популярности, поэтому крайне не любил показываться в обществе в роли знаменитого человека. У этого смелого революционера была какая-то детская застенчивость.

Он скромно, скромно жил в Доме литераторов на те маленькие денежные средства, которыми располагал.

Как велика была скромность этого замечательного представителя старой русской интеллигенции, этого великого революционера, достойного быть причисленным „к лику святых“, показывает письмо Г. А., обращенное к нам, к

членам редакции „Голоса Минувшего“ по поводу нашего юбилейного его приветствия. „Искренно благодарю сотрудников и друзей „Голоса Минувшего“ за их поздравления и добрые пожелания, — писал Г. А. 15 ноября 1911 г., — но не могу не прибавить по этому поводу нескольких слов, которые я не раз повторял моим доброжелателям при подобных случаях. Конечно, я сердечно благодарен всем почтившим своими приветствиями наступление моего 70 летия, но говорю по совести, что все такие приветствия не только трогают меня до глубины сердца, но и причиняют мне непритворное душевное страдание вследствие искреннего сознания их незаслуженности. Ведь все мы — я и мои многочисленные друзья и единомышленники левого лагеря давно минувших, стародавних времен — были подхвачены когда-то идейным течением нашего времени, которое и несло нас вперед и вперед, пока не разбило о встречные скалы... только могучему стихийному движению столичного пролетариата и сельских масс удалось добиться в 1905 г. частичного осуществления кое-каких из наших стремлений и вернуть жизнь тем из нас самих, которые не были убиты на смерть... И вот, наши современные единомышленники и доброжелатели чествуют нас теперь по разным подходящим поводам не за заслуги — не за осуществление благих целей, к которым мы стремились, но не достигли, — а, так сказать, за „дожитие“, выражаясь языком страховых обществ... Как же тут не смущаться и не сжиматься сердцу от внутренних уколов собственного сознания своей малоценности... Но, конечно, — повторяю, — это смущение и болезненное стеснение сердца при всех таких незаслуженных овациях не мешают мне ощущать сердечную признательность к тем, которые чествуют в моем лице старого слугу тех идеалов, которым служат ныне они сами“.

15 июля 1920 года.

С. Мельгунов.

Дневник кн. Е. А. Шаховской.

1826—1827 г.г.

Автор печатаемого ниже дневника, кн. Елизавета Александровна Шаховская, урожд. Муханова, принадлежала к дворянскому роду Мухановых, известному с конца XVI века. Сподвижник Петра Великого, контр-адмирал Ипат Калинович Муханов — ее родной прадед.

Отец Елизаветы Александровны — Александр Ильич Муханов (род. в 1766 г., ум. в 1815 г.) начал службу в конной гвардии, где дослужился до чина полковника. Женившись (14 янв. 1797 г.) на Наталье Александровне Саблуковой (род. в 1779 г., ум. в 1855 г.), из военной службы он вышел, перешел в статскую и был сначала новгородским вице-губернатором, потом казанским, полтавским и, наконец, рязанским губернатором. Выйдя в отставку, жил он в Москве, где, вероятно, и протекло детство Елизаветы Александровны, родившейся 8 января 1803 г.

В январе 1825 г. Елизавета Александровна вышла замуж за кн. Валентина Михайловича Шаховского (род. в 1801 г., ум. в 1850 г.), по окончании училища для колонновожатых служившего в конно-егерском полку и бывшего адъютантом у гр. М. С. Воронцова. Скончалась кн. Е. А. Шаховская 23 октября 1836 г.

Кроме этих дат, об Елиз. Алекс. Шаховской-Мухановой не имеется в печати никаких сведений¹⁾, и, таким образом, публикуемый дневник ее, заключающий в себе записи, к сожалению, лишь за 1826—1827 годы, впервые знакомит нас с нею.

Интимно вводя нас в жизнь семей Шаховских и Мухановых во время следствия и суда над декабристами, дневник кн. Шаховской имеет исключительное значение для характеристики настроений тех дворянских кругов, из которых вышли первые борцы за политическую свободу России.

Центральное место в дневнике кн. Шаховской за 1826 год занимает ее брат, декабрист Петр Александрович Муханов, участь которого заставляет ее глубоко страдать.

Даем краткий очерк биографических сведений о нем.

Петр Александрович Муханов, родившийся в 1798 г., был вторым сыном Александра Ильича. Окончив в 1816 г. известное муравьевское училище для колонновожатых, он вышел в офицеры л.-гв. саперного батальона и занял должность адъютанта у гр. П. В. Голенищева-Кутузова. В 1819 г. Муханов был принят в „Союз Благоденствия“, но близкого участия в делах тайного общества не принимал. „Причин решительных для вступления в

¹⁾ Только у Н. Барсукова («Жизнь и труды М. П. Погодина», кн. IV, стр. 18) мы нашли отзыв о ней и ее муже в письме М. А. Дмитриева к Погодину. В 1831 г., приглашая Погодина к себе прочесть его трагедию «Петр I», Дмитриев писал: «Я прошу у вас позволения пригласить князя Валентина Шаховского с женою, сестрою Павла и Петра Мухановых. Они очень давно желают слышать вашу трагедию: сами они — умная, добрая, откровенная чета».

общество я не имел, но вступил по убеждению и зная, что в оном находились молодые люди хороших семейств", — показывал он на допросе 27 января 1826 г. 9 марта 1821 г. Муханов был переведен в Измайловский полк. В Петербурге Петр Александрович был близок с Булгариным, А. Бестужевым, Плетневым, В. Туманским, Корниловичем, Львом Пушкиным и особенно был дружен с Рылеевым, посвятившим Муханову свою думу „Смерть Ермака“. Вращаясь в писательских кругах, Муханов и сам принимал участие в литературе. В 1822 г. сочинил он вместе с Араповым либретто к опере Алябьева „Лунная ночь или домовые“, шедшей в первый раз 19 июня 1822 г. в бенефис Сандуновой. В 1823 г. в „Сыне Отечества“ (№ 86) напечатан перевод Муханова с английского статьи: „Нечто о Наполеоне и Фридрихе II“.

В чине штабс-капитана 15 апреля 1823 г. Петр Александрович был назначен адъютантом к генералу Н. Н. Раевскому в Киев, где и прослужил два года. Живя в Киеве, Муханов не порвал своих связей с петербургскими литераторами. Из дошедших до нас писем его к Рылееву, Корниловичу и Булгарину видно, что он принимал самое близкое участие как в денежных делах Рылеева, так и по распространению книжек „Полярной Звезды“. В конце 1823 г.—начале 1824 г. Муханов был в Одессе, где виделся с М. Ф. Орловым и А. С. Пушкиным. С последним он настолько близко сошелся, что поэт читал ему первую главу „Евгения Онегина“, дал начало „Братьев-разбойников“ и первую песнь „Вадима“. У Муханова было даже намерение издать сборник стихотворений Пушкина). В декабре 1824—январе 1825 г. Петр Александрович жил в Москве, где занимался изданием „Дум“ (ценз. разр. 22 дек. 1824 г.) и „Войнаровского“ (ценз. разр. 8 янв. 1825 г.) Рылеева. Только благодаря его стараниям „Войнаровский“ сравнительно мало пострадал от цензуры²⁾. Кроме этого, Муханов в Москве, как он писал Булгарину, „издавал военный журнал“, „приобрел партизанским образом“ и напечатал в „Сев. Архиве“ (1825 г., №№ 8 и 9) интересную рукопись: „Необыкновенные похождения и путешествия русского крестьянина Дементия Иванова Цикулина в Азии, Египте, Восточной Индии с 1808 по 1821 г., им самим описанные“. Вообще, в Москве Петр Александрович живет литературными интересами: знакомится с Полевым и старается его примирить с петербургскими близнецами, Булгариным и Гречем, перед которыми, в свою очередь, заступается за Кюхельбекера и кн. В. Ф. Одоевского, издававших в то время альманах „Мнемозину“³⁾.

Справив свадьбу сестры Елизаветы в январе 1825 г., Муханов уехал в Киев. 25 ноября 1824 г. генерал Раевский был уволен от командования

¹⁾ Письмо к Рылееву от 13 апреля 1824 г., о котором пишет Лернер на стр. 97 книги „Труды и дни Пушкина“. Спб. 1910 г., — несомненно принадлежит П. А. Муханову и написано им из Киева, по возвращении из Одессы. О Петре же Александровиче, а не об Александре Алексеевиче (двоюродный брат Петра Александровича) Муханове, как думал П. А. Ефремов (см. именной указатель в VIII т. сочинений Пушкина, изд. Суворина 1905 г.), упоминает Пушкин в письмах 1825 г. Л. С. Пушкину (янв.), кн. П. А. Вяземскому (19 февр.), ему же (15 сент.).

²⁾ По просьбе Рылеева, исторические примечания к его «Думам» составлял П. М. Строев. Посредником между ними был П. А. Муханов, у которого с Строевым произошло столкновение. Строев написал письмо Рылееву, и тот в ответ ему писал: «...по праву приятели с Мухановым и по личному моему уважению к вам, должен вам с откровенностью сказать, что оскорбительные личности на счет Муханова, которыми наполнено письмо ваше, обидны и мне, по той короткости, которую вы не могли не заметить между мною и им.. Муханов — истинно добрый и благородный человек». Барсуков, «Жизнь и труды П. М. Строева». Спб. 1878 г., стр. 97—98; приведено в книге Маслова: «Литературная деятельность К. Ф. Рылеева». Киев. 1912, стр. 259.

³⁾ Письмо П. А. Муханова к Булгарину от 16 февр. 1825 г. содержит очень интересные характеристики Кюхельбекера и кн. В. Ф. Одоевского. См. «Рус. Стар.» 1888, дек., 591-2.

4-м пехотным корпусом, и П. А. должен был из адъютантов перейти во фронтовые офицеры. Увольнение его от должности адъютанта состоялось 22 мая 1825 г. Не желая служить в Петербурге, Муханов решил устроиться адъютантом у Ермолова на Кавказе для того, чтобы затем перейти в 7-й Карабинерский полк, которым командовал его родственник Н. Н. Муравьев. 26 мая Муханов приехал в Манглис (близ Тифлиса) к Муравьеву, но, несмотря на то, что у него было рекомендательное письмо к Ермолову от Раевского, в переводе ему было отказано. Плодом этой поездки на Кавказ явились две статьи Муханова о Грузии, которые он поместил в октябрьском и ноябрьском номерах „Московского Телеграфа“, за 1825 г. В это же время Погодину в его альманах „Уrania“ Муханов дал очерк „Светлая неделя в Москве“. „Таких очерков у него была целая тетрадь“,—вспоминал впоследствии Погодин.

Утром 18 декабря 1825 г., в день принесения присяги начальствующими лицами в Успенском соборе, И. Д. Якушкин встретился с Мухановым у М. Ф. Орлова. „Муханов,—пишет в своих „Записках“ Якушкин,—был со всеми (петербургскими декабристами) коротко знаком. Он нам рассказывал подробности про каждого из них и, наконец, сказал: „Это ужасно—лишиться таких товарищей; во что бы то ни стало, надо их выручить: надо ехать в Петербург и убить его [т. е. Николая]“. Орлов встал с своего места, подошел к Муханову, взял его за ухо и чмокнул его в лоб“. От Орлова Якушкин с Мухановым поехал на совещание к Митькову, у которого собрались М. А. Фонвизин, полковник Нарышкин, С. М. Семенов и Нелединский-Мелецкий. Митьков, хотя и не был знаком с Мухановым, принял его вежливо. „Муханов почти никого не знал из присутствующих, но через полчаса он уже разглагольствовал, как будто был в кругу самых коротких своих приятелей. Он был знаком с Рылеевым, Пушиным, Оболенским, Ал. Бестужевым и многими другими петербургскими членами, принявшими участие в восстании. Все слушали его со вниманием; все это он опять заключил предложением ехать в Петербург, чтобы выручить из крепости товарищей и убить царя. Для этого он находил удобным сделать в эфесе шпаги очень маленький пистолет и на выходе, нагнув шпагу, выстрелить в императора. Предложение самого предприятия и способ привести его в исполнение были так безумны, что присутствующие слушали Муханова молча и без малейшего возражения“. Рассказывая о событиях 14-го декабря, Муханов между прочим сказал, что по известному ему характеру нового государя никому нельзя ожидать помилования. По показанию Нарышкина, Муханов, между прочим, сказал ему: „Вместо того, чтобы терять время в словах, надобно поспешить уведомить членов южного общества, чтобы они не обнаружили себя“. Нарышкин возразил, что, вероятно, уже приняты меры для пресечения сношений, и что члены Южного общества, получив известие о происшествии 14-го декабря, и сами ничего не предпринимают. — „Вы не знаете, — отвечал Муханов, — там есть люди решительные, которые готовы все предпринять для их спасения“, — и хотел посоветоваться с Митьковым и Семеновым об извещении членов Южного общества.

9 января 1826 г. Петр Александрович был арестован в Москве и с фельдъегерем Заварзаевым отправлен в Петербург.

Арест, на первое, по крайней мере, время не смирил Муханова, и он по дороге в Петербург, как рассказывает (в своих „Записках“) его знакомый В. П. Зубков, убеждал последнего отказываться на допросе от дачи каких-либо показаний, говорил, что будто бы Александр Бестужев сказал императору: „то, что посеяно, взойдет“, смеялся над М. А. Фонвизиним (его также везли арестованным в Петербург), делавшим вид, что он ничего не знает о тайном обществе.

В 9-м часу вечера 11-го ноября комендант Петропавловской крепости получил собственноручную записку Николая I: „Присылаемого ш.-к. Муханова содержать под строжайшим арестом и поместить по усмотрению“.

Дело П. А. Муханова не опубликовано, и из его показаний мы знаем только приведенный уже выше ответ его на вопрос о причинах, побудивших его поступить в члены тайного общества.

В мае Якушкин неожиданно получил вопрос из следственной комиссии о том, в чем состоял разговор полковника Митькова с Мухановым, по получении известия о 14 декабря. Якушкин не решился отрицать того, что он слышал, и показал, что „многоречивый вызов Муханова отправиться в Петербург все присутствующие выслушали, как пустую болтовню, и на нее никто не обратил внимания“. Мучимый мыслью, что он может быть причиной гибели Муханова, Якушкин пишет письмо к императору, в котором объясняет, каким образом Муханов через него попал к Митькову.

„Я просил,—пишет Якушкин в „Записках“,—наложить на меня какое угодно наказание, но избавить Муханова от ответственности в деле, в котором он участвовал одной болтовней“. Когда Муханову прочли показание Якушкина, он сказал: „Я не запираюсь, что я говорил вздор, и намерения совершить преступление я никогда не имел“.

Во всеподданнейшем докладе следственной комиссии о „преступлении“ Муханова сказано так: „В Москве, где все жители с восторгом произносили клятву в верности Вашему Императорскому Величеству и Наследнику Престола, некоторые из членов Тайного Общества, в том числе и отставшие от оногo, собирались рассуждать о происшествиях 14-го декабря. Один, Муханов, известный другим невоздержностью в речах, говорил в иступлении досады: „Наши товарищи гибнут; их может спасти только смерть Государя, и я знаю человека, готового, по крайней мере, отмстить за них“. К этому месту сделано примечание: „Показание Якушкина: Муханов признался, что говорил это“.

В списке преданных Верховному Суду Муханов значится в числе членов Северного Общества 24-м (из 61). В „Росписи“ Верховного Суда он стоит первым в четвертом разряде осуждаемых к временной ссылке в каторжную работу на 15 лет, а потом на поселение за то, что „произносил дерзостные слова в частном разговоре, означающие мгновенный порыв на цареубийство, и принадлежал к тайному обществу, хотя без полного понятия о кровавой цели относительно бунта“.

Высочайшим указом от 10 июля 1826 г. срок каторги был убавлен до 12 лет, а указом от 22 августа того же года еще убавлен до 8 лет.

После суда, в Петропавловской крепости Муханов пробыл до 23 октября 1826 г., когда был переведен в Выборгскую тюрьму. Здесь он просидел (вместе с ним там были заключены М. С. Лунин и М. Ф. Митьков) до осени 1827 г., когда был отправлен в Сибирь. По дороге в Читу нагнал он в Кунгуре, вместе с Пушиным и Поджио, Якушкина и в течение двух суток ехал с ними вместе, но потом отстал. 24 ноября Муханов прибыл в Иркутск, и в последних числах декабря в Читу.

В Читинском остроге Муханов пробыл два с половиной года, и летом 1830 г. вместе с другими был переведен в Петровский завод, где и прожил до конца 1832 г.

В воспоминаниях декабристов об этом времени имя Муханова встречается довольно часто. А. Е. Розен пишет, что Петр Александрович читал в Читинском остроге лекции по истории России, а в Петровском заводе, по его инициативе и под его председательством, происходили литературные вечера, при чем он сам читал свою повесть „Ходок по делам“. „Как литератор,—по мнению А. Ф. Фролова,—Муханов выказывал несомненный талант.

Повести его, с описанием русского быта и нравов наших, представляли увлекательный рассказ и были бы ценной находкой для любого журнала⁴. Поощрял он и других к писательству. „Большую часть стихов кн. А. И. Одоевского,—по словам Беляева,—решиительно нужно отнести к нашим (т.-е. братьев Беляевых) и Муханова усилиям и убеждениям. Первыми его слушателями, критиками и ценителями всегда были Беляевы с Мухановым и Ивашевым“. М. Бестужева Петр Александрович подбивает написать повесть, а жен декабристов, разделявших заточение вместе с мужьями, просит написать в Петербург, чтобы добиваться разрешения печатать произведения заключенных товарищей.

Срок тюремного заключения истек в 1834 году, но по указу 8 ноября 1832 г. в конце уже этого года он был освобожден из тюрьмы. Сохранился черновик прошения матери Петра Александровича к гр. А. Х. Бенкендорфу, где она ходатайствует о переводе сына на жительство в Западную, а не Восточную Сибирь¹). Неизвестно, было ли подано это прошение, составлявшееся в декабре 1832 г., но в Западную Сибирь Муханов не был переведен, а был отправлен с Петровского завода в Братский остров, Нижнеудинского округа, Иркутской губернии. Прожив здесь 9 лет, Муханов 20 ноября 1841 г. был переведен в селение Усть-Кудинское, в 24 верстах от Иркутска. Здесь летом 1847 года занимался он арифметикой с тринадцатилетним Н. А. Белоголовым, который в своих „Воспоминаниях“ посвятил Муханову несколько строк. „Декабрист Петр Александрович Муханов проживал в своем новом, совсем с иголочки, выстроенном им самим домике в 3 или 4 комнатки... Это был человек могучего сложения, широкоплечий и тучный, с большими рыжими усами²) и несколько суровый в обращении, так что у нас, детей, особенной близости с ним не было, а потому и личность его оставила мало следа в моей памяти“.

В 1853 г. мать Муханова обратилась к шефу жандармов А. Ф. Орлову с просьбой разрешить сыну ее возвратиться на родину, в Московскую губернию. Докладывая об этом Николаю I, Орлов с своей стороны не находил препятствий к исполнению просьбы Мухановой, считая только нужным предварительно спросить заключения московского генерал-губернатора гр. Закревского. Николай I положил на этом докладе резолюцию: „Согласен, но ежели Закревский согласится, все таки надо будет за ним строжайше смотреть; ибо я знал лично его скрытный характер, не заслуживающий никакого доверия, что и доказал. 15 июля 1853 года“.

Когда и как лично узнал Николай скрытный характер Муханова (о котором он помнит через 27 лет!), пока остается неизвестным³), но что в этой жесткой резолюции император обнаружил свой злопамятный характер, это несомненно.

Муханову не пришлось воспользоваться царской „милостью“—через семь месяцев после резолюции Николая I он скоротечно скончался 17 февраля 1854 г. в Иркутске, „чуть ли не накануне дня своего вступления в брак с директрисой иркутского института М. А. Дороховой⁴)“.

М. Цявловский.

¹) Прощение имеется в двух редакциях. В одной, напечатанной в Сборнике стар. бумаг музея Щукина (IV, стр. 336), Н. А. Муханова просит перевести ее сына в Ишим или в Тюмень; в другой, сохранившейся в архиве кн. Шаховских, говорится о «дозволении провладеть остаток дней в том углу Сибири, где бы солнце грело потеплее».

²) Портрет П. А. Муханова имеется в книге: «Декабристы. 86 портретов». Изд. Зензинова.

³) Сравни с резолюцией Николая I его слова о П. А. Муханове, сказанные Серг. Ил. Муханову, в дневнике кн. Шаховской (запись от 19 авг. 1826 г.).

⁴) Биографические сведения о П. А. Муханове собраны Б. Л. Модзалевским в примечании к «Запискам» В. П. Зубкова («Пушкин и его современники», в. IV, стр. 168—9) и

Дневникъ Елизаветы Александровны Шаховской¹⁾.

Москва. 1826 г.

8 февраля. Понедельникъ. Утро.

Какъ много событій протекло съ тѣхъ поръ, какъ я прервала свой дневникъ. Сколько радости и горя пришлось мнѣ пережить, и все пережитое было такъ живо, что заставило меня цотерять, если можно такъ сказать, самую способность писать. А между тѣмъ мнѣ было бы пріятно сохранить память обо всемъ; я хотѣла бы, чтобы у меня былъ мой дневникъ; я перечитывала бы его, и онъ воскрешалъ бы предо мной это время, представляющее такой глубокой интересъ для Россіи, с одной стороны, а с другой—связанное со скорбными чувствами. Смерть императора Александра, отреченіе Константина и восшествіе на престолъ Николая,—всѣ эти перемѣны дали своеобразное направленіе политическимъ событіямъ. И онъ мало бы смущали меня, если бы царствованіе Николая началось болѣе радостно и счастливо. Но заговоръ, который онъ открылъ, вспыхнувшій противъ него мятежъ, общее настроеніе умовъ, когда чуть не всѣ желали конституціи, наконецъ, аресты всѣхъ, въ комъ заподозрѣвали либеральныя идеи,—все это тяжело поразило насъ. Къ тому же Пьеръ былъ отправленъ съ фельдъегеремъ въ Петербургъ, Александръ Муравьевъ—тоже, Полина, Лили, Катишь²⁾ поѣхали вслѣдъ за ними,—все въ нашей семьѣ перевернулось; перевернулось и у меня, бывшей наканунѣ родовъ, такъ какъ прекрасное, нѣжное чувство стать матерью было отравлено.

19 декабря Господь послалъ мнѣ радость, даровалъ дочь. Я родила въ 5^{1/2} часовъ вечера послѣ двадцатичетырехчасовыхъ страшныхъ мученій.

11 іюля 1826 г., Петербургъ. Охта. Воскресенье, 10 час. утра.

Сколько разъ я бралась за перо, чтобы писать мой дневникъ. Сколько интереснаго я могла бы разсказать, но обстоятельства, среди которыхъ я жила, были такъ горестны, что я не знаю хорошенько, стоитъ ли писать о нихъ и хранить о нихъ гаять. Но я хочу все-таки пересилить себя, я хочу описать самымъ подробнымъ образомъ все, что было со мною за это время; можетъ быть, когда-нибудь послужать мнѣ и на пользу всѣ тѣ тяжелыя впечатлѣнія, которыя подавляютъ меня теперь. Не стараясь вспомнить, ни когда, ни на чемъ я бросила свой дневникъ, я начну его съ момента, наиболѣе интереснаго для меня, съ рожденія моего ребенка. Начиная съ этого, дорогого для меня дня, ясное небо моего счастья покрылось облаками. Я хотѣла стать матерью; когда

в «Архивѣ Раевскихъ», т. I, 232—3. Более полная сводка биографическихъ сведений дана А. А. Сиверсомъ в книгѣ «Материалы к родословию Мухановыхъ». Изданіе Н. Н. Муханова. 1910, стр. 135—144. См. еще Маслов «Литературная деятельность К. Ф. Рылеева». Киев. 1912, по указателю, и «Общественные движенія в Россіи в первую половину XIX вѣка» В. Семевского, В. Богучарского и П. Щеголева, стр. 49—50.

¹⁾Дневникъ кн. Е. А. Шаховской поступилъ въ распоряженіе «Голоса Минувшаго» въ числѣ другихъ бумагъ изъ архива кн. Шаховскихъ въ «Бѣлой Колпи». Подлинникъ дневника, представляющій собою тетрадь въ четвертку въ 30 страницъ, написанъ по-французски. Нами дается полный переводъ за исключеніемъ очень немногихъ мѣстъ, имѣющихъ личный интересъ, гдѣ кн. Шаховская говоритъ о своемъ грудномъ ребенкѣ и объ отношеніяхъ своихъ къ матери мужа.

²⁾Александръ Николаевичъ Муравьевъ, декабристъ. «Полина» — первая его супруга, княжна Прасковья Михайловна Шаховская, сестра мужа кн. Елиз. Ал. Шаховской. «Лили» — вѣроятно, ея сестра, княжна Елизавета Михайловна. «Катишь» — княжна Екатерина Михайловна.

я стала ею, душа моя полна самых радостных чувствъ. Но какъ могла я предположить, что политическія событія отравятъ то нѣжное чувство, которое испытывала я при видѣ моей дочери. Она родилась 19 декабря, а наканунѣ получили манифестъ о томъ, что Константинъ—болѣе не наслѣдникъ престола, но, согласно волѣ почившаго императора, ему долженъ наслѣдовать его братъ Николай¹⁾. Одновременно съ этой новостью пришла въ Москву и вызвала тревогу другая—о мятежѣ 14-го. Мятежники требовали конституціи и Константина; но мужество новаго императора, то обстоятельство, что значительная часть гвардіи осталась вѣрна, и картечь, направленная противъ мятежниковъ, покѣнили съ этою несчастной и горестной попыткой. Но водворенный такимъ способомъ въ Петербургъ миръ не принесъ спокойствія. Началось разслѣдованіе причинъ, вызвавшихъ 14-е; тысячею способовъ стремились открыть тайныя общества. Съ момента восшествія императора на престолъ не переставали говорить, думать и страдать по поводу всѣхъ тѣхъ арестовъ, которые производились въ Москвѣ и другихъ городахъ Россіи. То брали отца, то мужа, то сына, брата, жениха; не осталось почти ни одной незамѣшанной семьи въ старой столицѣ. Черезъ 3 недѣли послѣ моихъ родовъ, 9 января, былъ увезенъ съ фельдъегеремъ братъ мой Пьеръ, 11-го—Александръ Муравьевъ, а 13-го поѣхали вслѣдъ за нимъ въ Петербургъ его жена и двое изъ моихъ сестеръ²⁾. Обоихъ нашихъ братьевъ³⁾ заключили въ крѣпость. Это горестное извѣстіе такъ поразило меня, что я слегла. Снова вскрылся мой нарывъ на груди, вслѣдъ за нимъ ихъ было всего 10; но все-таки я продолжала кормить мою малютку наперекоръ всѣмъ моимъ страданіямъ. Но какъ я беспокоилась; я все время боялась за мужа, и хотя была совершенно убѣждена въ его невинности, но со страхомъ слушала то, что онъ говорилъ: онъ былъ въ высшей степени раздраженъ. Боже, Ты одинъ знаешь, что испытала я тогда; я пыталась успокоить его, но рассказы моихъ сестеръ и все другое мало могли мнѣ помочь.

Время отпуска мужа приходило къ концу; онъ долженъ былъ ѣхать въ Одессу⁴⁾. Я была очень огорчена. Изъ-за морозовъ я рисковала бы потерять дочь, да и все складывалось такъ, что Валентинъ долженъ былъ ѣхать одинъ. Извѣстіе, что графъ [гр. М. С. Воронцовъ] долженъ былъ скорѣе вернуться въ Петербургъ, заставило меня не предпринимать путешествія въ 15 сотъ верстъ съ двухмѣсячнымъ ребенкомъ и въ такое неблагоприятное время года. Валентинъ уѣхалъ 9 марта. Это была первая разлука и притомъ въ такое время, когда всѣ боялись разставаться надолго. Прощаясь съ нимъ, я думала, что, можетъ быть, и не увижу его больше.

Валентинъ пріѣхалъ въ Одессу черезъ 10 часовъ послѣ того, какъ уѣхалъ его генераль. Онъ отправился за нимъ въ Бѣлую Церковь, тамъ пробылъ нѣсколько дней и, получивъ отъ генерала приказаніе отправляться въ Петербургъ и ждать его тамъ, поѣхалъ черезъ Москву⁵⁾.

¹⁾ Въ ночь на 18 декабря 1825 г. къ московскому генераль-губернатору кн. Д. В. Голицыну пріѣхалъ изъ Петербурга ген.-ад. гр. Е. Ф. Комаровскій, привезшій манифестъ о вступленіи на престолъ Николая Павловича. Утромъ, 18-го, въ Успенскомъ соборѣ начальствующія лица принесли присягу новому императору.

²⁾ Здѣсь и въ другихъ мѣстахъ дневника кн. Елиз. Александровна называетъ своими сестрами сестеръ своего мужа, кн. Шаховскихъ.

³⁾ Т.-е. ея брата П. А. Муханова и Ал. Н. Муравьева, мужа сестры ея мужа.

⁴⁾ Мужъ Елизаветы Александровны, кн. Валентинъ Михайловичъ Шаховской былъ въ то время адъютантомъ у новороссійскаго генераль-губернатора гр. М. С. Воронцова.

⁵⁾ Гр. М. С. Воронцовъ пріѣхалъ въ Петербургъ изъ Бѣлой Церкви 12 апрѣля.

Къ великой моей радости, 7-го онъ пріѣхалъ, а 9-го, въ четвергъ ¹⁾ утромъ мы уже были въ городѣ.

Мы благополучно закончили все путешествіе и, наконецъ, были встрѣчены дѣдушкою ²⁾ и всею родней (особенно рады видѣть насъ были сестры). Но сколько горести испытывала я всякій разъ, проходя мимо крѣпости, стѣны которой скрывали отъ меня брата; какое мученье было видѣть узкія окошки казематовъ. О, какъ понятна и близка была мнѣ вся печальная безнадежность его положенія!

Со времени своего заключенія братъ писалъ намъ только два раза; послѣднее его письмо было отъ 3 февраля. Въ своемъ новомъ показаніи Якушкинъ привелъ слова Пьера послѣ 14-го, когда онъ сказалъ, что *нужно убить императора, чтобы отомстить за товарищей*. Эти слова погубили Пьера ³⁾. Въ результатъ этого показанія ему запретили писать намъ. По пріѣздѣ сюда я принялась за справки и сдѣлала множество попытокъ, чтобы узнать, какъ помочь дѣлу. Я решила написать царю, просить его разрешить свиданіе съ братомъ; подобная милость была оказана нѣсколькимъ близкимъ родственникамъ заключенныхъ. Я написала 4-го или 5-го мая, но не получила отвѣта, быть можетъ, благодаря небрежности г. Кикина, государственнаго секретаря, который обѣщалъ мнѣ передать мое письмо государю. 28-го мая мы переѣхали въ Охту. Я пріѣхала туда больной, взволнованной; безпрестанные разговоры о нашихъ бѣдныхъ заключенныхъ причиняли мнѣ много страданій.

Однажды утромъ Валентинъ отправился къ генералу Левашеву, члену слѣдственной комиссіи, чтобы разспросить его, что посоветуетъ онъ мнѣ, чтобы добиться разрешенія писать брату. Левашевъ велѣлъ передать мнѣ, что необходимо написать письмо государю и просить у него этой милости, и что онъ самъ передастъ мое письмо. Надо было составить письмо.

Мое первое письмо мнѣ удалось написать безъ особыхъ затрудненій, но второе долго не давало мнѣ покоя. Напрасно я старалась составить его; я не могла даже переписать того, что написала за меня моя двоюродная сестра, Бакунина ⁴⁾. Наконецъ, испортивъ 6 листовъ, я выполнила свою задачу. Валентинъ отнесъ письмо Левашеву, онъ передалъ его государю, и вскоре, благодаря генералу Левашеву, я получила разрѣшеніе писать моему бѣдному брату. Я воспользовалась разрѣшеніемъ и черезъ день получила отвѣтъ; онъ былъ отъ 20 іюня, число, навсегда памятное для меня, такъ какъ я узнала, что братъ мой еще живъ и, несмотря на свое несчастіе, чувствуетъ себя довольно хорошо.

Перваго іюля во время обѣда мнѣ подали отъ генерала Потапова письмо ⁵⁾, въ которомъ онъ меня извѣщалъ, что государь разрѣшилъ мнѣ свиданіе съ братомъ. Мнѣ кажется, что я получила этотъ отвѣтъ такъ поздно изъ-за небрежности г. Кикина, который, быть можетъ, предпочелъ не передавать его мнѣ. Но во второмъ письмѣ рѣчь шла о томъ же. Возможно, что государь навелъ справки, и такимъ образомъ я

¹⁾ Небольшая неточность — 9-го апреля 1826 г. была пятница, а не четвергъ.

²⁾ „Дѣдушка“—кн. Александръ Алексѣевичъ Шаховской, отецъ отца мужа Елизаветы Александровны.

³⁾ Объ этомъ см. выше, стр. 100—101.

⁴⁾ Это—Екатерина Павловна Бакунина, дочь Павла Петровича Бакунина и Екатерины Александровны Саблуковой, тетки (сестры матери) кн. Елизаветы Александровны Шаховской. Въ эту Бакунину, вышедшую въ 1834 г. замужъ за А. А. Полторацкаго, былъ влюбленъ лицеистомъ Пушкинъ.

⁵⁾ Алексѣй Николаевичъ Потаповъ, членъ слѣдственной комисіи надъ декабристами.

получила разрѣшеніе на свиданіе съ братомъ тогда, когда уже не ждала этого.

Второго іюля я отправилась въ крѣпость. Я ѣхала на лодкѣ, мое путешествіе было такое покойное, но какъ непокойно было все то, что чувствовала я. Я явилась къ коменданту и ожидала его въ пріемной: онъ не возвращался еще изъ Сената, гдѣ разбиралось это грустное дѣло. Въ 4 часа комендантъ вернулся и, разсыпавшись въ любезностяхъ, провелъ меня черезъ рядъ комнатъ въ ту, гдѣ должно было состояться свиданіе съ братомъ¹⁾. Я попросила, чтобы и Валентину разрѣшили повидаться съ братомъ, но этого не разрѣшилъ добрый, но въ то же время строгій начальникъ тюрьмы. Я не могу и не буду пытаться выразить словами то, что я переживала, очутившись въ объятіяхъ брата. Да и къ чему это, зачѣмъ писать о томъ, что я переживала тогда? Развѣ это не запечатлѣлось въ сердцѣ моемъ, развѣ можно забыть это? О, милый Пьеръ, какъ я была рада видѣть тебя. Но гдѣ увидѣла я тебя, — въ крѣпости, въ присутствіи коменданта. Какъ ты поблѣднѣлъ, осунулся, и какой у тебя убитый видъ! Какъ говорилъ ты со мной, опасаясь, какъ бы не вырвалось лишнее слово. Милый другъ, сколько я выстрадала за этотъ часъ, проведенный вмѣстѣ съ тобою! Трогательная доброта коменданта къ тебѣ меня умилила. Какъ тяжело было мнѣ услышать, что пришли доложить о фельдъегерѣ, пріѣхавшемъ отъ государя. Я хотѣла остаться еще немного, но ты мнѣ сказалъ: „Разстанемся, быть можетъ, посланный привезъ вѣсть объ освобожденіи кого-нибудь изъ нашихъ несчастныхъ заключенныхъ“. Я крѣпко обняла и больше не видала тебя; впрочемъ, мелькомъ я видѣла тебя въ окнѣ, когда обходила съ мужемъ домъ коменданта. Милый другъ, при какихъ обстоятельствахъ мы увидимся вновь съ тобою! Сенатъ вынесъ свой приговоръ; онъ ужасенъ. Вчера государь долженъ былъ его скрѣпить; быть можетъ, онъ смягчитъ его? Нѣтъ, я не въ силахъ больше писать; я слишкомъ угнетена мыслью, что, быть можетъ, завтра я прочту ужасный манифестъ, который рѣшитъ нашу участь. Бѣдный Пьеръ, бѣдная мама, — у меня нѣтъ другихъ словъ, чтобы выразить то, что я чувствую. А Полина? Переживетъ ли она вѣсть о приговорѣ Александру, о его политической смерти? Его поведутъ на эшафотъ, прочтутъ приговоръ, сломаютъ надъ головою шпагу, но не казнятъ, — его сошлютъ на 5 лѣтъ въ рудники, а потомъ на поселеніе въ Сибирь. Ты, милый другъ, ссылаешься на 15 лѣтъ въ рудники, а потомъ до конца твоей жизни въ Сибирь. Вотъ что сказалъ Сенатъ²⁾. Теперь, что скажетъ государь. Да просвѣтитъ его Господь!..

Моя свекровь³⁾ и Бабетъ⁴⁾ пріѣхали сюда 4-го изъ-за болѣзни тетки Пушкиной, которую онѣ уже не застали въ живыхъ: она скончалась 26-го⁵⁾.

Мама была очень рада пріѣхать сюда, чтобы побыть вмѣстѣ съ Полиной. О, Господи, сохрани нашихъ бѣдныхъ братьевъ!

¹⁾ Комендантомъ Петропавловской крѣпости въ то время былъ Александръ Яковлевичъ Сукинъ.

²⁾ Приговоромъ Верховнаго Уголовнаго Суда А. Н. Муравьевъ, отнесенный къ шестому разряду преступниковъ, былъ осужденъ въ каторжныя работы на 6 лѣтъ и ссылку на поселеніе. П. А. Мухановъ, отнесенный къ четвертому разряду, — къ 15 годамъ каторжныхъ работъ и поселенію.

³⁾ Мать кн. Валентина Мих. Шаховскаго — кн. Елизавета Сергѣевна Шаховская, урожд. Головина.

⁴⁾ „Бабетъ“ — кн. Варвара Михайловна Шаховская, сестра мужа кн. Елизаветы Ал. Шаховской.

⁵⁾ Тетка Пушкина — вѣроятно, гр. Екатерина Яковлевна Мусина-Пушкина, урожд. гр. Брюсъ, супруга гр. Василія Валент. Мусина-Пушкина, двоюроднаго брата матери мужа кн. Елиз. Ал. Шаховской.

Понедѣльникъ, 19 іюля, утро. Охта.

Вѣсти изъ города оказались ложными; приговоръ Александру Муравьеву былъ менѣ суровъ, чѣмъ моему брату. Государь очень смягчилъ приговоръ: онъ сослалъ Муравьева въ Сибирь, но съ сохраненіемъ чина и дворянства¹⁾, тогда какъ мой несчастный братъ лишенъ и чиновъ, и дворянства; надъ его головою сломали шпагу, его ссылаютъ на 12 лѣтъ въ рудники, а потомъ на пожизненное поселеніе. Никто не ожидалъ такого приговора по обвиненію, которое было гораздо легче, чѣмъ обвиненія, предъявленныя другимъ арестованнымъ; они были болѣе виновны, а наказаны менѣ строго. Вотъ точное обвиненіе моего брата: «Произносилъ дерзостныя слова въ частномъ разговорѣ, означающія мгновенный порывъ на цареубійство, и принадлежалъ къ тайному обществу, хотя безъ полнаго понятія о сокровенной цѣли относительно бунта». О, какъ тяжело для всѣхъ насъ будетъ видѣть нашего брата, влачащаго жалкое существованіе въ рудникахъ Сибири и работающаго вмѣстѣ съ убійцами и разбойниками. О, Боже, дай намъ силъ перенести всѣ испытанія, ниспосланныя намъ!

11-го іюля государь подписалъ печальный указъ, сдѣлавшій столько людей несчастными. Въ субботу 17-го, утромъ, мой мужъ, Варвара, Лили и я видѣли бѣднаго брата въ домѣ коменданта. Это была сцена, которую никто не сумѣлъ бы описать. Что касается меня, то, увидѣвъ брата, я едва не упала, вдругъ потерявъ силы; то, что я пережила въ ту минуту, не оставляетъ меня съ тѣхъ поръ. Чувствую, что отнынѣ счастье мое омрачено навѣки.

28 іюля, среда, полдень.

Я пишу на другой день послѣ отъѣзда Полины въ Сибирь (но куда! въ Сибирь—въ Якутскъ, за 9,000 верстъ отсюда)²⁾. Душа моя подавлена безпокойствомъ и горемъ, которое переполняетъ ее. Но не для того, чтобы останавливаться на личныхъ переживаніяхъ, я пишу свой дневникъ, а для того, чтобы лучше сохранить память обо всемъ, что съ нами случилось, чтобы извлечь изъ этого побольше опыта и побольше покорности Провидѣнію. О, если бы не Божья помощь, какъ пережили бы мы всѣ ниспосланныя намъ испытанія.

Съ 22-го до вчерашняго дня я пробыла въ городѣ у мамы, чтобы больше быть вмѣстѣ съ нею и сестрами въ это поистинѣ грустное время. 26-го, въ 9 часовъ вечера, мы узнали, что они готовы къ отъѣзду. Мы рѣшили проводить ихъ до первой станціи. Въ 10 часовъ мы пріѣхали въ церковь Всѣхъ Скорбящихъ. Было какъ-то торжественно и необыкновенно, когда мы входили въ эту великолѣпную церковь. Церковь была освѣщена только лампадами, висѣвшими передъ иконами. Было поздно; насъ было много. Кроме близкихъ, была еще Катенька Головина, м-ль Пучкова, Николай Мухановъ, Галынский³⁾. Двое послѣднихъ и мой

¹⁾ Въ Высочайшемъ Указѣ Верховному Уголовному Суду отъ 13 іюля 1826 г. относительно А. Н. Муравьева сказано: „отставного полковника Александра Муравьева, по уваженію совершеннаго и искренняго раскаянія, сослать на житіе въ Сибирь, не лишая чиновъ и дворянства“.

²⁾ П. М. Муравьева поѣхала въ Сибирь съ двумя дѣтьми и сестрами Варварой и Марфой. Овдовѣвъ, А. Н. Муравьевъ женился 25 янв. 1844 г. на послѣдней. Пріѣхавъ въ Иркутскъ, они всѣ оставались тамъ нѣкоторое время. Потомъ Муравьеву вмѣсто Якутска разрѣшено было жить въ Верхнеудинскѣ.

³⁾ „Катенька Головина“ — Екатерина Ивановна Головина, по мужу Вуичъ, двоюродная сестра (дочь брата матери) мужа кн. Елизаветы Алек. Шаховской. „М-ль Пучкова“ — или довольно извѣстная поэтесса Екатерина Наумовна Пучкова (1792 — 1867), жившая, по пріѣздѣ изъ Парижа, въ августѣ 1826 г. въ домѣ министра А. С. Шишкова.

мужъ, со своими трубками въ рукахъ, имѣли странный видъ. Послѣ службы спросили Бабетъ, куда она ѣдетъ, и у нея не хватило рѣшимости сказать, что они уѣзжаютъ въ Якутскъ. Въ часъ мы прибыли на станцію Пелла, въ 33 верстахъ отсюда. Нельзя описать волненія, въ которомъ мы всѣ были, и опасеній, которыя были у насъ, какъ бы Александръ не поѣхалъ другой дорогой. Наконецъ, наша тревога улеглась, такъ какъ онъ пріѣхалъ ровно въ 3 часа.

Мы, какъ бы сговорившись, сстались у окна, и Полина одна пошла навстрѣчу своему мужу. О, какъ они были счастливы, оказавшись еъ объятіяхъ другъ друга. Черезъ минуту бѣдная Полина упала безъ чувствъ. Александръ былъ слишкомъ слабъ, чтобы отнести ее на верхъ. Мой мужъ и слуга помогли ему. Благодаря принятымъ мѣрамъ, Полина скоро пришла въ себя. Какой трогательной сцены мы были свидѣтелями! Радость ихъ была велика, но къ ней примѣшивались скорбныя воспоминанія о семимѣсячномъ заключеніи и предвидѣніе очень тяжелаго будущаго для всѣхъ разлучавшихся съ ними и провожавшихъ ихъ въ столь отдаленную, холодную и бѣдную страну. Александръ похудѣлъ и страшно измѣнился; отъ него осталось только четверть того, что онъ былъ раньше; черты лица его хранятъ слѣды глубокой скорби. Его казematъ былъ тѣсенъ, и во время заключенія онъ былъ совершенно одинокъ; если же къ нему и приходили офицеры изъ крѣпости, то вовсе не для того, чтобы его утѣшить, поддержать, но чтобы передать ему лживыя сплетни. Даже священникъ, ихъ духовникъ, былъ агентомъ государя, шпиономъ, который испортилъ жизнь многимъ, довѣрившимся ему, въ томъ числѣ и моему брату; я потомъ расскажу объ этомъ, когда буду подробно говорить о нашемъ послѣднемъ свиданіи¹⁾. Невозможно опомниться отъ того, что приходится слышать о жестокости, злоупотребленіяхъ, безсовѣстности въ слѣдственной комисіи, сенатъ тоже велъ себя восхитительно, и, наконецъ, Его Величество. Куда же, наконецъ, скрылось правосудіе? Во всякомъ случаѣ его не слышно въ приговорѣ, вынесенномъ нашимъ несчастнымъ узникамъ.

Только что пришла г-жа Нарышкина; это — жена приговореннаго къ 12-ти лѣтнимъ каторжнымъ работамъ и потомъ къ пожизненной ссылке на поселеніе²⁾.

Четвергъ, 29 іюля, полдень.

Въ прошлый понедѣльникъ я была у моего бѣднаго брата Пьера. Мы съ сестрами видѣли его только одинъ разъ, послѣ того, какъ ему былъ прочтенъ приговоръ. Насъ увѣряли, что Бабетъ и Лили не разрѣшатъ больше свиданія, но я получила разрѣшеніе отъ плацъ-маіора Подушкина, который, кажется, довольно снисходителенъ³⁾.

ва, или ея сестра Наталья Наумовна. Обѣ онѣ служили секретными агентами полиціи „подъ покровительствомъ кн. Алек. Ник. Голицына“. См. письмо М. М. Фока къ А. Х. Бенкендофу изъ Петербурга отъ 14 августа 1816 г. въ „Русс. Стар.“ 1881 г., окт., стр. 312. „Николай Мухановъ“ — Николай Алексѣевичъ Мухановъ, двоюродный братъ кн. Елиз. Алек. Шаховской, въ то время поручикъ л.-гв. гусарскаго полка, отличавшійся при подавленіи возстанія 14-го декабря. „Галынскій“ — Михаилъ Казимировичъ Голынский, мужъ кн. Марьи Михайловны Шаховской, сестры мужа кн. Е. А. Шаховской.

¹⁾ Рѣчь идетъ, конечно, о протоіерей Казанскаго собора Петръ Николаевичъ Мысловскомъ.

²⁾ Елизавета Петровна Нарышкина, урожд. гр. Коновницына, жена полковника Михаила Михайловича Нарышкина, отнесеннаго къ четвертому разряду преступниковъ. Она послѣдовала за мужемъ въ Сибирь.

³⁾ Плацъ-маіоръ Е. М. Подушкинъ отличался жестокостью, пьянствомъ и взяточничествомъ.

Передъ первымъ свиданіемъ я немного боялась, я боялась, что Пьеру будетъ больно видѣть моихъ сестеръ, потому что я знала, какъ онъ ихъ любитъ, и всегда подозрѣвала его въ чувствѣ болѣе нѣжномъ, чѣмъ простая дружба. Я бесконечно боялась вновь разбудить это чувство, которое, если не прошло совсѣмъ, во всякомъ случаѣ могло утихнуть подъ вліяніемъ разлуки и всѣхъ тѣхъ сильныхъ впечатлѣній, которыя братъ испыталъ за время своего тяжелаго заключенія. Подумавъ, я пришла къ заключенію, что мой братъ слишкомъ несчастенъ для того, чтобы свиданіе съ сестрами могло причинить ему еще какую-нибудь боль. Я смотрѣла на него, какъ на человѣка близкаго къ смерти, которому мы должны стараться доставить всѣ возможные радости, не думая о послѣдствіяхъ; можетъ ли ему быть хуже, чѣмъ есть теперь?

Итакъ, мы пріѣхали вмѣстѣ съ сестрами. Мнѣ всегда казалось, что Пьеръ любитъ Лили, но въ это мгновеніе, когда его душа была переполнена чувствомъ, и онъ не могъ его скрыть, я ясно увидала, что сердце его цѣликомъ принадлежитъ Бабетъ... И она, обыкновенно очень скрытная, теперь была такой, какова она и есть на самомъ дѣлѣ, — мнѣ стало ясно, что она любитъ Пьера. Нѣтъ, никогда я не забуду всей этой сцены, ни того, что я увидала, ни того, что я почувствовала, увидавъ моего приговореннаго къ каторгѣ брата, обуреваемого страстью и въ то же время покорно несущаго свой тяжелый крестъ, спокойнаго передъ грядущими невзгодами и великодушнаго, какъ христіанинъ, по отношенію къ виновникамъ его страданій. О, какъ сжалось мое сердце, когда я услышала разсказъ о подробностяхъ его заключенія. Онъ 5 мѣсяцевъ провелъ въ подземельѣ, куда не проникалъ лучъ свѣта и гдѣ лишь горѣла тусклая свѣча, гдѣ ему почти ничего не давали ѣсть и гдѣ единственной книгою у него была Библія. Господь даровалъ ему Свою божественную милость. Онъ поддержалъ его и далъ почувствовать свое милосердіе. О, Боже, какъ мы благодарны Тебѣ за это, и какъ мы молимъ Тебя расточать ему Твое милосердіе непрестанно! Помоги мнѣ сдѣлать все, что въ моей власти, чтобы помочь брату, чтобы облегчить его участь. Научи меня, о, Боже, что я должна сдѣлать для него; какое было бы счастье, если бы я могла хоть чѣмъ-нибудь помочь ему. Храни его, Всевышній, непрестанно. Въ своемъ несчастіи онъ можетъ быть счастливымъ насъ всѣхъ, если Ты приблизишь его къ Себѣ. О, Боже, поддержи его до послѣдняго часа!

При нашемъ второмъ свиданіи Бабетъ дала брату свой портретъ, чрезвычайно удачный. Намъ очень трудно было передать его, такъ какъ крѣпостной адъютантъ былъ тутъ. Но въ то время, когда я, повернувшись къ нему спиной, обняла брата, Валентинъ успѣлъ положить ему на грудь портретъ моей belle soeur. Быть можетъ, онъ заставитъ страдать его, быть можетъ, глядя на него, онъ подумаетъ, что, «если бы Лиза не вышла замужъ за Валентина, я могъ бы быть мужемъ Бабетъ». Но, Боже! Ты знаешь, что я нисколько не думала о томъ, чтобы привлечь Валентина, что я просто его любила, что я просто относилась къ нему и вовсе не старалась привязать его къ себѣ. И это ты дозволилъ, чтобы нашъ бракъ состоялся, потому что чего только ни предпринимали, чтобы разстроить его. И только тогда, когда я думаю, что все совершается по Твоей волѣ, я могу примириться съ мыслью, что мое замужество было преградой для счастья моего брата. Наканунъ отъѣзда Бабетъ увѣрила меня, что и она поэтому же можетъ любить меня и не видѣть во мнѣ человѣка, ставшаго на пути къ ея счастью.

Валентинъ отправился сейчасъ узнать навѣрное, когда отправляютъ Пьера. Онъ долженъ также размѣнять банковый билетъ въ 1000 рублей,

чтобы на первой станціи дать что-нибудь брату. Не могу передать, какъ беспокоится мужъ за всѣхъ заключенныхъ. Онъ совсѣмъ внѣ себя, его душа подавлена этою ужасною казнью: Рылѣевъ, Пестель, Бестужевъ, Каховскій и необыкновенный (sublime) Сергѣй Муравьевъ повѣшены. Говорятъ, что смерть послѣдняго была поистинѣ смертью святого: онъ молился за всѣхъ своихъ враговъ, молился за Россію и нѣсколько разъ за императора. Несчастная веревка, которая должна была прекратить ихъ жизнь, оборвалась, и они упали, уже успѣвъ пережить весь ужасъ безславной смерти. Ожидая починки эшафота, они два часа оставались лицомъ къ лицу съ тѣми двумя (Р. и П.), которые уже перестали жить, и во время этого ужаснаго перерыва Сергѣй Муравьевъ опять молился за государя ¹⁾. Боже, прими в лоно Твое души этихъ страдальцевъ, прости ихъ грѣхъ. Ихъ намѣренія были чисты, и во всемъ, что они предприняли, они желали лишь счастья родины, основаннаго на твердыхъ законахъ, а не на произволѣ единаго деспота. Вотъ письмо, которое Рылѣевъ написалъ своей женѣ за нѣсколько мгновений передъ тѣмъ, какъ идти на казнь. Присоединяю сюда письмо мамы, которое она хочетъ подать государю во время коронаціи съ просьбою облегчить участь брата ²⁾.

19 августа, четвергъ, утроемъ.

Вчера въ 10 часовъ утра пріѣхала мама ³⁾, чтобы повидаться съ братомъ. Мнѣ такъ пріятно, что она испытаетъ радость обнять его, быть можетъ, въ послѣдній разъ. Она намъ рассказала, что дядя Сережа просилъ за брата государя, но что государь отвѣтилъ: „Бѣда, что онъ такъ упрямъ или, лучше сказать, упругъ“ ⁴⁾. Я не знаю, смѣемъ ли мы надѣяться на какое-нибудь облегченіе его участи... Не могу больше продолжать; надо писать моей бѣдной сестрѣ Екатеринѣ, которая осталась одна въ Москвѣ ⁵⁾.

25 августа, среда, 6 час. вечера.

Сейчасъ 120 пушечныхъ выстрѣловъ дали знать намъ о помазаніи

¹⁾ Во всеподданнѣйшемъ донесеніи о казни декабристовъ ген.-ад. Голенищева-Кутузова, присутствовавшего при казни, сказано: „По неопытности нашихъ палачей и неумѣныи устраивать висѣлицы, при первомъ разѣ трое: а именно, Рылѣевъ, Каховскій и Муравьевъ сорвались, но вскорѣ опять были повѣшены и получили заслуженную смерть“. См. „Былое“, 1906 г., мартъ, стр. 232.

²⁾ Вотъ текстъ этого прошенія: „Всемиловѣйшій Государь. Глубокая горестъ, однимъ родительскимъ сердцамъ постижимая, повергаетъ несчастную мать къ священнымъ стопамъ Вашимъ. Давно угрожавшая минута наступила: приговоръ судебный рѣшилъ участь несчастнаго моего сына, бывшаго Ш.К. М. [т. е. штабсъ-капитана Муханова], нѣсколько уже мѣсяцевъ для меня не существующаго. Съ ужасомъ и изумленіемъ слышала я обвиненіе его. Ни данное ему воспитаніе, ни качества его сердца не давали повода подозревать его въ преступныхъ злоумышленіяхъ... Но не оправдывать его дерзаетъ трепещущая мать, Государь! Объ одномъ помилованіи умоляютъ Васъ безмолвныя ея слезы. Какъ образъ Божества на землѣ, окажите безпредѣльность его милосердія. Невидимый шить молитвъ простирается надъ священной Вашею Главою, и ничто не нарушитъ спокойствія благословенной свыше державы Вашей. Примите, Государь, какъ жертву умилоствленія, тридцатилѣтнюю усердную службу покойнаго отца за необдуманнаго сына. Спасите отъ отчаянія злополучную вдову и цѣлое семейство“.

³⁾ Нат. Алек. Муханова пріѣхала въ Петербургъ изъ Москвы.

⁴⁾ „Дядя Сережа“ — Сергѣй Ильичъ Мухановъ, братъ отца кн. Е. А. Шаховской, оберъ-штабмейстеръ съ 1808 г., со смерти Павла I постоянно состоялъ при имп. Маріи Федоровнѣ; на коронацію Николая въ чинѣ дѣйств. тайн. сов. былъ пожалованъ орденомъ Андрея Первозваннаго.

⁵⁾ Сестра кн. Ел. Ал. Шаховской, Екатерина Александровна Муханова въ 1830 г. вышла замужъ за проф. Московскаго университета Арк. Алекс. Альфонскаго.

государя на царство ¹⁾. Я не могу писать много, я черезчуръ взволнована. Съ его коронованіемъ или, вѣрнѣе, его восшествіемъ на престолъ у меня связаны слишкомъ жестокія для меня мысли. Дай Боже, чтобы его помазаніе оказалось болѣе счастливо для насъ, и чтобы онъ соблаговолилъ смилостивиться надъ нашими несчастными. О, Боже, вразуми его! Что мы узнаемъ? Вотъ чѣмъ полна вся моя душа. Какъ я боюсь, что наши надежды окажутся обманчивыми!

Вчера я видѣла моего бѣднаго брата Пьера. Онъ былъ такъ разстроенъ, такъ удрученъ тѣмъ, что Валентину запретили свиданія съ нимъ: только матери, жены и сестры могутъ посѣщать заключенныхъ. Сколько выстрадали мы за этотъ годъ! И когда кончатся наши страданія.

Боже, дай намъ силъ!

Москва, 16 октября 1826 г., суббота, утро.

23-го прошлаго мѣсяца, въ четвергъ утромъ, я видѣла въ послѣдній разъ моего брата Пьера. Мы думали, что послѣднее свиданіе съ дорогимъ и несчастнымъ другомъ переполнить чашу нашихъ страданій. Но мужъ, который послѣ нѣсколькихъ тщетныхъ попытокъ снова былъ на свиданіи у брата, до извѣстной степени отвлекъ его отъ его горя и сдѣлалъ менѣе мучительными послѣднія минуты прощанія. Мы оставались вмѣстѣ около двухъ часовъ; каждый изъ насъ сдерживался и, за таивъ горе, старался не внести смятенія въ душу другого. Всю тяжесть пережитаго мы ощутили только разставшись. О, какое тяжелое это было состояніе! Я отправилась благодарить плащ-майора и его дочь за все, что они сдѣлали, чтобы облегчить наше положеніе и устроить болѣе удобно наши свиданія съ братомъ. Благодареніе Богу, что въ крѣпости нашлось нѣсколько благородныхъ людей. Идя къ нимъ, я сильно плакала. Одинъ лакей, который, очевидно, принадлежалъ кому-то, бывшему въ такомъ же положеніи, какъ мы, сказалъ мнѣ: „Кажется, онъ для васъ остановился“. И я увидѣла, что Пьеръ смотритъ на насъ у двери своего каземата. Адъютантъ остановилъ его, поручивъ его часовому. Мы еще разъ издали безмолвно простились взглядами; онъ вошелъ въ свою тюрьму, а я, едва держась на ногахъ, съ трудомъ дошла до дома Подушкина. Гдѣ и какъ увижу я вновь моего дорогого, горячо любимаго брата. Мнѣ кажется, что никогда я его такъ не любила, какъ со времени случившагося съ нимъ несчастья.

Въ тотъ же день, послѣ обѣда, мы покинули Петербургъ и послѣ благополучнаго путешествія 26-го пріѣхали сюда. Всѣхъ нашихъ мы нашли здоровыми, но очень опечаленными.

19 октября, вторникъ.

Сегодня недѣля, какъ я разсталась съ мужемъ. Онъ уѣхалъ въ Колпь ²⁾, чтобы повидать Клеопатру ³⁾ и заняться дѣлами Колпи, имѣнія такъ запущеннаго, а также дѣлами Ботова. Отсутствіе мужа съ каждымъ днемъ становится все ощутительнѣе для меня; каждая разлука съ нимъ причиняетъ мнѣ настоящее страданіе, я считаю часы и минуты; возвращеніе его доставитъ мнѣ большую радость, особенно, если съ Божьею помощью онъ вернется здоровымъ. Я такъ боюсь за него. Послѣднія не-

¹⁾ 26 августа М. М. Фокъ писалъ изъ Петербурга къ Бенкендорфу въ Москву: „Вчера, въ 2 часа 40 минутъ пополудни, пріѣхалъ сюда фельдъегерь, а за нимъ въ 5 часовъ 13 минутъ, графъ Комаровскій. Спустя четверть часа, пушка возвѣстила о коронаціи, и вѣсть эта мгновенно произвела самое поразительное дѣйствіе“. „Рус. Стар.“ 1881 г., окт., стр. 325.

²⁾ Бѣлая Колпь—имѣніе кн. Шаховскихъ въ Волоколамскомъ уѣздѣ, Моск. г.

³⁾ Кн. Клеопатра Михайловна Шаховская—младшая сестра кн. Вал. Мих. Шаховского.

дѣли въ Петербургѣ онъ такъ плохо себя чувствовалъ; каждый день у него была лихорадка, и она такъ его истощила, и онъ такъ похудѣлъ, что тѣ, кто его не видали нѣкоторое время, находили, что онъ сильно измѣнился. Я очень боюсь, какъ бы теперешняя сырая погода не повредила бы ему, какъ бы не вернулась къ нему лихорадка; это привело бы меня въ отчаяніе. Теперешняя лихорадка весьма злокачественная; только и слышишь о потрясающихъ смертяхъ. Вчера я навѣщала м-мъ Тучкову, которая потеряла единственного пятнадцатилѣтняго сына, послѣднее утѣшеніе несчастной вдовы. Положеніе ея очень тяжело; чувствуется душевная борьба между большимъ горемъ и глубокою религіозностью¹⁾. О, если бы Господь поддержалъ ее; ей такъ нужна Его помощь. Она вызываетъ глубокую жалость; вчера послѣ свиданія съ ней я была разстроена цѣлый день. Господи, храни моего горячо любимаго Валентина; я такъ боюсь, что онъ вернется больной. Сегодня я должна получить первое письмо отъ него; что-то причесетъ оно мнѣ? О если бы это были добрыя вѣсти; я не могу представить себѣ, какъ бы я страдала, узнавъ, что Валентинъ боленъ. Меня пугаютъ лихорадки этого времени года.

25 ноября, четвергъ, утро.

Мы рѣшительно обосновались въ Москвѣ. Мой мужъ назначенъ адъютантомъ кн. Голицына²⁾ на время поѣздки его генерала за границу. Это назначеніе не очень радуетъ меня. Я предпочла бы провести зиму въ Колпи.

Я лучше хотѣла бы, чтобы Валентинъ занялся приведеніемъ въ порядокъ имѣнія; это не мѣшало бы при нашихъ затруднительныхъ обстоятельствахъ. Такъ жить, какъ мы живемъ,—больше нельзя. За эти 11 мѣсяцевъ мы получили только 3500 рублей; и за это же время мы должны были снарядить въ дорогу брата Пьера, Валентинъ долженъ былъ съѣздить въ Одессу; поѣздка въ Петербургъ и 5 мѣсяцевъ жизни стоили намъ тоже порядочно. Но Валентинъ не хочетъ заняться Колпью до тѣхъ поръ, пока мама имѣетъ какое-нибудь отношеніе къ ней: неизбѣжныя реформы могли бы быть непріятны ей. Мама хочетъ поселиться въ Покровскомъ, но, кажется, ей довольно трудно рѣшиться на это. Въ результатъ наши денежныя дѣла остаются все въ томъ же положеніи; это не беспокоитъ меня, потому что нельзя быть удовлетворенной во всѣхъ отношеніяхъ въ этомъ мірѣ, а по сравненію съ другими у меня много преимуществъ, поистинѣ не заслуженныхъ мною.

Мы получили печальное извѣстіе, что 23-го прошлаго мѣсяца Пьеръ выбылъ изъ Петербургской крѣпости, и мы не знаемъ, куда отправили его. Насъ увѣряютъ, что онъ въ Финляндіи, въ крѣпости Свеаборгъ, подъ надзоромъ коменданта Берга, прекраснаго человѣка. Но это только *говорятъ*, и можно ли этому вѣрить³⁾. Судьба бѣднаго брата очень беспокоитъ и волнуетъ насъ; да иначе и быть не можетъ. Тѣмъ болѣе, что мы знаемъ отъ нашихъ сестеръ изъ Иркутска, что Трубецкой и другіе отправлены въ Нерчинскъ, на работы, и что жена князя не получила разрѣшенія слѣдовать за нимъ туда. Все это грустно, очень грустно. Да поддержитъ Господь бѣднаго брата!

¹⁾ Тучкова—Маргарита Михайловна, урожд. Нарышкина, супруга Александра Алексѣевича, убитаго въ сраженіи подъ Бородинымъ. Умершій единственный сынъ ея—Николай Алекс. Вслѣдствіи она основала Спасо-Бородинскій монастырь, гдѣ и была настоятельницей до своей смерти.

²⁾ Московскаго генераль-губернатора.

³⁾ П. А. Мухановъ изъ Петропавловской крѣпости былъ переведенъ въ Выборгскую, а не въ Свеаборгъ.

1827 г. Колпь, 13 января, четверг.

Итакъ, мы прїѣхали въ Колпь, какъ владѣльцы этого имѣнія. Мы думаемъ провести здѣсь два мѣсяца, такъ какъ мужъ намѣренъ хорошенько ознакомиться съ дѣлами и привести ихъ немного въ порядокъ.

Имѣя 700 крестьянъ и 18000 для ежегоднаго расхода, не мѣшаетъ думать о своихъ финансахъ. Я очень хотѣла бы немного помочь въ этомъ скучномъ дѣлѣ, но чувствую себя неспособною къ этому. Но все-таки я приложу всѣ усилія къ тому, чтобы установить порядокъ и экономію въ моемъ хозяйствѣ.

Я во многихъ отношеніяхъ въ восторгѣ оттого, что я здѣсь. Во первыхъ оттого, что деревенская жизнь, повидимому, нравится Валентину во-вторыхъ оттого, что, не принимаясь за большія улучшенія, мы можемъ составить себѣ представленіе о томъ, что мы имѣемъ, и, наконецъ, я рада, что мужъ уѣхалъ изъ Москвы, ставшей для него невыносимой. Тамъ всѣ такъ потрясены и удручены всѣмъ тѣмъ, что приходится слышать. Всѣ принимаютъ живое участіе въ страдальцахъ, осужденныхъ на каторгу, и принимаютъ близко къ сердцу то, что говорятъ о нихъ. Глубокое впечатлѣніе произвело на меня рѣшеніе бѣдной гр. Муравьевой, отправившейся въ Нерчинскій острогъ. Она навсегда распрощалась съ семьею своего мужа, со своею семьею, *своими тремя дѣтьми!* Что за прощаніе! Какъ человѣкъ можетъ перенести это ¹⁾.

Кроме дневника кн. Е. А. Шаховской, в архиве кн. Шаховских сохранились еще черновики пяти писем 1826 года: двух — кн. Е. А. Шаховской к А. И. Муханову в Москву и к П. А. Муханову в Петропавловскую крепость и трех — к нему же кн. В. М. Шаховского.

Являясь прекрасным дополнением к дневнику, письма эти имеют крупный историко-бытовой интерес: в обширной литературе о декабристах, представляющей в большей своей части воспоминания, писавшиеся, притом, часто спустя много лет после событий, о которых повествуется в воспоминаниях, подобного рода документов имеется очень немного.

Первое из печатаемых писем написано кн. Е. А. Шаховской к дяде ее Алексею Ильичу Муханову (ум. 23 янв. 1832 г. 79-ти лѣтъ), бывшему очень близким лицом к императрице Марии Феодоровнѣ ²⁾. В 1800 г. он был назначен почетным опекуном при московском воспитательном доме, а в 1822 г. получил чин действ. тайн. советника.

Извещая брата об его смерти, А. Я. Булгаков писал: «почтенный старичок Алексей Ильич Муханов... был всеми уважаем, всю жизнь служил отлично, называли его *la perle des Mуханов*... Все о нем жалуют» ³⁾.

Неизвестно, сделал ли он что-нибудь для облегчения участи своего племянника.

¹⁾ Александра Григорьевна Муравьева, урожд. гр. Чернышева, супруга Никиты Михайловича Муравьева, оставивъ у своей матери сына и двухъ дочерей, поехала къ мужу въ Сибирь, где и скончалась 22 ноября 1833 г.

²⁾ Рескрипты ее к А. И. Муханову в числе 234 за 1800—1828 гг. напечатаны в особом сборнике, изданном в Москве в 1886 г.

³⁾ „Русский Архив“ 1902 г., № 2, стр. 272—3. Биографическіе сведенія об А. И. Муханове см. в указанной книгѣ А. А. Сиверса.

Письмо кн. Е. А. Шаховской къ А. И. Муханову изъ Петербурга въ Москву¹⁾.

[1826 г., между 17 июля и 22 августа].

Алѣ. [ксѣю] Ил. [ьичу] Мух. [анову].

Дружба, всегда существовавшая между вами и покойнымъ моимъ отцемъ, даетъ мнѣ право Л. [юбезный] Д. [ядюшка] къ вамъ отнестись въ такомъ случаѣ, гдѣ вы можете оказать брату моему тоже самое родительское попеченіе и заботливость, которыя вы всегда имѣли объ моемъ батюшкѣ. Вамъ конечно уже извѣстно горестное рѣшеніе участи Петра, за необдуманная его слова; вы можете легко вообразить, сколь тяжело для насъ всѣхъ его заточеніе, но въ то время, когда мы навѣкъ должны съ нимъ разстаться, я рѣшаюсь, Люб. [езный] Дя. [дюшка], просить васъ, ежели возможно, прибѣгнуть къ Им. [ператрицѣ] М. [аріи] Ф. [едоровнѣ] и молить ее, чтобы она изходатайствовала у Императора облегченіе участи несчастнаго брата моего. Ваша долговременная служба даетъ столько силы вашей прозбѣ, и ежели вы уговоритъ Дя. [дюшку] С. [ергѣя] Ил. [ьича]²⁾ тоже принять на себя трудъ просить Ея В. [еличество], вы намъ черезъ сіе дадите надежду, что можетъ быть во время Коронаціи мы получимъ утѣшительное извѣстіе, что жребій бѣднаго Петра облегченъ. Я увѣрена, что вы не отвергните сдѣлать намъ благодѣяніе, которое можетъ хотя несколько утѣшить скорбную мать и насъ всѣхъ. Я видѣла несчастнаго своего брата, не могу вамъ описать, сколь свиданіе сіе было для насъ тяжело, его душа кажется находится въ такомъ разположеніи, какъ бы онъ долженъ былъ въ скоромъ времени предстать предъ Богомъ, всѣ связи съ симъ миромъ прерваны, онъ сохранилъ только горестное чувство, быть причиной еще новаго несчастія для матушки, которая въ свою жизнь ихъ столько испытала; онъ препоручилъ мнѣ просить васъ, не лишитъ его вашихъ молитвъ. Я увѣрена, Любезной и Почтенный мой Дядюшка, что вы не откажете ему ваше благословеніе. Я не знаю еще, когда я буду имѣть удовольствіе возвратиться къ вамъ. Нашъ отъѣздъ отъ сюда зависитъ отъ отпращиванія брата, мы не можемъ рѣшиться его оставить, когда наши малыя пособія могутъ ему быть нужны. Здоровье мое теперь лучше, но грусть моя неизяснима.

Письмо кн. Е. А. Шаховской къ П. А. Муханову в Петропавловскую крѣпость³⁾.

30 августа (1826 г.).

Мнѣ не слѣдовало бы писать тебѣ сегодня, мой дорогой другъ. Я могу подѣлиться съ тобою тяжелыми впечатлѣніями, которыя гнетутъ меня съ тѣхъ поръ, какъ вышелъ манифестъ и нѣтъ больше ничего утѣшительнаго для насъ. Ахъ, какъ много нужно мужества и вѣры, чтобы смириться предъ этимъ новымъ горемъ; я говорю—новымъ потому, что сердце мое укрѣпилось въ надеждѣ, что ты получишь нѣкоторое облегченіе. Но сейчасъ, какъ я могу выразить все то, что я чувствую теперь. Но нѣтъ, мой братъ, я не буду останавливаться на своихъ соб-

¹⁾ Печатается съ соблюденіемъ орфографіи подлинника.

²⁾ Сергій Ильичъ Мухановъ (1762—1842), съ 1803 г. оберъ-шталмейстеръ, такъ же, какъ и братъ его, былъ въ большой милости у имп. Маріи Феодоровны, при которой состоялъ со смерти Павла I.

³⁾ Подлинникъ по-французски.

ственныхъ чувствахъ. Вѣдь мы, свободно дышашіе воздухомъ, не заключенные въ темницу, мы должны бы приносить вамъ, несчастнымъ узникамъ, хоть сколько-нибудь утѣшенія. Но горе удручаетъ насъ, и мы можемъ подѣлиться съ вами только нашими страданьями. По крайней мѣрѣ, ты знаешь, что мы страдаемъ за тебя. Будемъ молить Бога укрѣпить насъ всѣхъ. Спасибо за субботу, мой дорогой Пьеръ; мнѣ было очень пріятно хоть нѣкоторое общеніе съ тобой.—Изъ Италіи нѣтъ писемъ, нѣтъ и изъ Москвы послѣ письма Лили, изъ котораго я сдѣлала для тебя кое-какія выдержки. Отъ сестры Екатерины нѣтъ писемъ съ 16-го. Это меня очень беспокоитъ; вотъ уже 15 дней, какъ она не писала намъ; что бы это могло значить? Мама тоже обезпокоена за нее. Мой мужъ постоянно разстроенъ; онъ такъ слабъ, худъ, блѣденъ, ничего не ѣстъ; это беспокоитъ меня. Сохрани Богъ, если онъ сляжетъ. Между прочимъ онъ намѣренъ сегодня отправиться въ городъ за справками относительно тебя. Жизнь въ Охтѣ очень стѣсняетъ насъ. Нанять лошадей—ужасно дорого; поэтому мнѣ нельзя никого видѣть. Чаше я съ Паниной; но я не могу этого. Лили писала мнѣ въ послѣдній разъ, что она не отправила Б. тѣхъ писемъ, которыя я *оставила ей*; она боялась, какъ бы они не пропали въ дорогѣ. Она хотѣла выслать ихъ тогда, когда Б. будетъ уже на мѣстѣ. Я не понимаю, почему она не написала ни мнѣ, ни въ Москву. Правда, можно найти тысячи объясненій, какъ, напримѣръ, почта отправилась изъ города наканунѣ ихъ пріѣзда со всѣми этими вещами. Но завтра—уже 3 недѣли, какъ они въ дорогѣ, а мы только разъ получили отъ нихъ письма. Я не знаю, куда имъ писать; Иркутскъ представляется мнѣ такимъ далекимъ; также и Б., которая просила меня почаще сообщать о здѣшнихъ новостяхъ. Итакъ, мой другъ, дѣла не совсѣмъ хороши; и это лишаетъ меня мужества и всякихъ силъ; я только предаюсь моему горю. Я не могу оторваться мыслью отъ тебя; днемъ и ночью, во снѣ и наяву я печальна и занята все тобою. Я не могу представить себѣ, что мы вдругъ разстанемся и не будемъ въ состояніи больше увидѣться; это—ужасно. Еще три ужасныхъ дня до четверга, когда я смогу, по крайней мѣрѣ, принести тебѣ кое-какія добрыя вѣсти: для *тебя* и для нашихъ путешественниковъ. А кругомъ всѣмъ такъ весело, всѣмъ—кромѣ насъ несчастныхъ. Христосъ съ тобою; получилъ ли ты лѣкарство? Одного изъ Мухановыхъ ¹⁾ сдѣлали камеръ-юнкеромъ. Для... ²⁾

Письма кн. В. М. Шаховского къ П. А. Муханову въ Петропавловскую крѣпость ³⁾.

1.

11 Августа въ крѣпость, писанно лимономъ посланно съ фруктами.

Любезный другъ, мы узнали рѣшительно, что еще никакого нѣтъ повѣленія на щетъ твоего отправленія, получено приказаніе отправить четырнадцать человекъ, изъ которыхъ 7 уже отправлены, а другіе уйдутъ черезъ нѣсколько дней. Ты не въ этомъ числѣ, и слѣдовательно

¹⁾ По случаю коронации.

²⁾ Окончания не сохранилось.

³⁾ Черновики писемъ (печатаются съ соблюденіемъ орфографіи подлинниковъ) не имѣютъ подписи, но изъ сравненія содержанія ихъ съ дневникомъ кн. Е. А. Шаховской видно, что это—письма ея мужа кн. В. М. Шаховского.

мы можем надѣяться тебя еще видѣть въ будущій вторникъ, развѣ получится какое нибудь приказаніе, котораго до сихъ поръ нѣтъ, мѣсто назначенія также неизвѣстно. Мой милый, не могу изобразить тебѣ, какъ грустно знать тебя въ такомъ несносномъ положеніи, а думать, что можетъ быть скоро прервутся всѣ наши сношенія, еще несноснѣе; надежда на Бога и увѣренность, что люди сами по себѣ ничего не могутъ сдѣлать, немного успокоиваетъ, но неизвѣстность пугаетъ, ты одинъ можешь утѣшать насъ, тягостное заточеніе и страданіе сблизили тебя съ истинною и вѣрно открыли вещи совсѣмъ въ другомъ видѣ. Пожалосто напиши мнѣ, въ какомъ ты состояніи при свиданіяхъ свобода въ словахъ такъ ограничена, что ничего другъ другу высказать нельзя, а тайныя наставленія Коменданта могутъ тебя заставлять казаться совершенно другимъ, чѣмъ ты есть. Прошу тебя еще разъ, мой милой другъ, быть съ нами, какъ можно откровеннѣе и быть увѣрену, что мы оцѣнимъ твою довѣренность. Неужели ты думаешь, что привязанность твоя къ В. [арварѣ] можетъ переменить наши сношенія съ тобою ¹⁾, мы ли не постигнемъ сердечныхъ чувствъ, ежели глупые предрассудки людей могутъ положить преграду для ихъ счастья, то сія преграда не можетъ существовать для сердца, которое не можетъ быть связано воображаемыми узами. Прошу вѣрить, что ты всегда найдешь во мнѣ человѣка готоваго все дѣлать, что отъ него зависитъ, дабы усладить твою участь и переменить твои горести въ счастье.—Милой мой, съ удовольствіемъ продлилъ бы еще сіе письмо, но боюсь исписать слишкомъ много бумаги и оставить для тебя слишкомъ мало чистой. Дня черезъ два мы тебѣ еще напишемъ съ какой-нибудь посылкой. Прощай, мой милой другъ.

2.

[1826 г., августъ, послѣ 24.]

Любезный другъ, къ несчастію новость, которую я сообщилъ тебѣ въ пятницу, не подтверждается, мы ждемъ и всякой день надежда по немногу покидаетъ, до сихъ поръ ничего нѣтъ, вышелъ обыкновенной милостивой манифестъ, но объ васъ нѣтъ ни слова, не могу изобразить тебѣ, какъ томительно и горестно такое ожиданіе, намъ столько надавали надеждъ на коронацію, что мы ожидали сего времени, какъ спасенія; ремаковская [?] новость подкрѣпила наши надежды, а теперь кажется, что васъ во второй разъ приговорили къ каторгѣ, что мучительно. Впрочемъ, милой мой, не предавайся совершенно горю, огблескъ надежды еще не совсемъ пропалъ, утверждаютъ, что нынѣшней день выйдетъ то, что мы такъ пламенно желаемъ, дай Богъ чтобъ это было справедливо, слезы и молитвы несчастныхъ не пропадаютъ даромъ передъ Господомъ, неужели не утѣшитъ онъ насъ въ тяжкомъ крѣстѣ, которой ему угодно было намъ послать; со всемъ тѣмъ признаюсь тебѣ, что я въ странномъ состояніи, шумъ и веселіе кругомъ, горестъ и скорбь внутри; беспокойство, ожиданіе, надежда, страхъ, все такъ волнуетъ душу, что право ни минуты покоя нѣту, Господи, когда это все кончится.—Благодарю за субботу, она была тѣмъ пріятнѣе для насъ, что была вовсе неожиданно ²⁾. Я самъ думаю, что отъѣздъ не замѣдлитъ, очень боюсь, но кажется могу надѣяться на вѣрно узнать день онаго; 3 лица играющія въ ономъ роли дали мнѣ честное слово меня увѣдомить. [не разобр. одно слово] видѣлъ на дняхъ, хочу завтра къ нему ѣхать, здоровѣ

¹⁾ См. выше дневникъ кн. Е. А. Шаховской, стр. 109.²⁾ Очевидно, говорится о письмѣ П. А. Муханова изъ крѣпости.

мое немного лучше, я еще довольно слабъ, но кажется начинаю оправляться. Отправить посылку къ Кор.¹⁾ нельзя, потому, что позволено посылать только роднымъ, а извѣстно, что у него здесь никого нѣтъ, и потому можетъ быть не доставятъ. Всякой день выходятъ новыя притесненія, и Ком. [ендантъ] становится не приступчивѣе. Два обстоятельства причиною отказа мнѣ съ тобою видѣться, во первыхъ пріѣхалъ сюда Г. [графъ] Панинъ съ женой и привезъ имѣнное позволеніе видѣться съ зятемъ своимъ Толстымъ²⁾, изъ сего Ком. [ендантъ] заключилъ, что зять, не имѣющій такового позволенія, не можетъ видѣться, во вторыхъ, Г-ня Чернышева, которой онъ всегда запрещалъ видѣть зятя ея Н. Муравьева³⁾, пріѣхала и настоятельно требовала позволенія, говоря, что она въ противномъ случаѣ напишетъ къ Госу. [дарю]. Ком. [ендантъ] ужасно разсердился и тутъ же объявилъ, что никто изъ зятей не будетъ видѣться и такимъ образомъ отняли у меня совершенно безъ всякой другой причины единственной отрадной часъ, которой я имѣлъ въ недѣли. Отсрочка до четверга также кажется положительной, я поѣду нынче въ Крѣпость, но не имѣю никакой надежды въ успѣхѣ. Прощай, любезной другъ, душевно тебя обнимаю, будь здоровъ и твердъ.—Ежели что нибудь узнаемъ, то немедленно тебя уведомимъ.

3.

[1826 г., сентябрь, не позднѣе 23-го].

Любезной другъ, съ великимъ удовольствіемъ узналъ, что мы понапрасно опасались и страшились, и что мы можемъ еще тебѣ писать; вчера не могъ и то сдѣлать, потому что все утро ѣздилъ за разными приготовленіями къ дорогѣ и возвратился домой только къ обѣду, а писать лимономъ беретъ столько времени, что ежели начать послѣ обѣда, то поспѣешь только къ вечеру, когда уже поздно посылать. Вчера Щер. [батовъ?]⁴⁾ обѣдалъ у насъ и рѣшительно обѣщался уведомить, когда тебя отправятъ, онъ утверждаетъ, что это будетъ еще скоро. Это даетъ мнѣ надежду, что мы не въ послѣдній разъ съ тобою простились. Грустно, мой милой, очень грустно покидать тебя здесь, жаль и за себя и за тебя, когда вздумаешь, въ какомъ ты останешься уединеніи, то право въ состояніи все бросить и остаться здѣсь; но мой милой, я не хочу растревлять съ ново твое горѣ, ежели бы могъ я бы старался подкрѣпить и утѣшить тебя, но что я могу для сего сдѣлать. Благодарю за всѣ твои письма въ субботу, говорятъ, что уже нельзя намъ будетъ сообщаться симъ средствомъ, жаль одинъ разъ только въ недѣлю будемъ получать извѣстіе объ тебѣ. Всѣ твои требованія будутъ исполнены, всѣвозможные мѣры предприиму, что бы тебя увидать не въ Ярославлѣ,

¹⁾ «Кор.»—А. О. Корниловичъ, пріятель П. А. Муханова, тоже привлеченный къ дѣлу декабристовъ и отнесенный такъ же, какъ и Мухановъ, къ IV разряду, приговоромъ суда былъ осужденъ на 15 лѣтъ каторги и ссылку на поселеніе.

²⁾ Гр. Александръ Никитичъ Панинъ (1791—1850) былъ женатъ (съ 29 апр. 1823 г.) на Александрѣ Сергѣевнѣ Толстой, сестрѣ декабриста, прапорщика Московскаго полка, Владиміра Сергѣевича Толстого.

³⁾ «Чернышева»—одна изъ сестеръ декабриста гр. Захара Григорьевича Чернышева и жены декабриста Никиты Мих. Муравьева, урожд. гр. Александры Григ. Чернышевой—Сфѣя или Наталья или Елизавета. Мать ихъ—гр. Елизавета Петровна Чернышева в Петербургѣ ѣздить въ это время не могла, такъ какъ была разбита параличомъ. См. Записки гр. М. Д. Бутурлина в «Русск. Арх.» 1897. № 5, стр. 39—44, 72—74.

⁴⁾ Вѣроятно, кн. Павелъ Петровичъ Щербатовъ (1762—1831), дѣйств. тайн. совѣтникъ, сенаторъ. Онъ былъ женатъ на гр. Анастасіи Валентиновнѣ Мусиной-Пушкиной, воюродной сестрѣ матери кн. В. М. Шаховскаго, мужа кн. Е. А. Шаховской.

а на второй станціи проѣхавъ сей городъ, ибо тутъ будетъ спокойнѣе. На щетъ Тати [шева ?]) еще разъ повторяю тебѣ, что и пробовать нечего, онъ никакого вліянія не имѣетъ на Ком. [енданта], которой мамонится, когда хотятъ взять приступомъ, можетъ быть онъ пуститъ меня на мѣсто виновницы, которая мнѣ оное уступаетъ на сей разъ. Я долго думалъ о проектѣ, чтобы виновница писала къ Го. [сударю ?] съ приложеніемъ манускрипта Му. [равьева?], мнѣ кажется онъ воевѣ неудобенъ, ибо очень натурально, что сдѣлаютъ вопросъ, какимъ образомъ онъ попалъ въ ея руки, и сіе можетъ причинить розысканія; я думаю лучше, чтобы она просто написала, приготовь брульонъ, ты лучше насъ его сочинишь, но не думай объ матери, она право во все не нужна и облегченіе твоей участи должно быть гораздо предпочтительнѣе ²⁾. Любезной другъ, завтра еще что нибудь пришлемъ, а теперь писать некогда, пропасть хлопотъ для отъѣзда, Богъ знаетъ отъ куда они берутся. Прощай, цѣлую тебя нещетно разъ, да хранить тебя Богъ, помолись, чтобы онъ смягчилъ сердце Ком.[енданта] черезъ мѣру грустно будетъ уѣхать не посидѣвъ часа полтора съ тобою.

¹⁾ Вѣроятно, гр. Александръ Ивановичъ Татищевъ, бывший въ это время военнымъ министромъ и председателемъ Слѣдственной Комиссіи по дѣлу декабристовъ.

²⁾ Смыслъ этого мѣста письма для насъ неясенъ.

Неизданные письма Пушкина.

Печатаемое письмо и две записки А. С. Пушкина найдены нами в тетради известного издателя „Русского Архива“ П. И. Бартенева. В тетрадь эту покойный биограф поэта еще в 1850-х годах списывал с тогда еще неопубликованных подлинников письма Пушкина, а также вклеивал печатный текст писем, появившихся в журналах.

Все письма, с которых Бартенов снял копии, впоследствии были, конечно, опубликованы, за исключением двух записок и одного письма, которые до сих пор не появлялись в печати, очевидно, потому, что Бартенов, не просматривая своей старой тетради, забыл о их существовании ¹⁾.

I.

Записка А. С. Пушкина к кн. П. А. Вяземскому.

На стр. 184 тетради Бартенева его рукой написано:

„Баратынской у меня — я їду часа через 3. Обїда не дождусь, а будетъ у насъ завтракъ въ родѣ *en petit souagė*.—Постараемся напиться не *en grand cordonnier*, как сапожники — а такъ, чтобъ быть *en petit souagė*, под куражемъ—Прїѣзжай, мой Ангелъ.

Копія с собственноручной записки Пушкина, писанной на клочекъ бумаги и сообщенной мнѣ С. Д. Полторацким; по словамъ сего послѣдняго, она написана къ Вяземскому. На оборотѣ оригинала написано, не знаю кѣмъ: „Записка Александра Пушкина къ Вяземскому. 7-го Января 1829. Москва“.

6-го декабря 1828 г. Пушкин из тверского имения Вульфовъ „Малинники“ приехал в Москву. „В Крещение (6-го января 1829 г.) приѣхал к нам в Старицу Пушкин“, — записал в своем дневнике А. Н. Вульф ²⁾. Если принять дату печатаемой записки, написанной Пушкиным в день его отъезда из Москвы в Старицу, то в „Дневнике Вульфа“, нужно думать, — небольшая неточность: вероятно, в Старицу Пушкин приехал не 6-го, а 8-го января. Расстояние между Москвой и Старицей по тогдашней почтовой дороге (через Тверь) — 231 верста.

Через день после отъезда Пушкина из Москвы, Вяземский писал А. И. Тургеневу, что Пушкин в Москве часто бывал у Корсаковых и посещал цыганок. В Тверской губернии, у Вульфов, Пушкин тоже

¹⁾ Тетрадь эта в настоящее время принадлежит Л. Э. Бухгейм, которому и приносим нашу благодарность за разрешение напечатать письма Пушкина.

²⁾ См. «Пушкин и его современники», вып. XXI—XXII, стр. 50.

³⁾ См. Сборник Бартенева А. С. Пушкин. П. М. 1885, стр. 41.

часто бывал en petit courage, о чем вспоминал Вульф в своем дневнике.

Баратынской—поэт Е. А. Баратынский, живший в это время в Москве.

II.

Записка Н. С. Пушкина к С. Д. Полторацкому.

На стр. 186 тетради П. И. Бартенева написано:

„Записка къ С. Д. Полт.

Ты совершенно забылъ меня, мой милый.

А. П.

Писана карандашемъ, равно какъ и адресъ:

Сергѣю Дмитриевичу Полторацкому.

Запечатана чернымъ сергучемъ и печатью, имѣющею видъ рѣдкаго рѣшета. Отмѣтка рукой С. Д. П-го: 25-го Марта 1829. Москва“.

Сергей Дмитриевичъ Полторацкий (1803—1884)—известный библиограф, собравший ценнейшую библиотеку в своем имении Авчурино Калужской губернии. С. Пушкиным он познакомился по приезде поэта в Москву из Михайловского в 1826 г. Сближению их, вероятно, способствовало то обстоятельство, что Сергей Дмитриевич был двоюродным братом известной Анны Петровны Керн, урожденной Полторацкой. Пушкин бывал в доме родителей Полторацкого (у Калужских ворот) и во время одного из таких посещений собственноручно вписал в альбом Сергея Дмитриевича две последние строфы стихотворения „Кинжал“.

В письмах поэта имя С. Д. Полторацкого упоминается два раза в связи с карточной игрой. В письме к С. А. Соболевскому (от 15 июля 1827 г.) Пушкин пишет о деньгах, „в поте лица выпонтированных у нашего друга Полторацкого“, а в письме к кн. П. А. Вяземскому (от 1 сентября 1828 г.) вспоминает, как с Н. Д. Киселевым и С. Д. Полторацким летом 1828 г. „в ненастные дни собирались они часто, гнули, Бог им прости, от 50-ти на 100. И выигрывали и отписывали мелом. Так в ненастные дни занимались они делом“. Может быть, и публикуемая ласковая записочка поэта приглашает приятеля на это же „дело“, написана она во время почти двухмесячного пребывания Пушкина в Москве (март—апрель 1829 г.), проездом из Петербурга на Кавказ.

III.

Письмо Н. С. Пушкина к С. Л., Н. О. и О. С. Пушкиным.

На стр. 191—2 тетради Бартенева его рукой написано:

„Копія съ письма, находящагося у А. И. Васильчиковой въ Альбомѣ.

Mes chers Parents, j'ai reçu encore deux de vos lettres. Je ne puis vous repondre que ce que vous savez déjà: que tout est arrangé, que je suis le plus heureux des hommes et que je vous aime de toute mon âme.

Sa Majesté m'a fait la Grâce de me témoigner sa bienveillante satisfaction du mariage que je vais contracter. Elle m'a permis d'imprimer ma tragédie comme je l'entendais. Dites le à mon frère pour qu'il le redise à Pletnef qui m'oublie par parenthèse ainsi que Delvig.

J'ai remis votre lettre à M^{lle} Gontcharof, je suppose qu'elle va vous répondre aujourd'hui. Mon oncle Матв. Мих. s'est présenté chez elle avant-hier, lui et ma tante ont pris la plus grande part à mon bonheur ¹⁾ (je suis tout étourdi d'employer cette expression). Il y a quelques jours que je n'ai vu mon oncle Вас. Льв. Je sais, qu'il va mieux.

Merci, ma chère Olga, de votre amitié et de vos compliments. J'ai lu votre lettre à Natalie, qui en a ri et qui vous embrasse.

Je vous embrasse aussi mes chers Parents. Peut-être ces jours-ci ferai-je un voyage à Kalouga chez le grand père de Natalie. Je voudrais bien que la noce se fut avant le carême qui va venir. Adieu encore une fois.

3 Mai.

(„Сообщено матерью Пушкина А. И. Васильчиковой. Пушкин предлагал потомъ послѣдней нѣсколько своихъ автографовъ, лишь бы она ему отдала это письмо, но она не согласилась“).

Перевод.

Дорогие родители, я получил еще два Ваших письма. Не могу ответить Вам ничего, кроме того, что Вам уже известно: что все устроилось, что я — счастливейший из людей, и что я Вас люблю всей душой.

Его Величество соизволил выразить мне свое благосклонное удовлетворение по поводу брака, в который я собираюсь вступить. Он разрешил мне печатать мою трагедию в том виде, в каком я желал. Скажите об этом моему брату, чтобы он передал это Плетневу, который меня забывает, в скобках сказать, как и Дельвиг.

Я передал Ваше письмо мадемуазель Гончаровой и полагаю, что она Вам ответит сегодня же. Дядя Матв. Мих. был у нее третьего дня, он и тея приняли живейшее участие в моем счастье. (Я совсем потерял голову и потому так выражаюсь). Вот уже несколько дней, как я не видел дяди Вас. Льв. Знаю, что он поправляется.

Благодарю, дорогая Ольга, за твою дружбу и за выраженные чувства. Я прочел твое письмо Натали; она смеялась, читая его, и велела тебя поцеловать.

Целую тебя и дорогих родителей. Я на-днях, может быть, съезжу в Калугу к дедушке Натали. Очень хотел бы, чтобы свадьба была до поста, который скоро наступает. До свидания еще раз.

3 мая.

А. И. Васильчикова, в альбоме которой было публикуемое письмо — Александра Ивановича Васильчикова (1795—1855), урожденная Архарова, супруга Алексея Васильевича Васильчикова (1778—1854). Это — та самая Васильчикова, с слабоумным сыном которой в Павловске в

¹⁾ Слова: «à mon bonheur» — подчеркнуты.

1831 г. занимался Н. В. Гоголь ¹⁾. С семьей Васильчиковых был близко знаком П. И. Бартенев, будучи товарищем по университету с одним из сыновей Александры Ивановны Петром Алексеевичем.

До сих пор ни одного письма Пушкина к родителям не было опубликовано, если не считать одного черновика письма, впервые напечатанного в академическом издании переписки Пушкина (т. II, № 426, стр. 132).

Публикуемое письмо нужно датировать, конечно, 1830 годом: 6-го апреля этого года Пушкин сделал Н. Н. Гончаровой предложение, которое было принято. Об этом извещал Пушкин родителей, прося их благословения, в письме, черновик которого впервые был напечатан В. И. Саитовым, датировавшим его „первой половиной апреля“. Получив это письмо 15 апреля, С. Л. и Н. О. Пушкины отвечали на него 16 апреля ²⁾. Александр Сергеевич, вероятно, им вскоре ответил письмом, до нас не дошедшим, после чего получил от родителей еще два письма, на которые и отвечал публикуемым нами письмом. Только при таком предположении становятся понятными слова: „j'ai reçu encore deux de vos lettres“.

Позволение со стороны Николая I на брак Пушкина и разрешение печатать „Бориса Годунова“ было сообщено поэту гр. Бенкендорфом в письме от 28 апреля. Плетневу об этом Пушкин писал в первых числах мая ³⁾.

„Mon oncle Матв. Мих.“—М. М. Солнцев (1779—1847), женатый на Елизавете Львовне Пушкиной, родной сестре отца А. С. Пушкина. Благодаря своей толщине, имея чин надворного советника, получил в 1825 г. звание камергера, вместо следовавшего ему камер-юнкерства. „Сегодня везу к моей невесте Солнцева,—писал 2-го мая кн. П. А. Вяземскому Пушкин—жаль, что представляю его не в прежнем его виде, доставившем ему камергерство. Она более благоговела бы перед родственным его брюхом“.

„Mon oncle Вас. Льв.“—известный В. Л. Пушкин, страдавший подагрой. „На-днях он чуть не умер и чуть не ожил. Бог знает чем и зачем он живет“, писал в том же письме Вяземскому Пушкин.

В имение Гончаровых Полотняный Завод (в 16-ти верстах от Калуги) Пушкин ездил в конце мая.

„Le samedi, qui va venir—Петров-пост в 1830 г. начинался 1-го июня.

Сообщил Мст. Цявловский.

Ноябрь 1921 г.

¹⁾ См. Воспоминания гр. Вл. Ал. Сологуба, СПб. 1887, стр. 112—114.

²⁾ См. акад. изд. переписки П-на, т. II, № 428, стр. 137—8.

³⁾ См. акад. изд. переписки, т. II, № 438.

Неузданные письма Ф. М. Достоевского.

I.

15 Октября (80)

Петербургъ
Кузнечный переулокъ
близъ Владимирской церкви,
домъ № 5, кв. № 10.

Многоуважаемая

Пелагея Егоровна,

Вмѣсто того, чтобы такъ горько упрекать, Вамъ бы хотъ капельку припомнить, что могутъ быть случаи поста и всякія обстоятельства. Я жилъ все лѣто съ семействомъ въ Старой Руссѣ (минеральныя воды), и только 5 дней какъ воротился в Петербургъ. Первое письмо Ваше отъ Іюля, адресованное въ Вѣстникъ Европы, дошло до меня чрезвычайно поздно, въ концѣ Августа. И что же бы я могъ сдѣлать сидя въ Старой Руссѣ, въ Редакціи Огонька, которой я не знаю и изъ всѣхъ силъ знать не желаю? Вамъ же не отвѣтилъ—вы не повѣрите почему. Потому, что если есть человекъ въ каторжной работѣ, то это я. Я былъ въ каторгѣ въ Сибири 4 года, но тамъ работа и жизнь была сносно моею теперешней. Съ 15-го Іюня по 1 Октября написалъ до 20 печатныхъ листовъ романа и издалъ Дневникъ Писателя въ 3 печат. листа. И однако я не могу писать съ плеча, я долженъ писать художественно. Я обязанъ тѣмъ Богу, поэзіи, успѣху написаннаго и буквально всей читающей Россіи, ждущей окончанія моего труда. А потому сидѣлъ и писалъ буквально дни и ночи. Ни на одно письмо съ Августа до сегодня—еще не отвѣчалъ. Писать письма для меня мученіе, а меня заваливаютъ письмами и просьбами. Вѣрите ли, что я не могу и не имѣю времени прочесть ни одной книги и даже газетъ. Даже съ дѣтьми мнѣ некогда говорить. И не говорю. А здоровье такъ худо, какъ Вы и представить не можете. Изъ катарра дыхательныхъ путей у меня образовалась анфизема—неизлѣчимая вещь. (Задыханіе, мало воздуха) и дни мои сочтены. Отъ усиленныхъ занятій падучая болѣзнь моя тоже стала ожесточеннѣе. Вы по крайней мѣрѣ здоровы, надо же имѣть жалость. Если жалуетесь на нездоровье, то не имѣете все таки смертельной болѣзни и дай Вамъ Богъ много лѣтъ здравствовать, ну а меня извините.

Второе же письмо Ваше съ упрекомъ отъ Сентября я получилъ лишь на дняхъ въ Петербургъ. Все приходило на мою квартиру безъ пересылки въ Старую Руссу, вслѣдствіе ошибочнаго моего собственнаго распоряженія (конечно по недоумѣнію) и я разомъ получилъ десятки писемъ.

Съ Огонькомъ я не знаюсь, да и замѣтьте то же, что я ни съ одной Редакціей не знаюсь. Почти всѣ мнѣ враги—не знаю за что.

Мое же положеніе такое, что я не могу шлаться по Редакціямъ: Вчера же меня выбрали, а сегодня я туда прихожу говорить съ тѣмъ кто меня выбранилъ. Это для меня буквально невозможно. Однако, употреблю всѣ усилія чтобъ достать Вашу рукопись изъ Огонька. Но куда ее пристроить? Всякая шушера, которую я приду просить, чтобъ напечатали Вашъ романъ, будетъ смотрѣть на меня какъ на выпрашивающаго страшнаго одолженія. Да и какъ я пойду говорить с этими жидами? Съ другой стороны вѣдь эту рукопись надо прочесть предварительно, а у меня буквально нѣтъ ни минуты времени для исполненія самыхъ святыхъ и неотложныхъ обязанностей: я все запустилъ, все бросилъ, о себѣ не говорю. Теперь ночь, 6-й часъ по полуночи, городъ просыпается, а я еще не ложился. А мнѣ говорятъ доктора, чтобъ я не смѣлъ мучить себя работой, спать по ночамъ, и не сидѣлъ бы по 10 по 12 часовъ нагнувшись надъ письменнымъ столомъ. Для чего я пишу ночью? А вотъ только что проснулся въ часъ пополудни, какъ пойдутъ звонки за звонками: тотъ входитъ одно просить, другой другого, третій требуетъ, четвертый настоятельно требуетъ, чтобъ я ему разрѣшилъ какой нибудь неразрѣшимый „проклятый“ вопросъ—иначе де я доведенъ до того, что застрѣлюсь. (А я его въ первый разъ вижу). Наконецъ депутаціи отъ Студентовъ, отъ Студентокъ, отъ гимназій, отъ Благотвор. Обществъ—читать имъ на публичномъ вечерѣ. Да когда же думать, когда работать, когда читать, когда жить.

В Редакцію Огонька пошлю и буду требовать выдачи рукописи—но прочесть, помѣстить—этого я и понять не могу какъ и когда я сдѣлаю. *Ибо буквально не могу, не имѣя времени и не зная куда дорожъ.*

Вы думаете можетъ быть что я отъ гордости не хочу ходить? Да помиуйте какъ я пойду къ Стасюлевичу, али въ Голосъ, али въ Молву, али куда бы то ни было, гдѣ меня ругаютъ самымъ недостойнѣйшимъ образомъ. Если я принесу рукопись, и потомъ она не понравится, скажутъ: Достоевскій надулъ, мы ему повѣрили какъ авторитету, надулъ чтобъ больше выманить. Напечатаютъ это, разнесутъ, сплетню выведутъ.—Вы не знаете литературнаго міра.

Не дивитесь на меня что я пускаюсь въ такіе разговоры. Я такъ усталъ и у меня мучительное нервное разстройство. Сталъ бы я съ другимъ или съ другой объ этомъ говорить! Знаете ли что у меня лежитъ. нѣсколько десятковъ рукописей, присланныхъ по почтѣ неизвѣстными лицами чтобы я прочелъ и помѣстилъ ихъ съ рекомендаціей въ журналы: вы дескать знакомы со всѣми редакціями! Да когда же жить то, когда же свое дѣло дѣлать, и прилично ли мнѣ обивать пороги редакцій! Если Вамъ сказали вездѣ что повѣсть Ваша растянута,—то конечно что-нибудь въ ней есть неудобное. Рѣшительно не знаю, что сдѣлаю. Если что сдѣлаю—извѣщу. Когда—не знаю. Если не захотите такой неопредѣленности, то уполномочьте другого. Но для другой я бы и не двинулся: это для Васъ, на память Эмса. Я Васъ *слишкомъ* не забылъ. Письмо Ваше (первое) *очень читалъ*. Но не пишите мнѣ въ письмахъ объ этомъ. Крѣпко, по дружески, жму Вамъ руку.

Вашъ весь Ф. Достоевскій.

(Приписка сбоку):

Буквально вся литература мнѣ враждебна, меня любитъ до увлеченія *только* вся читающая Россія.

II.

С.-Петербургъ
Ноября 3 80 г.

С.-Петербургъ. Кузнечный переулочъ,
домъ № 5, кв. № 10 (близъ Влади-
мирской церкви) О. М.-чу Достоевскому.

Глубокоуважаемая и дорогая

Пелагея Егоровна,

Простите, что ограничусь лишь нѣсколькими словами: страшно занятъ, ждутъ корректуры, переписка послѣднихъ листовъ Карамазовыхъ, и непрерывно надоедающіе посѣтителѣ. Рукопись Вашу „Мачиха“ изъ „Огонька“ взялъ и отправилъ въ „Русь“. Написалъ и Ивану Сергѣевичу все какъ Вы желали и прибавилъ еще о томъ что онъ долженъ знать Васъ по чешскимъ стихотвореніямъ, о которыхъ Вы мнѣ написали. Что же до тетради Вашихъ стиховъ, бывшихъ въ „Огонькѣ“, то она давно сожжена редакціей: таково у нихъ правило со всѣми стихотвореніями, которыя у нихъ залежатся.

Прибавлю отъ себя, дорогая Пелагея Егоровна, что, кажется, ничего Вы не могли сдѣлать непрактичнѣе, какъ эта пересылка Вашей Мачихи в „Русь“! Ежедневная газета, выходящая по 2 печатныхъ листа въ недѣлю, развѣ можетъ начать печатаніе романа въ 12 печатныхъ листовъ? Это чтобы черезъ полгода окончить! Да еслибъ былъ присланъ уже патентованный чей нибудь шедевръ, такъ и тогда, я напримѣръ, еслибъ былъ редакторомъ такой газеты, не напечаталъ, а развѣ выдалъ бы публикѣ въ приложеніи. Само собой я этого не написалъ Аксакову. Какъ онъ рѣшитъ такъ теперь и будетъ. Сообщилъ ему Вашъ адресъ. Вы бы лучше присѣли и написали что-нибудь хорошенькое въ 1 листъ печатный, да и послали бы поскорѣе в „Русь“. Это было бы лучше. Я объ Васъ написалъ Аксакову, какъ объ *хорошемъ человѣкѣ*.

Простите же что пишу лишь два слова. Я Вамъ преданъ и объ Васъ вспоминаю сердечно, въ этомъ будьте всегда увѣрены. До свиданія милая Пелагея Егоровна, жму крѣпко Вашу ручку.

Вашъ весь Ф. Достоевскій.

Копии печатаемых писем Ф. М. Достоевского к П. Е. Гусевой любезно доставлены нам акад. М. Н. Сперанским, получившим их несколько лет тому назад от одного из своих слушателей. Оба письма, из которых второе написано за 2 месяца и 25 дней до смерти Федора Михайловича (скончался в Петербургѣ 28 января 1881 г.), принадлежат к одним из последних писем Достоевского.

Написанные нервно, с болезненным надрывом, как это мог делать только Достоевский, письма эти служат ярким документальным подтверждением правильности той характеристики душевного состояния и обстановки, в каких находился Достоевский в последние месяцы своей жизни, какую дал в своих воспоминаниях о гениальном писателе близко его знавший Н. Н. Страхов.

„Он был,—писал Страхов,—необыкновенно худ и истощен, легко утомлялся, он страдал от своей амфиземы. Он жил, очевидно, одними нервами, и все остальное его тело дошло до такой степени хрупкости, при которой его мог разрушить первый, даже небольшой, толчок. Всего поразительнее была при этом неутомимость его умственной работы. Он был чрезвычайно занят. Он писал 25 или 30 печатных

листов в год, а работа, как он сам мне говорил, стала ему труднее... Потом, в последние годы, особенно с начала „Дневника Писателя“, он был завален перепиской и замучен посетителями. К нему писали и шли люди совершенно незнакомые, со всех концов Петербурга и краев России. Приходили с просьбами о помощи, так как он усердно помогал бедным и принимал участие в чужих затруднениях и несчастьях; но также беспрерывно приходили с возражениями своего поклонения, с вопросами, с жалобами на других и с выражениями против него. Такого же рода были и письма. Нужно было разговаривать, расспрашивать, отписываться, объяснять. Популярность его радовала; много он встретил заявлений, которые показывали, что слова его не пропали даром; много узнал людей, принесших ему отраду своими душевными качествами. Эти сношения он считал прямым долгом поддерживать и направлять в хорошую сторону. Особенно он был внимателен к молодым людям, к студентам, к курсисткам. Затем — сыпались приглашения на заседания всяких обществ, на обеды по разным случаям, на литературные чтения с благотворительной целью. Нужно было сговариваться о времени, выбирать что прочесть, готовиться и читать. Но нельзя было вовсе забросить и знакомых и хоть изредка да не побывать у них в заведенные среды или субботы. И все это помимо домашних и семейных, и родственных дел и забот, тоже бравших время и силы. А когда же было думать и читать? То-есть когда было совершать дело, требующее очень много времени и не поддающееся никакому сокращению? Понятно, что он жил в постоянном напряжении, что внутри его кипела непрерывная работа, о которой не имеют понятия люди, не занимавшиеся писательством¹⁾.

Сам Достоевский не раз говорил в своих письмах о тех муках и заботах, в которых он писал свой последний роман „Братья Карамазовы“²⁾.

О корреспондентке Достоевского Пелагее Егоровне Гусевой мы, к сожалению, очень мало знаем. Кроме тех сведений, которые дает о ней сам Достоевский в письме к И. С. Аксакову от 4 ноября 1880 г., мы находим в „Источниках словаря русских писателей“ С. А. Венгрова (т. 2, стр. 167) лишь указания на то, что в Москве в 1875 г. была издана ее сельская драма „На Рогачевке“, на которую в „Новом Времени“ (1875 г., 241) была помещена рецензия Экс.—А. П. Чебышевым-Дмитриевым.

Письмо к И. С. Аксакову, о котором говорит Достоевский в своем втором письме к П. Е. Гусевой, напечатано в названной книге „Биография, письма и заметки из записной книжки“. Вот строки этого письма, имеющие непосредственное отношение к письмам к П. Е. Гусевой:

С.-Петербургъ, 4 ноября 1880 г.

Глубокоуважаемый и дорогой Иванъ Сергѣевичъ!

Третьяго дня я отправилъ въ редакцію „Руси“ одну рукопись повѣсти или романа, подъ названіемъ „Мачиха“. Это вотъ что такое:

¹⁾ См. Полное Собр. Соч. Ф. М. Достоевского. Т. I. Биография, письма и заметки из записной книжки. СПб. 1883, стр. 316.

²⁾ См. в назв. ной книге письма к Ив. С. Аксакову от 28 авг. и 4 ноября 1880 (стр. 344—6), а также недавно опубликованные в 15-ой кн. «Былого» с прекрасными комментариями Б. Л. Модзалевского письма к Н. А. Любимову и М. Н. Каткову за 1879—81 г.г.

Одна давно уже пишущая барыня, сама очень хороший, кажется, человекъ, Пелагея Егоровна Гусева, лѣтъ 6 тому назадъ познакомилась со мной на водахъ въ Эмсѣ и теперь прибѣгла къ моему посредничеству по поводу своего романа. Живетъ она въ Рязани, очень бѣдно. „Мачиха“ была въ „Русскомъ Вѣстникѣ“, была въ „Огонькѣ“. Вездѣ отказали. И вотъ Пелагея Егоровна, прочтя въ газетахъ ваше объявленіе, поручила мнѣ взять изъ редакціи изданія „Огонекъ“ ея рукопись и переслать вамъ въ „Русь“, что я и сдѣлалъ. „Мачиху“ я не читалъ; понятія о ея достоинствахъ не имѣю, и лишь по настоятельной просьбѣ автора совершилъ фактъ передачи. Какъ разсудите, такъ и будетъ, а я тутъ, конечно, ни причеѣ. Ничего не рекомендую, ничего не навязываю. Г-жа Гусева прибавляетъ, что можетъ быть, отчасти вамъ извѣстна переводами нѣкоторыхъ чешскихъ стихотвореній, которыя вы когда-то помѣстили въ какомъ-то изданіи, „Братская Помощь“, кажется. Впрочемъ, она сама забыла названіе. Подписана „Мачиха“ псевдонимомъ А. Шумова. Этотъ псевдонимъ она согласна уничтожить съ тѣмъ, чтобъ поставить настоящую фамилію: П. Гусева. Адресъ Г-жи Гусевой: Рязань, Введенская улица, домъ священника Успенскаго¹⁾.

Роман П. Е. Гусевой в „Руси“ Аксакова ни в 1881, ни в 1882 гг. не появлялся; был ли он напечатан в каком-нибудь другом органе, нам неизвестно.

„Огонекъ“.—иллюстрированный журналъ литературы, науки и искусства“ издавался (еженедельно) в 1879—1883 годах Г. Д. Гоппе, под редакцией Н. П. Аловерта.

Газета „Молва“ издавалась в 1879—1881 г.г. В. А. Полетикой. Газета „Голосъ“ издавалась в 1863—1883 г.г. А. А. Краевским. М. М. Стасюлевич издавал ежемес. журнал „Вѣстникъ Европы“. Последний роман Достоевского „Братья Карамазовы“ писался в течение последних трех лет жизни писателя; печатаніем в „Русскомъ Вѣстникѣ“ он начался в январе 1879 г. 8 ноября 1880 г. Достоевский послал в редакцію „Рус. Вѣстн.“ рукопись последних листов романа, которые и появились в печати в № 11 „Русск. Вѣстн.“ за 1880 г. ²⁾.

Сообщил. Мет. Цяловский.

¹⁾ Назв. книга стр. 345—6.

²⁾ См. «Былое», 15-ая книга, стр. 131—132.

Новые материалы о Бакунине.

Еще в 1917 году в распоряжение редакции «Голоса Минувшего» была передана копия той сенсационной «Исповеди» Бакунина, которая в настоящее время напечатана Государственным Издательством. Наш журнал по многим причинам не мог и не хотел в свое время печатать этой «Исповеди». Ныне—напечатанная под редакцией Вяч. Полонского, она сделалась уже достоянием общественной критики и предметом исследовательского изучения. Мы воспроизводим ниже ту вводную статью, которая должна была сопровождать у нас печатание «Исповеди» Бакунина. Напечатание статьи этой, дающей историческую оправку к «Исповеди», тем более целесообразно, что по современным условиям далеко не для всех доступно ознакомление со столь важным материалом, каким является «Исповедь». «Исповедь» и «Письмо Бакунина к Александру II», по замечанию редактора издания Вяч. Полонского, «принадлежат к числу самых потрясающих документов, которые знаем мы о революционерах».

Ред.

I. «Исповедь» Бакунина.

Около личности М. А. Бакунина много вопросов, сомнений,—вызывавших споры. Были они и при его жизни, много нерешенного осталось и до сих пор. Многолетняя, полная приключений жизнь русского, сначала добровольного, а после и невольного эмигранта, принимавшего участие в жизни Европы, в самые бурные моменты бросившего всей Европе вызов, вступившего с ней в поединок,—с той Европой, которая в то время была внешне сильна,—судьба завидная для выходца из темной, малоизвестной России. Какая-то мощь русского духа, неудержимой энергии, безудержного стремления в неизвестность! Бакунин своею личностью, деятельностью, казалось, один взял на себя роль бойкой трсыки, в образе которой Гоголю представлялась будущая Русь!

Деятель мирового масштаба —Бакунин больше привлекал к себе внимание исследователей на Западе, чем на Руси. Здесь он был долго «под спудом», да и поле его деятельности было вне точек зрения русского исследователя.

В биографии Бакунина есть одна темная страница, до сих пор скрытая от биографов и исследователей за отсутствием материала. Я имею в виду время пребывания его в Петропавловской и Шлиссельбургской крепостях, т.-е. с 1851 по 1859 г., когда он получил возможность выехать на волю,—в Сибирь.

Около этого периода создались легенды. Едва ли не сам Бакунин помог легендам,—может быть, невольно. Он в письме к А. И. Герцену от 8—XII—1860 г. из Иркутска предал гласности факт своего письма к имп. Николаю из крепости «и написал»,—как читаем в письме,—«в самом деле род исповеди, нечто в роде *Dichtung und Wahrheit*;—действия мои были, впрочем, так открыты, что мне скрывать было нечего».....«Я рассказал Николаю всю свою жизнь за границу, со всеми замыслами, впечатлениями и чувствами, при чем не обошлось для него без многих неутешительных замечаний на счет его внутренней и внешней политики. Письмо мое, рассчитанное, во-первых, на ясность моего, повидимому, безвыходного положения, с другой же—на энергический нрав Николая, было писано очень твердо и смело—и именно потому ему очень понравилось».

Это—рассказ действующего лица. Непосредственность, доверчивость к людям на почве их полного незнания, увлечение моментом и подчинение моменту—черты бакунинского характера. Перед силой переживаемого момента Бакунин всегда пасовал, и момент у него всегда господствует. Это приходится учитывать, когда имеешь дело с письмами и соображениями самого Бакунина. У него всегда на первом плане «*Dichtung*».

В дальнейшем возможно, что при передаче факта своей биографии Бакунин, под влиянием момента и обстановки его, тот же факт передавал иначе, детализируя его «*Dichtung*». На этой почве возникли около факта легенды.

Так, А. И. Герцен передает о впечатлениях Николая от записки Бакунина. «Он (Бакунин) умный и хороший малый, но опасный человек; его надобно держать в заперти»,—будто бы сказал Николай. Трудно вяжется искренняя мягкая фраза с личностью бездушного, черствого императора (Герцен, посмертные сочинения, 197). Пучкова-Огарева («Рус. Стар.» 1894 г. XI, 20), Ив. Головин («*Der Russische Nihilismus*», Leipzig 1880, 52) передают о характере записки Бакунина, приводя отдельные выражения из записки.

Отзвуки легенд находим и в Сибири, где будто бы Н. Г. Чернышевский говорил о записке Бакунина, в которой последний дал характеристику положения крестьян в России.

Биограф Бакунина—проф. М. П. Драгоманов передает также и сведения из записок гр. Фицтума фон-Экштадта (стр. 67). Записки ставят этот вопрос совершенно в другую плоскость и для нас мало интересны.

Все эти сведения пока интересны для нас только в одном—они

устанавливают самый факт записки Бакунина. Все они исходят из одного источника—от самого Бакунина, который, как видно из его письма, не скрывал факта. Это и есть документ,—то основное, что можно принять за отправной пункт. Остальное—вся детализация современников может быть принята постольку, поскольку не противоречит самому факту.

Обращу внимание и на данные, какие находим у М. П. Драгоманова. Опровергая достоверность сведений Тучковой-Огаревой, Драгоманов (стр. 67, примеч.) пишет: «эти слова вряд-ли верны, так как Александр II, читая записку Бакунина, говорил, что в ней «нет никакого раскаяния».

Здесь уже дается новый факт из истории записки Бакунина. Основываясь на следующем месте того же письма Бакунина: «государь (Ал. II) с упорством отбил несколько приступов; раз вышел он к кн. Горчакову (министру иностр. дел) с письмом в руках (именно тем письмом, которое в 1851 году я написал Николаю) и сказал: «*mais je ne vois pas le moindre repentir dans cette lettre*»,—Драгоманов был прав в утверждении вторичного появления на сцене записки Бакунина.

Первый момент в истории записки Бакунина—это приказ Николая написать своего рода исповедь, переданный Бакунину чрез гр. Орлова—едва-ли подлежит сомнению. Николай начал свое царствование, как известно из дел о декабристах, принятием на себя роли следователя. И в этом отношении проявил даже своего рода талант. В делах фигурируют и признания, и исповеди и т. д. Наиболее стойкие люди, как Рылеев, Каховский, не выдерживали всей моральной пытки и давали уничтожающие—и себя, и других—показания. Здесь Николай был заинтересован физиологически в связи с предположением о его убийстве. Это, может быть, заставило его так деятельно взяться за расследование.

Личность Бакунина не была в этом отношении интересна Николаю. Покушение на целостность государства путем возбуждения поляков—цель для Николая уже не так близкая, да и момент другой. Он чувствовал себя устойчивым, не как в начале царствования, личного же покушения на него в деле Бакунина не было—и он ограничился лишь приказанием написать записку, надеясь, может быть, и здесь получить разоблачения самого широкого характера. Бакунин был прав, когда писал, что это было рассчитано «на ясность моего, повидимому, безвыходного положения» (письмо к Герцену). Что ожидал получить Николай, видно из следующих слов записки Бакунина. «Граф Орлов объявил мне от имени Ваш. Имп. Величества, что Вы желаете, Государь, чтоб я Вам написал полную исповедь всех своих прегрешений».... и далее: «Государь, не требуйте от меня, чтоб я Вам исповедывал чужие грехи. Ведь на духу никто не открывает грехи других, только свои». На полях против последних фраз император сделал пометку: «этим

уже уничтожает всякое доверие; ежели он чувствует всю тяжесть своих грехов, то одна чистая, полная исповедь, а не условная, может почестся исповедью» (курсив императора).

Составляя приказ об «Исповеди» с резолюцией, можно думать, что Николай желал именно того, чего не дал Бакунин, т.-е. выдачи сообщников прежде всего. Желал получить то же, что получил в свое время от декабристов. Ясно это особенно из слов Орлова, что приводит Бакунин в своей записке:—«пишите, сказал он мне, пишите к Государю, как бы вы говорили с своим духовным отцом». Этими словами и воспользовался Бакунин в приведенной выше фразе о пределах исповеди. Фраза же Бакунина сразу разочаровала его. И с этой стороны прав был Бакунин, когда после, в письме к Герцену (ор. cit.) указал на эту сторону своей «исповеди», приведя почти дословно эту фразу и это место письма. Справедливо замечание и М. П. Драгоманова, что государь не нашел в записке раскаяния, какого ожидал. Но только это был не Александр II, как утверждает Драгоманов, а все тот же Николай. Любопытна также и резолюция Николая, обращенная к Орлову. «Стоит тебе прочесть, весьма любопытно и поучительно». Только это. Разочарованный следовательно не нашел в исповеди для себя более ничего. И конечно, записка не могла иметь серьезных результатов для Бакунина. Бакунин был оставлен в том же положении. Оставлен он был и в покое. Бакунин в письме вспоминает: «За что я ему действительно благодарен, это—что он (Николай) по получении его (письма) ни о чем более меня не допрашивал». Но и результатов не было: до 1854 года Бакунин был в крепости, а в начале войны переведен в Шлиссельбург.

Записка была подана государю в переписанном виде в августе 1851 года. На самой записке даты нет. Подана она, конечно, была значительно раньше. Сам Бакунин сообщал, что он «потребовал месяц времени». В делах III отделения следов этой записки нет, ибо, пересланная от коменданта крепости, она была вручена государю и от него уже была передана в III отделение с следующей карандашом резолюцией гр. Орлова: «Г. Император Высочайше повелел переписать в III отделении, нет нужды, что разными руками, под строгим присмотром и верными людьми. Я с своей стороны прошу первые две и последние две тетради наивернейше списать и когда будут готовы, мне представить—Гр. Орлов». «Под строгим присмотром и верными людьми» записка была переписана и, как гласит пометка Дуббельта, «переписанный экземпляр вручен Государю Императору 13-го августа 1851 года, при собственноручной записке графа Орлова».

О тоне записки Бакунин писал Герцену: «поблагодарив государя в приличных выражениях за снисходительное внимание, я прибавил»... и т. д. И далее: «было написано твердо и смело».

Правда, когда читаешь второй абзац «Исповеди», то кажется, что о «приличных выражениях», твердости и пр. не может быть и

речи. Здесь Бакунин чрезмерно восхваляет русские порядки обращения с заключенными. Особенно в этом отношении поражает такая фраза в конце Исповеди: «нигде не было мне так хорошо,..... как здесь в Петропавловской крепости, и дай Бог всякому свободному человеку найти такого доброго, такого человеколюбивого начальника, какого я нашел здесь к своему величайшему счастью»... Очевидно, Бакунин не всегда удерживался в рамках «слов простых, искренних, сердечных, без ухищрения и лести», в каком тоне он хотел писать свою «Исповедь». Такие выражения, как «клянусь вам, что никакая ложь, ниже тысячная часть лжи не вытечет из пера моего», или: «потеряв право называть себя верноподданным... подписываюсь от искреннего сердца, кающийся грешник Мих. Бакунин». Таких мест в «Исповеди» мы найдем достаточно. Они придают некоторый подобострастный характер записке. Они как-то мало согласуются и с самим Бакуниным, его писаниями, прокламациями, обращениями и проч. Стоит, напр., сопоставить их с такой фразой из письма к Герцену: «что в четырех стенах, во власти медведя...» и т. д. Я не привожу других отзывов свободного Бакунина о Николае.

Конечно, нельзя говорить здесь об оправдании Бакунина.¹⁾ Надо только помнить, что мы имеем дело с Бакуниным, который способен был в минутном увлечении, да и не в минутном только, но под влиянием минуты, расхвалить первого попавшегося человека. Как он жестоко часто ошибался в людях и был в этом неисправим до конца! От увлечений юности, чрез увлечение Муравьевым и до Нечаева—это проходит красною нитью чрез всю его жизнь. И был он в этом вполне искренен. Говорить об искренности Бакунина в приведенных выражениях „Исповеди“, конечно, трудно. Много влияли на Бакунина и впечатления тюремной жизни за границей, после чего русская крепость могла показаться, действительно, чем-то идеально-хорошим: да, это была крепость, именно, русская. Ведь, на границе Бакунин приветствовал и русские цепи, сменившие цепи иностранные. Нужно также принять во внимание и то, что Бакунину, вообще в своих мыслях и их выражениях не знавшему установленных жизнью рамок, эти выражения не представлялись уже выходящими за пределы дозволенного, тем более, что ему приходилось пробовать свое перо в совершенно несвойственной ему сфере—переписки с лицами официальными, от которых он зависел. Наконец, если мы сравним стиль «Исповеди» со стилем всех его произведений, писем,—мы увидим, что и здесь тот же безудержный Бакунин.

Да и, в сущности, в общей массе написанного в „Исповеди“ эти места как-то теряются, не влияют на ее общий тон и характер. Все же остается, действительно, смелая, не без достоинства речь человека не-

¹⁾ См. заметку В. Н. Фигнер „Исповедь“ в № 1 библиограф. журнала „Задруга“. Ред.

зависимого в своем внутреннем мировоззрении: «Из совершенного кораблекрушения, постигшего меня, я спас только одно благо: честь и сознание, что я для своего спасения, или для облегчения своей участи, нигде, ни в Саксонии, ни в Австрии, не был предателем». Понял Бакунин тайную мысль Николая, понял, что он хочет услышать от него на духу. И действительно—твердо и смело отстранил от себя грязную руку искуителя, ибо «противное сознание, что я изменил чьей-нибудь доверенности, или даже перенес слово, сказанное при мне по неосторожности, было бы для меня мучительнее пытки. И в ваших собственных глазах, Государь, я хочу быть лучше преступником, заслуживающим жесточайшей казни, чем подлецом».

И если последнее взять углом измерения всей «Исповеди», то все шереховатости стиля совершенно исчезают. Пред нами Бакунин во всей красе своей искренности,—искренности, не выходящей за пределы возможного для порядочного человека и честного деятеля. И Бакунин был прав, говоря в своем письме Герцену о характере и тоне своей «Исповеди».

Но далеко дело не так обстояло в другой области. Уже при жизни Бакунина время от времени появлялись какие-то темные слухи о его связи с русским правительством. Не касаясь инцидента с Марксом, который дважды пытался набросить тень на репутацию Бакунина—первый раз еще в то время, когда Бакунин был за границей, второй раз, судя по Герцену,—когда Бакунин был в Шлиссельбурге,—не касаясь этих фактов, ибо едва ли их хронология позволит поставить в связь с ними «Исповедь»,—я обращаю внимание на одно письмо Бакунина от 18—X 1869 г. из Женевы в редакцию какого-то журнала (комментатор писем Бакунина—М. П. Драгоманов не мог указать журнала).

«Господа! В № от 2 октября вашего журнала, вы напечатали против меня статью, подписанную Морицем Гессе, которая полна клевет и лжи.

Если десятая часть того, что он сообщает, была верна, я был бы мало того, что очень опасным панславистом,—но агентом русского правительства»... и т. д. (курсив мой. Л. И.).

Можно, конечно, этот укор Бакунину поставить в связь с инсинуациями К. Маркса, как повторение их. Но можно поставить это в связь и с «Исповедью».

Дело в том, что такой материал, как «Исповедь» со всеми ее атрибутами, как обращение к государю, хотя бы в приведенных выражениях, письма Бакунина к официальным лицам, иногда с выражениями, неуместными для деятеля революции,—все это было прекрасным материалом для дискредитирования личности и деятельности Бакунина, хотя бы даже в той ее части, где он выступает в резкой оппозиции русскому правительству.

И мысль использовать эти секретные материалы, действительно,

возникла в 60-е годы,—может быть, вскоре после бегства Бакунина и его первых выступлений за границы.

По делам не видно, было ли это официальное поручение одному из «верных» служителей III отделения. По одной черновой записке, где сказано, что «брошюру... взял я в Царское Село для прочтения его величеству»,—можно думать об официальном поручении написать брошюру о Бакунине на основании имеющихся секретных документов. Записка написана рукою кн. Долгорукова.

Самое сочинение, или брошюра носит название: «Михаил Бакунин—сам себя изображающий. Сочинение Шведа, Стокгольм, 1863 г.». Таков выходной лист брошюры, написанной на 35 листах (140 стр.) писчего формата четким почерком. В брошюре дана в выдержках «Исповедь» и письма Бакунина, ¹⁾ «Исповедь» дана в тех ее частях, где Бакунин мог быть представлен в невыгодном для него освещении. Все это одобрено соответствующими восклицаниями и оканчивается вопросом:

«Что такое Михаил Бакунин? Пустой ли, праздный болтун, наглый ли лжец и хитрый обманщик, или и в самом деле Дон-Кихот, как он сам называет себя, т. е. полусумасшедший фанатик?».

И на этот вопрос автор дает ответ:

«По моему мнению, ни в том, ни в другом, ни в третьем случае он не годится в серьезные политические деятели и не может возбуждать к себе сочувствия людей сколько-нибудь рассудительных»...

Выводы очень скромные, да и вся брошюра в главных ее частях (без документов),—написана в довольно выдержанном тоне, будто человека, чуждого русскому правительству, человека, заинтересовавшегося Бакуниным в связи с известным инцидентом с пароходом «Уард Джаксон» и не с точки зрения, будто бы, русских интересов, а интересов Швеции.

Автор старательно отводит от себя всякую мысль о своей связи с III отделением. «Я счел бесполезным,—пишет автор,—собрать подробные сведения о г. Бакунине в самой России и не от русского правительства или русского официального общества, а от моих соотечественников, по самому положению своему в России стоящих совершенно независимо».

Рассказывает автор, как он достал и документы и копии с них. Все это в том стиле, как известная приписка к «Молению Даниила Заточника»,—настолько же чудесно и правдоподобно.

Всеу этому, может быть, можно было в то время и поверить, но этот тон автор не выдерживает, когда переходит к биографии Бакунина, где уже явно сквозит характер гимна русскому государю за его милости Бакунину.

¹⁾ Письмо Бакунина к Б. А. Долгорукому и др. напечатаны ныне в работе г. Стеклова: „М. А. Бакунин. Его жизнь и деятельность“ ч. I, М. 1920 г.

Брошюра 12 июня была представлена в Царское Село. В печати о ней не было известно. Очевидно, она одобрения не заслужила, но возможно, что слухи об использованных в ней документах проникли частным образом, и на почве их могла возникнуть легенда об агентуре Бакунина.

Как уже было отмечено, поданная записка не имела для Бакунина реальных результатов. Не отразилась она на его положении в крепости, где он пробыл до 1854 года.

В этом году Бакунина перевели в Шлиссельбург, в Алексеевский рavelин. О жизни в Шлиссельбурге Бакунин передает в цитированном выше письме к Герцену. В дополнение к этим скудным сведениям, которых не мог после пополнить и сам Бакунин в своих рассказах Вл. Дебагорию-Мокриевичу («Воспоминания»), можно привести данные из сочинения упомянутого Шведа, где он пишет: „Имп. Николай позволял Бакунину не только переписываться с родными и получать от них деньги, сигары и проч., не только разрешил давать ему книги для чтения, но даже позволял видаться с родными“. Здесь нет, правда, нового сравнительно с тем, что передано самим Бакуниным в письме к Герцену. Эти данные подтверждаются и официальной справкой о жизни Бакунина в Шлиссельбурге; в ней мы читаем: „содержавшемуся в доме Алексеевского рavelина Бакунину производилось на пищу по 18 коп. сер. в сутки и давались для чтения книги: французские, немецкие романы, математические, физические, геологические и газета „Русский Инвалид“. Такая справка была дана комендантом крепости 14 марта 1854 года в III отделение. Кроме того Швед в примечании сообщает и еще факт: „сидя в одном из рavelинов крепости, он (Бакунин) спокойно забавлялся разведением канареек“.

Сравнительно, конечно, жизнь была сносная, но она была тяжела для бакунинской живой, деятельной натуры, и естественны те жалобы, какие слышатся и в его письмах и воспоминаниях об этой жизни, когда он доходил до отчаяния. Это-то отчаяние, которое передалось и его матери и которое вылилось в ее вопле—прошении, поданном 21 марта 1855 года, вероятно, ко дню коронации в надежде на обычную коронационную милость.

Чуткая мать поняла душевное состояние сына. Может быть, много она на себя взяла в своих ручательствах за его будущее, но в прошении важна, именно, трагедия души заключенного, переданная чутким сердцем матери ¹⁾.

Но, очевидно, еще чаша страданий Бакунина не переполнилась. Не только „другие“, но и Александр II „холодно“ посмотрел на горесть матери. Бакунин передает, что он собственноручно вычеркнул

¹⁾ Текст письма приведен в указанной выше работе Стеклова.

его имя из списка, и его сухой ответ матери говорит за то, что у него не нашлось для „преступника“ милосердия, о чем молила мать.

Последовательность передаваемых самим Бакуниным фактов несколько иная. По письму выходит, что прошение матери было подано после коронации, после того как государь вычеркнул его имя из списка. Но прошение было подано 21, III, а коронация была 26, VIII. След., мать Бакунина подала прошение с расчетом, именно, пред коронацией напомнить о сыне. И в этой последовательности факт вычеркивания получает иное освещение.

Эта же хронологическая неточность проглядывает и дальше. Условие, заключенное между ним и братом, было не так быстро после отказа. Если принять во внимание, что просьба матери была в 1855 году, то перевод Бакунина в Сибирь относится к 1857 году. Промежуток в два года мог после лишь показаться таким быстро следующим фактом. Между тем в этот промежуток необходимо включить и еще факт, который сам Бакунин выпускает совершенно, но который смутно остался и в его повествовании. К этим годам относится, несомненно, то, что передает Бакунин: „Не легко досталось моим освобождение меня из крепости; государь с упорством отбил несколько приступов; раз вышел он к кн. Горчакову (министру иностранных дел) с письмом в руках (именно тем письмом, которое в 1851 году я написал Николаю) и сказал: „mais je ne vois pas le moindre repentir dans cette lettre“. Наконец, в марте 1857 года я вышел из Шлиссельбурга, пробыл неделю в 3-м отделении, и по высочайшему соизволению сутки у своих в деревне, а в апреле был привезен в Томск“.

Из этого рассказа видно, что письмо, поданное Николаю, снова фигурирует при Александре, который, может быть, пожелал с ним ознакомиться, именно, в виду „приступов“ об освобождении. По поводу этого письма Бакунин приводит и слова Александра. Может быть, сюда нужно отнести и факт уговора с братом о яде в случае неуспеха одного из приступов.

Факты реальности вскрывают и еще новое. Не только родные хлопотали в это время за Бакунина. Но и он сам предпринял некоторые шаги. Окрылившая со смертью Николая надежда на освобождение, которая еще более окрепла в связи с ходатайством матери перед коронацией, в конце-концов рухнула. Это повлияло, несомненно, на настроение узника—и без того безнадежное, как видно из письма матери. Теперь заключение было для него совершенно невыносимо. Мысли крутились около одного пункта—о бесполезности дальнейшей жизни. Теперь уже и самые облегчения одиночного заключения казались только усиливающими тягостное душевное состояние. „Если бы заключение мое было отягчено строгостью, сопряжено с большими лишениями, я может быть легче перенес бы его; но заключение, смягченное до крайних пределов возможности, оставляя мысли полную

свободу, обратило ее в собственное свое мучение". Свидание с родными, беседа с ними, переписка—все это снова крепко связывало с жизнью, а заключение не давало возможности возвратиться к деятельной жизни. И „одиночное заключение есть самое ужасное наказание;—без надежды, оно было бы хуже смерти: это смерть при жизни,—сознательное, медленное и ежедневно ощущаемое разрушение всех телесных, нравственных и умственных сил человека; чувствуешь, как каждый день более деревенеешь, дряхлеешь, глупеешь“,—вот то настроение, которое переживал Бакунин. Естественно то отчаяние, которое у него сказалось и вылилось в просьбу к брату о яде. Вспомним к этому отношение Бакунина к отцу,—отношение, при всех трениях все же проникнутое благоговением. И смерть отца могла сильно подействовать на заключенного, особенно его увещание сыну о раскаянии.

Долго в этом состоянии пробыть трудно. Мысль отца, увещания матери, свидание с братьями привели Бакунина к рискованному для революционера шагу—и это вторично—к новой исповеди.

Эта вторая „Исповедь“ подана была государю 14 февраля 1857 года. Ей предшествовало, как можно судить из слов „Исповеди“: „угодно ныне завершить новою милостью.....: позволением писать к Вам“ прошение о позволении написать просьбу. По [получении разрешения Бакунин написал краткую о себе записку на шести страницах листового формата, где особенно ярко изобразил, именно, свое внутреннее душевное, совершенно безнадежное состояние. С этой точки зрения и необходимо подойти к этой „Исповеди“. Человек восемь лет сидел в заключении,—упадок физических и душевных сил при полном сознании этого процесса мог привести его к тому отчаянному воплю о воле,—и конечно, каким путем она будет достигнута—это вопрос не играет в этот момент роли. Здесь опять влияние и полное подчинение минуте, тому переживанию, которое заняло все мысли. Это крик отчаяния, такой же крик, как два года пред тем раздался и у матери заключенного. Недаром обещания Бакунина на будущее так сходны с тем, что говорила в своем прошении мать.

Вторая „Исповедь“ Бакунина была переправлена кн. В. А. Долгорукому при следующем письме Бакунина: ¹⁾

«Ваше Сіятельство!

Препровождаю при семъ просьбу мою къ Государю, прошу Васъ принять выраженіе искренней и глубокой благодарности, за исходатайствованіе мнѣ просимаго мною позволенія. Оно оживило во мнѣ надежду; но суждено ли ей сбыться? Обмануться было бы жестоко.—Осмѣлюсь-ли просить Ваше Сіятельство просмотрѣть и исправить,

¹⁾ Письмо напечатано у Стеклова.

сколько возможно, мою просьбу? Я такъ одичалъ и отвыкъ писать, что съ трудомъ могъ окончить ее; трудно писать, колеблясь между страхомъ и надеждой, опасаясь сказать лишнее или недосказать нужного. Чувствую, что просьба моя къ Государю написана неудовлетворительно, не полно, не ловко, можетъ быть и по формѣ, не прилично, но самъ исправить не въ силахъ; только искренность написаннаго готовъ подтвердить клятвою и честнымъ словомъ. Отъ Васъ зависить, Князь, если Вамъ только угодно будетъ оказать мнѣ столь великодушное снисхожденіе,—исправить ее, сократить лишнее и дополнить недостающее,—своимъ сильнымъ словомъ, дать настоящее выраженіе моимъ искреннимъ чувствамъ, не умѣющимъ выразиться такъ, чтобы просьба моя нашла доступъ къ сердцу Государя.

Не сомнѣваясь вообще въ великодушномъ расположеніи Вашего Сіятельства помогать ближнему, я долженъ однако-же, по собственной винѣ, сомнѣваться,—захотите-ли Вы оказать эту помощь мнѣ. Это безъ сомнѣнія зависить отъ степени довѣрія, какую я могу заслужить во мнѣніи Вашемъ. Но чтобы убѣдить Васъ, въ совершенной чистотѣ моихъ желаній и намѣреній, я не имѣю другого способа кромѣ моего честного слова. Захотите-ли Вы удовлетвориться имъ? повѣрите-ли Вы, что честное слово свяжетъ меня также крѣпко, какъ крѣпостная стѣна?

Князь! мнѣ уже поздно возвращаться къ дѣятельной жизни, если бы я даже и желалъ того; силы мои сломаны; болѣзнь меня сокрушила; я желаю только умереть не въ темнотѣ.—Повѣрьте, что я никогда не употребляю во зло ограниченной свободы, данной мнѣ на честное слово; и не откажите въ великодушномъ содѣйствіи Вашемъ, въ счастливыхъ послѣдствіяхъ коего для меня я никогда не подалъ Вамъ случая раскаяваться.

Михаилъ Бакунинъ.

14-го февраля 1857 года».

В таком же униженно-просительном тоне написана записка и государю. В последней лишь еще больше клятв и обещаний на будущее,—клятв и обещаний, которые были подсказаны совершенно разбитому,—и морально и физически,—человеку, восемь лет не видевшему света. Подсказаны были тем удрученным душевным состоянием, которое переживал заключенный, все время чрез родных соприкасавшийся с жизнью, но не имеющий возможности войти в эту жизнь, принять в ней участие. Подсказаны теми лишениями, какие приходилось испытывать человеку, в семье своей находившему и крепость душевную и силу,—и лишенному этой семьи. Душевное горе, полная безнадежность слышится в каждой строке и этой безнадежности, а отсюда и искренности Бакунина мы не можем не верить. А эта безнадежность подсказала ему и самый тон, и характер тех обещаний,

какие находим в «Исповеди». Это все было последней соломинкой, за которую ухватился Бакунин.

Откуда у него,—ярого революционера,—эти ultra - патриотические, монархические идеи?—Ответ он отчасти дает и сам: «Завещание умирающего отца, которого я не переставал любить и уважать всем сердцем, даже и в то время, когда поступал совершенно вопреки его наставлениям; его последнее благословение, переданное мне матерью, под условием чистосердечного раскаяния, встретило во мне уже давно тронутое и готовое сердце». Прощение матери, заключающее в сущности те же мысли и обещания, несомненно, также указывает на этот семейный источник чувств и мыслей Бакунина; не говорю уже о том, что и в своей деятельности интернационалиста Бакунин все же всегда оставался русским патриотом.

Результаты прошения известны. Государь наложил резолюцию: «Другого для него исхода не вижу, как ссылку в Сибирь на поселение». Это было 19 февраля 1857 года. На другой день это было объявлено заключенному. Бакунин мог чувствовать себя свободным.

Интересно, сам Бакунин не говорит в своем письме о письменном своем обращении к Александру II. Объяснений, примиряющих в этом отношении нас с Бакуниным, нет. Можно сказать больше. Нет даже обстоятельств, смягчающих его вину. Умолчание было, несомненно, сознательное,—умолчание из желания несколько смягчить свою оплошность пред Герценом. Здесь Бакунин умолчал и получилось, будто Александр II читал только записку-«Исповедь», поданную Николаю, и что в деле освобождения сам Бакунин не принимал участия. Навешанное ужасом положение, беспросветным сиденьем в крепости, унижительное прошение после самому Бакунину, вне самого момента написания, показалось для него, революционера,—слишком шагом рискованным. Воспоминание о нем было тяжело, да он писал и не «Исповедь» Герцену, а просто сообщение о тех тревожнениях, какие ему пришлось пережить.

Что Бакунин в данном случае, действительно, умолчал—и это сделал сознательно,—иллюстрируется и другим подобным же фактом. О своей жизни в Сибири он пишет: «Ген.-губ. Зап. Сибири Гасфорд, без моего ведома, выхлопотал мне высоч. соизволение на вступление в гражданскую службу,—первый шаг к освобождению из Сибири» и т. д. Обращает внимание выражение: «без моего ведома». На самом же деле мы имеем и ниже печатаем документ, как раз говорящий обратное—Бакунин сам 12 августа 1857 года обратился к ген. Гасфорду с просьбой похлопотать о разрешении служить. И потеря «чистоты и невинности», о чем он пишет к Герцену, должна быть отнесена не к факту надевания кокарды, а к факту подачи прошения, наличие которого совершенно исключает фразу «без моего ведома». Этот факт особенно показателен для суждения о полноте фактов, сообщенных Бакуниным в письме к Герцену, а вместе с тем

указывает, что некоторые шаги в деле устроения своей жизни после Бакунину самому были неприятны, как революционеру.

Резолюция государя на прошении скоро была приведена в исполнение. Бакунину она была известна 20—21 февраля, а 22-го он подает новое прошение о разрешении заехать на пути в Сибирь на родину. Сам Бакунин, как видно из прошения, ждал иных результатов своей «Исповеди». Трудно сказать, каковы были его ожидания, но прошение на имя кн. Долгорукого может дать повод думать, что он ожидал полного прощения или ссылки на родину—и теперь хлопочет о разрешении увидаться с родными.

Не надеясь на свое ходатайство, Бакунин обращается к брату, чтобы и он присоединился и от себя также предпринял шаги в этом направлении. Письмо к брату очень характерно, ибо в нем поступки называются своими именами—и прошение государю названо раскаянием ¹⁾:

«Любезный Алексѣй! третьяго дня я получилъ черезъ здѣшняго коменданта, отъ князя Долгорукова, объявленіе о томъ, что Государь Императоръ, тронутый моимъ раскаяніемъ и снисходя на мою просьбу, Всемилостивѣйше соизволилъ смягчить мое наказаніе, замѣною крѣпостного заключенія ссылкой на поселеніе въ Сибирь, предоставляя мнѣ, однако, право остаться на прежнемъ основаніи въ крѣпости—я разумѣется принялъ Высочайшую милость съ глубокою благодарностью, ибо вижу въ ней дѣйствительное большое облегченіе своей участи.—Одно меня печалитъ глубоко: съ Матушкой и съ Вами, мнѣ придется проститься на вѣки; но дѣлать нечего, я долженъ безропотно покориться судьбѣ, мною самимъ на себя накликаемой.—Теперь у меня остается одно желаніе: увидѣться со всѣми Вами въ послѣдній разъ и проститься съ Вами хорошенько. Надѣюсь, что ты получишь это письмо довольно во время, чтобы успѣть присоединить свою просьбу о томъ къ моей просьбѣ; надѣюсь также что мнѣ дозволено будетъ проститься съ нашей милой героической маменькою, съ сестрой Катей Бакуниной.—Не огорчайся, Алексѣй, а если маменька и сестра будутъ слишкомъ горевать обо мнѣ, утѣшь ихъ,—тамъ на просторѣ мнѣ будетъ лучше.

Твой М. Б а к у н и н ъ».

1857 года—23 февраля.

Результат был для Бакунина благоприятный. 2-го марта 1857 года была составлена слѣдующая бумага-маршрут:

«Къ исполненію Высочайшаго повелѣнія, послѣдовавшаго о преступникѣ Бакунинѣ, предполагается сдѣлать слѣдующія распоряженія:

¹⁾ См. также у Стеклова.

1. Предложить Коменданту Шлиссельбургской Крѣпости объявить ему, что онъ Высочайше утвержденнымъ 12-го декабря 1844 года мнѣніемъ Государственнаго Совѣта, бывъ признанъ виновнымъ въ преступныхъ загранично сношеніяхъ съ обществомъ злонамѣренныхъ людей, приговоренъ къ лишенію чина и дворянства и ссылки, въ случаѣ явки в Россію, въ Сибирь, въ каторжную работу; но что Государь Императоръ, во Всемиловѣйшемъ вниманіи къ его раскаянію, изволилъ оказать облегченіе его участи, повелѣвъ ссылку въ каторжную работу замѣнить отправленіемъ его въ Сибирь на поселеніе (объ объявленіи ему сего взять отъ него подписку).

2. Предписаніе о семъ къ Генераль-Лейтенанту Троицкому отправить съ нарочнымъ жандармскимъ офицеромъ, который, съ двумя жандармами, доставить Бакунина въ 3-е Отделеніе, рассчитывая время своего слѣдованія такъ, чтобы онъ доставленъ былъ сюда вечеромъ.

3. По доставленіи его въ III Отдѣленіе, помѣстить его въ одинъ изъ секретныхъ арестантскихъ номеровъ, съ строжайшимъ наблюденіемъ о недопущеніи къ нему никого, безъ особаго на то разрѣшенія.

4. На слѣдующій день пригласить къ 7-ми часамъ вечера брата и сестру его и дозволить имъ свиданіе съ нимъ, но не иначе какъ въ присутствіи дежурнаго Штабъ-офицера, Штаба Корпуса жандармовъ полковника Брянчанинова и въ служебномъ кабинетѣ его. Полковнику Брянчанинову будетъ дано словесное наставленіе по сему случаю.

5. Объявить здѣсь Бакунину Всемиловѣйшее разрѣшеніе заѣхать на однѣ сутки, для свиданія съ матерію, въ ея деревню (въ Тверской губерніи) съ тѣмъ, чтобы при свиданіи этомъ не находился ни кто, кромѣ самыхъ близкихъ родныхъ его; о чемъ будетъ дано должное приказаніе и офицеру, который будетъ съ нимъ отправленъ.

6. Спросить Генераль-Адъютанта Чевкина, какимъ способомъ можетъ быть удобнѣе отправленъ секретный арестантъ по желѣзной дороги до Твери, съ избраніемъ для сего предпочтительно одного изъ товарныхъ поѣздовъ—ранняго утренняго или поздняго вечерняго.

7. Для сопровожденія его изъ С.-Петербурга до мѣста жительства его матери и оттуда въ Омскъ назначить Капитана С.-Петербургскаго Жандармскаго дивизіона—Делихова, которому дать подробную инструкцію для руководства ею въ исполненіи сего порученія, объяснивъ въ оной, что Бакунину, если онъ пожелаетъ, дозволяется пріобрѣсти тарантасъ.

8. Принять должныя мѣры, чтобы при отправленіи его оттуда рѣшительно никто не провожалъ его.

9. Сообщить Начальнику Тверской губ., чтобы Бакунинъ, по прибытіи своемъ въ Тверь, былъ безъ малѣйшаго промедленія отправленъ въ имѣніе его матери.

10. Для водворенія его на поселеніе въ Сибири отнестись къ Генералу отъ Инфантеріи Гасфорту, которому Бакунинъ и долженъ быть сданъ по доставленіи его въ Омскъ.

2-го марта 1857 года».

Эта бумага рисует всю картину внешних фактов жизни Бакунина со 2-го марта по 29 марта, когда онъ прибыл в Омск, к месту своего нового жительства.

Теперь Бакунин, дорогою, правда, ценой обещаний и раскаяния получил более или менее свободную жизнь. Он мог увидеть и свою родину, проститься с матерью. Для него это было, после сиденья в крепости, большое радостное событие. Но едва ли так для матери. Она, может быть, питала ту же надежду на полное прощенье, как и сам Бакунин. Ссылка в Сибирь сына была для нее тяжела, и пребывание Бакунина у ней, расставание с ним пред отъездом в Сибирь были тягостны. По приезде в Омск Бакунин отправляет с возвращающимся поручиком Медведевым письмо к кн. Долгорукому, в котором, между прочим, просит его передать матери письмо: «оно хоть несколько успокоит ее»,—пишет он, вскрывая то душевное состояние, в каком он оставил свою мать.

Трудно установить хронологию всех фактов этого времени. Бакунин пишет: «в марте 1857 года я вышел из Шлюссельбурга, пробыл неделю в III отделении, и по высочайшему соизволенію сутки у своих в деревне, а в апреле был привезен в Томск». Документы дают следующие даты: 2-я «исповедь» подана 14 февраля. Резолюция на ней дарована 19 февраля; прошение о дозволении заехать к родным—22 февраля, письмо к брату—23 февраля. 2-го марта был выработан маршрут. Если выполнение его началось с 3-го марта, то неделя в III отделении кажется несколько преувеличенной, ибо, от 29 марта имеется уже письмо из Омска к кн. Долгорукому в благодарственном, восторженном стиле о деликатности и мягкости обращения с ним во время пути, тем более что в этом письме Бакунин сообщает и о «великодушном снисхождении», «которое я имел счастье испытать в продолжении моего кратковременного пребывания в третьем отделении». Неделю, конечно, нельзя считать «кратковременным» пребыванием, да и соображения переезда в те времена, конечно, исключают ту быстроту, с какой совершился бы переезд из Петербурга в Омск с 3 по 29 марта при условии недельного пребывания в III отделении, суток у своих и т. д. Очевидно, и в этом сообщении Герцену Бакунин несколько изменил соотношение фактов и письмо к Герцену писал под другим углом, усиливая несколько перенесенные им испытания.

Все эти документы являются для Бакунина-революционера уничтожающими. Оторванные от общей его жизни, от оценки их в масш-

табе всей этой крупной фигуры—они могут создать впечатление какого-то ренегатства, или, в лучшем смысле, сознательной лжи пред властями, так свойственной лицам, спасающим себя, свою кожу. Лжи,—с нехорошим оттенком умалчивания о ней, подтасовки фактов в сообщениях о своей жизни друзьям. Так посмотрел на эти документы официальный бытописатель, скрывшийся под именем Шведа. Его сочинение, правда, не получило печатной огласки, но, вероятно, сыграло роль в деле создания легенд об отношении Бакунина к правительству.

Но такой взгляд, такая оценка возможна лишь при тенденциозности подбора фактов, как это сделано у Шведа, или если эти документы будут вырванными страницами из книги. По вырванным страницам, случайно попавшим в поле зрения, трудно составить впечатление о всей книге. По представленным документам неосторожно было бы судить личность Бакунина. Они вскрывают новую страницу жизни Бакунина, но это только страница.

Без желания оправдывать или обвинять надо сказать о них, что Бакунин здесь односторонен. По этим документам мы можем о нем судить лишь тогда, когда будут во всем объеме выяснены те переживания, тяжелые и тягостные, те моральные страдания, какие он перенес за время своего ареста в Германии, Австрии, как дважды приговоренный к смерти, как обреченный на вечное сидение в тюрьме, прикованный цепями, как преступник, переданный в руки третьего, наконец, судьи—может быть, самого морально для него тяжелого—русского правительства, и здесь даже не судимого, а просто брошенного в крепость без всякого будущего. Он не знал даже, вечное для него заключение, или временное.

Тяжелые условия заключений за границей неожиданно сменились более мягким, особенно после «Исповеди», обращением в России, родной стране, где он даже готов был целовать цепи-кандалы. Ему теперь позволяют видеться с родными, дают книги, позволяют писать. Под этими условиями может измениться взгляд и на правителей, они предстанут пред заключенным, считавшим себя за границей заживо погребенным, гуманнейшими людьми.

Но переносимые физические страдания, страдания моральные: одиночество, кратковременные встречи с родными, возвращавшими мысль заключенного в милую, дорогую ему родную обстановку, в ту семейную идиллию, какую рисуется жизнь в Прямухине, бездеятельное продолжительное существование, прозябанье деятельной по природе натуры, неизвестность будущего,—могли привести в отчаяние—и здесь каждая соломинка могла показаться средством спасения. Этой соломинкой и явилась мысль об обращении с «Исповедями» к государям, а чем дольше время пребывания, тем, конечно, стиль «Исповеди» будет в своей температуре повышаться. Сюда надо, конечно, приобщить и те влияния отца и матери, которые не могли быть

иными, как убеждающими к раскаянию. Ведь, иных разговоров, как только о себе, о семье, не слышал, а это в конце-концов, хотя и временно, но может переработать человека, особенно так поддающегося увлечению минутой, как Бакунин.

В этом отношении опубликование всех его писем, писанных в крепости к родным, в высшей степени важно. Они выяснят общую картину идей, настроений, в которых он жил за это время, всю ту душевную глубину переживаний, которая, может быть, даст нового совершенно Бакунина за время пребывания его вне общей жизни.

И несомненно, широкая публикация документов этого периода даст материал о малоизвестном доселе времени жизни Бакунина, особом моменте его мировоззрения, когда его мысль работала в ином несколько направлении, нежели мы привыкли думать.

II. Заметки цмн. Николая I на записке Бакунина.

Подлинного экземпляра «Исповеди» Бакунина с пометками императора мне не удалось найти. В моих руках была копия этого экземпляра, настолько старательно сделанная, что не оставляла сомнений в точности и в полноте. Копия была написана с целью использовать ее для сочинения о Бакунине («Михаил Бакунин, сам себя изображающий»), что, конечно, также убеждает в ее верности оригиналу.

Император Николай внимательно прочитал рукопись Бакунина и испещрил ее своими пометками. В этих пометках он весь сказался. Общий тон отношения Николая к «Исповеди» может быть определен тем замечанием его, какое мы находим на полях против слов Бакунина: «Молю Вас, Государь, не требуйте от меня, чтоб я Вам исповедывал чужие грехи. Ведь на духу никто не открывает грехи других, только свои». Николай пишет:

«Этим уже уничтожает всякое доверие; ежели он чувствует всю тяжесть своих грехов, то одна чистая, полная «исповедь», а не условная может почестся исповедью».

Фраза Бакунина, очевидно, разочаровала Николая. Судя по словам Бакунина (Гр. Орлов объявил мне от имени В. И. Величества, что Вы желаете, Государь, чтоб я Вам написал полную «исповедь» всех моих прегрешений), Николай хотел получить от Бакунина не «исповедь», а сознание в проступках с указанием всех действующих лиц. Бакунин же дал, именно, «исповедь», — «исповедь» всех своих переживаний, в центре которой стояло его индивидуальное «я». Это и не удовлетворило императора. Для него важен был следственный материал, а не внутренние переживания. И потому, очевидно, по прочтении на первом листе он пишет Орлову: «Стоит тебе прочесть, весьма любопытно и поучительно».

И с точки зрения этой поучительности и любопытства он подошел к «Исповеди», очевидно, с безнадежностью найти в ней материал для следствия, почему Бакунин и не допрашивался, а просто был брошен в крепость без обозначения срока заключения. Одно лишь реальное последствие было для Бакунина—это ответ на одну из заключительных его просьб („позвольте мне один и последний раз увидеться и проститься с семейством; если не со всем, то по крайней мере с старым отцом, с матерью и с одною любимую сестрою, про которую я даже не знаю, жива ли она“). Эта просьба была частично удовлетворена. В конце «Исповеди» находим пометку Николая: «На свидание с отцом и сестрой согласен, в присутствии Г. Набокова».

Сравнительно немного сделал Николай при чтении отметок резолютивного свойства. Преимущественно он ограничивался немymi отметками в виде „NB“, „!“ при отдельных мыслях Бакунина или отдельных фактах.

Бакунин сообщает о начавшемся у него с 1843 года политическом разочаровании, об излечении от «политической немоши», которая привела его в конце-концов «в то незавидное положение, в котором ныне обретаюсь; да и теперь еще сам не знаю, выздоровел-ли я от нее совершенно?»—эти слова подчеркнуты и против них на полях поставлены: «NB» и «!».

Обратили внимание читателя и те заявления, какие сделал Бакунин о своих попытках обратить в свою веру других:

«Я не говорю, чтоб я не пробовал никогда,—а именно начиная от 1846 года,—обратить некоторых к своим мыслям и к тому, что я называл и считал тогда добрым делом; но ни одна попытка моя не имела успеха, они слушали меня с усмешкою, называли меня чудачком, так что после нескольких тщетных усилий, я совсем отказался от их обращения. Вся вина некоторых состояла в том, что видя мою нищету, они мне иногда, и то весьма изредка, помогали».

И это место, как и несколько ранее, где Бакунин пишет: «Но молю Вас, Государь! не требуйте от меня имен»—было отмечено знаком «NB», а последнее и в сочетании с «!». Полемизировать в этих строках с Бакуниным в понимании «Исповеди» Николай не считал нужным, ибо раньше он отметил уже свое отношение к записке Бакунина, и эти слова были лишь подтверждением.

Если задать вопрос, что более всего привлекло внимание Николая, что его преимущественно интересовало, то ответить почти невозможно. Отметки носят случайный характер, какой-либо системы в них нет. Нет руководящей мысли. Картина парижской улицы во время баррикад, когда Париж «обратился вдруг в дикий Кавказ» из-за взгроможденных баррикад, на которых рабочие, как лезгинy в ущельях;—когда на улицах нет гуляющих франтов, «а на место их мои благородные увриеры»—привлекает внимание императора, и он против последних слов ставит отметку («NB?»),—но в то же время

он отмечает (NB) и то, что Бакунин к Берлину «был пригвожден» «безденежьем», как и ранее отметил признание в бесполезном пребывании («не находя более никакой пользы, ни цели моего пребывания в Бреславле») в Бреславле (NB). Делает отметку при сообщении об отъезде из Берлина («я был принужден оставить Берлин»), о переезде в Ангальт-Кётенское царство (NB). Отмечает некоторые моменты и душевного состояния и настроения Бакунина—как его душевное состояние в Берлине пред отъездом из него в сентябре . . . года, когда я сделался зол, нелюдим, сделался фанатиком, был готов на всякое головомое, только не подлое, предприятие, и весь как бы превратился в одну революционную мысль и в страсть разрушения (NB). В связи с этим, очевидно, обратила на себя внимание и мысль о желании ехать в Прагу, чтобы «возбудить чешских демократов к вторичному восстанию» (NB). Привлекают внимание также те «крамольные мысли», о которых повествует Бакунин в связи с вопросами о положении русского крестьянина, когда Бакунин вместо обычных ответов—так угодно Богу и Государю, «дерзостно и крамольно отвечал в уме» соображениями о невыгодности освобождения крестьян.—«ответ сей, совершенно противный моему верноподданническому долгу, не противоречит моим демократическим понятиям».

Все эти отметки, как видно, не дают никакого материала для суждения о читателе, его интересах. Не дают материала для суждения о его вдумчивости, о какой-либо руководившей им мысли, его интересах. Носят они совершенно разрозненный характер. Читавший сегодня отмечал одно, завтра другое. И в этом даже отношении—нельзя заключить, чтобы его интересовали какие-нибудь мысли, настроения. Он просто отмечает отдельные факты скорее личного характера.

Несколько более интересны резолюции, набросанные на полях по поводу тех или иных мыслей записки. Главное внимание обращено было на полемику с Бакуниным по вопросу о понимании «Исповеди», что уже отмечено было выше. И все мысли Бакунина в этом направлении подчеркиваются. Для Николая из приведенных выше слов Бакунина было уже ясно, что его «Исповедь» «не полная», а «условная», как понимал это Николай. Причины к этому для Бакунина были и в его постановке вопроса об «исповеди», как покаянии в своих грехах, а не чужих, так и в том, что пишет Бакунин дальше: «раскаяние в моем положении столь-же бесполезно, как и раскаяние грешника после смерти». («Я не буду стараться извинять свои неизвинимые преступления»). Эта фраза была подчеркнута и на полях написано: «Не правда, всякого грешника раскаяние, но чистосердечное, может спасти». Опять здесь намек на необходимость чистосердечности, как бы читавший наталкивает снова на «чистую, а не условную» исповедь. Интересно и другое—это то христианское смирение, что слышится в этом ответе. Особенно оно выступает, когда мы знакомимся

с другой резолюцией. Бакунин сообщает, что у него явились мысли о «необходимости и нравственности русской революции». Он передает об этом, о плане свержения царской власти без смягчения выражений, чтобы не подумали, что «я хочу скрыть или умалить дерзость своих мыслей и что „исповедь“ моя не искренна, не совершенна». Но это ему тяжело.... «тяжело моему сердцу, потому что стою пред Вами, как блудный отчуждившийся, развратившийся сын перед оскорбленным и гневным отцом». С христианским смирением написано против последних слов: «Напрасно бояться, личное на меня, всегда прощаю от глубины сердца». Это христианское милосердие простирается и далее, когда Бакунин говорит о тяжести своих грехов против России и государя: «я преступник против Вас, Государь,—преступник против России и что преступления мои заслуживают казнь жесточайшую». В ответ на это пишется: «Повинную голову меч не сечет, прости ему Бог». Но прощения от государя, как известно, не последовало. В результате же было только свидание с отцом и сестрой, как гласит заключительная резолюция, приведенная выше. Еще одно замечание, направленное к Бакунину, находим в рукописи. Бакунин сообщает, что у него было желание написать Николаю письмо,—«и начал было письмо, оно также содержало род исповеди более самолюбивой, фразистой, чем та, которую теперь пишу». Это было в момент гибели надежд на победу славян,—в момент, когда казалось, что помощь русского царя может спасти славянское дело. И государь отмечает: «Жаль, что не прислал».

Трудно сказать, какое значение имели эти заметки. Думал ли Николай, что оне попадут к Бакунину, и тот их прочитает, а прочитав, убедится в правоте взгляда государя на «исповедь» и, действительно, после этого будет искренним в том смысле, как того хотел Николай; или же это были просто замечания для Дуббельта, чтобы оправдать себя в своем отношении к Бакунину. Или же, наконец, это просто замечания читателя для себя. Думается, что ответ подсказывается той резолютивной заметкой, адресованной Дуббельту, какую мы находим в начале: «стоит тебе прочесть, весьма любопытно и поучительно». С целью подчеркнуть эту поучительность и делаются полемические заметки, чтоб так или иначе ослабить впечатление от чтения записки, от того искреннего тона, каким она написана.

Другой ряд резолюций касается уже более широких вопросов—вопросов политики и политических убеждений русского государя. Как русский,—воспитанный на началах официальной народности, он вполне сочувствует той мысли, что нам от Западной Европы нечего заимствовать. Она уже дряхла, слаба. Бакунин пишет: «общественный порядок, общественное устройство сгнили на Западе и едва держатся болезненным усилием; сим одним могут объясниться и та невероятная слабость и тот панический страх, которые в 1848 году постигли все государства на Западе, исключая Англии; но и ту,

кажется, постигнет в скором времени та же самая участь. В Западной Европе, куда не обернешься, везде видишь дряхлость, слабость, безверие и разврат, разврат, происходящий от безверия»... и т. д.. Эта картина, какую нарисовал Бакунин с точки зрения назревающей новой „юной, элементарной, себя еще не знающей силы“—коммунизма, который явится „как результат экономического и политического развития Европы“,—эта картина увлекает Николая своими отрицательными чертами жизни. Они для него „разительная истина“, как отмечает на полях. Но, конечно, подход к этой разительной истине—другой,—это превосходство русской военной мощи, что заслоняло собою все внутреннее нестроение,—это то недружелюбное отношение к народам Европы, что мы находим в ряде резолюций. Прежде всего Николай реагирует в униссон Бакунину на его ненависть к немцам.

Когда Бакунин пишет, что после Бреславля он защищал славян, то немцы не давали ему говорить... «Немцы мне опротивели до такой степени, что я ни с одним не мог говорить равнодушно, не мог слышать немецкого языка»,—Николай на полях кратко отмечает: „Пора было!“. Это невинное с первого взгляда восклицание получает очень определенное содержание в следующих заметках. Говоря о франкфуртском собрании, Бакунин характеризует его за его националистическую узость собранием, „вышедшим из бунта, основанным на бунте и существовавшим только бунтом.“—Николай восхищается такой характеристикой: „прекрасно!“,—читаем мы на полях. Эта националистическая узость ведет к самоограничению, к желанию только устроить себя, не заботясь, а, напротив, считая других только средством для достижения своих самолюбивых мелких целей, а отсюда—и та анархия в общем деле, какая вносится разъединением на началах личных: „В немцах,—пишет Бакунин,—преобладает анархия. Плод протестантизма и всей политической истории Германии“.—Николай поддакивает: „Разительная истина“—и дальше ставит три восклицательных знака, когда Бакунин, развивая свою мысль, пишет: „анархия есть основная черта немецкого ума, немецкого характера и немецкой жизни: анархия между городами и селами; анархия между провинциями....., анархия, наконец, в каждом немце, взятом особенно, между его мыслью, сердцем и волею..... а потому никакое политическое единство между ними не было, да и не будет возможным“. Опять три знака восклицания со стороны государя и замечание: „неоспоримая истина“. Эта характеристика немцев Николаю, очевидно, была по душе и он не оставляет без внимания и дальнейшей мысли Бакунина, когда тот идет дальше, указывая, что „даже демократы одного и того же Немецкого государства не могли, не умели, да и не хотели соединиться, jeder wollte seine Meinung haben. Все были разъединены мелким, еще более самолюбивым, чем честолюбивым, соперничеством“. И в этом соглашается русский император, отмечая: „правда“. А когда в воображении Бакунина рисуется тот момент, что славяне, уже воз-

мущенные против немцев, объединятся около орла — русского государя и „с радостью, с фанатизмом бросились бы под широкие крылья российского орла и устремились бы с яростью не только против ненавистных немцев, но и на всю Западную Европу“—то государь в экстазе восторга, предвкушая себя победителем и славянским монархом, что тогда так мечталось русским, восклицает: „Не сомневаюсь, т.-е. я бы встал в голову революции Славянским Mazaniello спасибо!“.

Дальше его мечта не шла, и это место, несомненно, было для него самым приятным. Это, может быть, и заставило его дать льготы узнику, но далеко все же, при всем его удовлетворенном самолюбии быть тем хозяином, о котором говорил после гр. А. К. Толстой («Колокольчики мои...»), было до полного примирения с Бакуниным.

Таковы беглые заметки одного из читателей „Исповеди“ Бакунина, вполне присоединившегося к его выводам о состоянии Европы, но исходившего из совершенно противоположного исходного начала. Крайний пропагандист идей разрушения и крайний монархический принцип объединились в одном—в чувстве к немцам, распространяя их на всю Европу. Один, разочарованный неудачами своей пропаганды, крушением, хотя и временным, своих идеалов борьбы,—другой, очарованный своею видимой военной мощностью и мечтой быть всеславянским вождем. Но поняли-ли они друг друга,—это вопрос другой. Он решается всем содержанием записки, рисующей неприглядную картину внутренней жизни России. Прав был Бакунин, когда после, в письме к Герцену, характеризовал свою основную мысль, что в записке его „не обошлось для него (Николая) без многих поучительных замечаний на счет его внутренней и внешней политики“. Но, именно, эта часть совершенно не произвела на государя впечатления, он пропустил все это без внимания, восприняв лишь то, что было ему приятно. Этой стогоной, а не твердостью и смелостью замечаний, как думал Бакунин, судя по письму к Герцену,—и понравилась Николаю „исповедь“, о чем, очевидно, все же был осведомлен и Бакунин.

Л. Ильинский.

Перед свежей могилкой.

Памяти В. Г. Короленка.

Умер великий писатель...

В оценке писателя современники и потомство часто не сходятся. В этом случае—я уверен—суд тех и других будет одинаков: умер великий писатель—большой художник слова и несравненный, единственный в своем роде, публицист.

Теперь, когда он кончил свой писательский путь, когда его мягкий, чарующий голос умолк навсегда, яркая звезда его славы засияет вечным, немеркнущим светом. Разойдутся и те немногие тучки, которые пытались при его жизни закрыть, заслонить от наших глаз это светило русской литературы... Умолкнет и гул воплей зависти, злобы и клеветы, которые порою тшились очернить даже этот прекрасный образ чистого, великодушного, самоотверженного человека. И наша гордость, наша любовь, наш Короленко займет по праву принадлежащее ему место на русском Олимпе, где первым среди равных блистает Пушкин, где всех их, избранников русского национального духа, ждет незакатная слава и неумирающий восторг, из поколения в поколение, перед подвигом их жизни и величием их творчества.

Для Короленко это—второй восход. Первый, прижизненный, был в своем роде тоже исключителен.

История русской литературы знает немного таких литературных дебютов. Пушкин, Лермонтов, Достоевский и Толстой,—вот, кажется, и все, кто раньше Короленко с такой же, как и он, головокружительной быстротой списал себе всероссийскую литературную известность. «Вообще с рассказами мне везло»,—скромно говорит Короленко сам о себе,—«беллетристику встретил успех, несколько даже меня смутивший». На самом деле было нечто поразительное, забытое за полвека о дебюте Л. Толстого. Через два—три месяца после появления в печати «Сна Макара» Короленко был и для широких кругов читателей, и во мнении литературных кругов всех лагерей не литературной надеждой хотя бы и первого ранга, а признанным художником слова, которому место в первых рядах современных русских писателей.

И каждый новый его рассказ только укреплял за ним это положение. А между тем то время, когда выступил Короленко, не было бедно литературными дарованиями. Не говоря об его сверстниках, среди которых было не мало замечательных талантов, из писателей старшего поколения внимание читателей продолжали сосредоточивать на себе такие гиганты, как Лев Толстой, Салтыков-Щедрин, Глеб Успенский.

Это был необычайный, изумительный успех, и в то же время это был прочный успех. Прошло тридцать пять лет; «все изменилось под нашим зодиаком»: в литературном мире, в литературных настроениях и вкусах все менялось за этот промежуток времени не раз и не два; появлялись и исчезали большие таланты, приходили и уходили влиятельные новые направления, «изменявшая мода» заставляла читателей да и писателей, многих писателей, «сжигать» то, чему еще недавно поклонялись, и «поклоняться» тому, что сжигали. Но Короленко устоял на своем

месте среди всех перемен, движений, столкновений и крушений. «Мода» на него, если только можно назвать этим именем отношение к нему читатели,—не прошла и не проходила. Каждая строчка, написанная им, продолжала в течение всех этих долгих лет встречать живейший отклик в публике. Он никогда не терял дороги к сердцу читателей, чем бы оно ни было переполнено в этот момент, каким бы увлечениям ни отдавалось.

В чем же секрет такого успеха и такого постоянства в успехе?

Прежде всего, конечно, в несравненном художественном таланте, притом таланте обаятельном, рафаэлевского, моцартовского типа, в божественной красоте таланта, ласкающего взор и слух. Но одного таланта недостаточно, даже такого таланта. Самое блестящее литературное дарование иногда только светит, но не греет. Но взор может утомиться от долгого созерцания причудливой смены красок и слух устанет внимать самой затейливой игре звуков, если за этими красками и звуками не чувствуется того, что вливает «душу живую» в прекрасные образы, создаваемые художником слова.

К великому нашему счастью, в нашем русском литературном Пантеоне почти нет этих холодных талантов. Гений русской литературы умеет насыщать сердца своих первых избранников не одной любовью к красоте, но и любовью к правде. И потому они светят нам, сами горя и нас зажигая не эстетическим только вос торгом.

Короленко не даром с первого же шага на литературном поприще вступил в среду отмеченных этим огнем избранников. Великий художник носил в душе возвышенный идеал.

Он находил глубокое содержание в изречении Гете: «Великого человека мы познаем только в совокупности человечества». Для Короленко—это «целая философия, целое направление мысли, чувства, настроения». Да,—говорил он,—могут быть ничтожные люди, очень много ничтожных людей, но человечество не ничтожно, перед всем человечеством самый великий человек—только атом, только одна капля, лишь потому несущаяся на верхушке волны, что ее вместе с волной подняла величайшая и самая могучая из стихий, вся состоящая из порывов мысли, из кипения чувства, из миллионов стремлений, сливающихся в безграничный океан и создающих в совокупности представление о величии все совершенствующейся человеческой природы. Это представление глубоко демократично: все, что литература создала лучшего, наиболее реального и вместе наиболее идеалистического, покоилось, сознательно или бессознательно, на этом представлении.

И все, что создал сам Короленко, неизменно покоится на том же фундаменте, провикнуто той же гуманной философией. Для этого художника не было иной более важной и более притягательной задачи, как искание человека, как художественное раскрытие «черт человечности» всюду, куда бы его ни заносила волна «безграничного океана» жизни. И та же философия, естественно, особенно в условиях нашей общественной жизни, влекла чуткого художника на путь публицистики, на борьбу «за права и достоинство человека всюду, где это можно сделать пером».

Художник, не переставая быть художником, стал публицистом—и таким публицистом, которому в истории русской политической печати принадлежит наряду с немногими завидное, ни с чем не сравненное, имя т р и б у н а. Да, он был трибуном нашего времени—и неуклонно, неизменно при всевозможных обстоятельствах возвышал свой голос за восстановление поправленных прав, на защиту человеческого достоинства.

Судьбе было угодно, чтоб, в течение всего тридцатипятилетия его литературного подвижничества и горения, мне лично пришлось близко и постоянно наблюдать этого замечательного человека именно в роли трибуна. Поэтому я решаюсь остановить несколько дольше ваше внимание на этой стороне дорогого нам образа.

По условиям современной жизни, и русской в особенности, трибун, чтобы восполнять свои обязанности, должен стать журналистом. И Короленко стал присяжным

журналистом, газетным журналистом, не знающим никаких сроков, никаких передышек, вечно мчащимся на фельд'егерских, по выражению Короленко.

В одной своей автобиографической заметке он пишет: «В «Русских Ведомостях» я прошел строгую публицистическую школу». Это, пожалуй, слишком: конечно, ни в какой школе он не нуждался и никакой школы не проходил в «Русских Ведомостях». Но что правда—то правда: вместе с «Русскими Ведомостями», вместе со «всеми тесно спевшимся отрядом» публицистов, работавших в этой газете, он в течение трех десятков лет искал путей к защите пером «прав и достоинства человека». Часто,—увы!—в жестоких условиях русской печати это оказывалось невозможным. Но поражения не останавливали ни Короленко, ни «тесно спевшийся отряд». Попытки продолжались—и—будем откровенны—теперь это уже история, не так уж редко увенчивались победой.

С конца 1885 года, когда в «Русских Ведомостях» появились первые корреспонденции Короленко из Горбатова, Нижегородской губ.,—судебные отчеты по разбиравшимся там делам о крестьянских беспорядках, до последних дней существования газеты эта совместная работа наша не прерывалась. И многие публицистические кампании Короленко, создавшие ему репутацию незабвенного русского трибуна, были проведены на столбцах «Русских Ведомостей».

С середины 90-х годов он был членом редакции большого, влиятельного столичного журнала; с пятого года, когда условия русской печати стали относительно легче и в России возникло много прогрессивных газет разных направлений, не только в Москве и Петербурге, но в Киеве, Харькове, Одессе и других больших городах многие редакции усердно добивались сотрудничества знаменитого писателя; он откликался иногда на эти приглашения, но,—писал он мне в 1909 году,—«это для меня известного рода старая потребность от времени до времени появляться у вас» (от 14 ноября 1909 г.). И еще накануне февральской революции мы с ним вели деятельную переписку по поводу некоторых неприятных последствий одного из блестящих выступлений Короленко на столбцах «Русских Ведомостей» в защиту «прав и достоинства человека». 3 февраля 1917 года писатель извещал меня из Полтавы: «Повестку получил. Чувствую себя достаточно здоровым и явлюсь вовремя. Выеду числа 21—22-го, так, чтобы явиться во всяком случае дня за 3 до суда»... В те самые дни, когда был произнесен приговор истории над старою русскою властью, она собиралась судить Короленко вместе с «тесно спевшимся отрядом» «Русских Ведомостей» за статью о деле Бейлиса.

Короленко в Москву не поехал. Он писал о другом: «Крепко жму руку. Горячее поздравление и привет всем товарищам по «Русским Ведомостям». Обнимаю всех, как в светлый праздник» (от 15 марта 1917 г.).

Ни раньше, ни позже для Короленко и его попутчиков на публицистическом пути не встретилось уже поводов для ликований «как в Светлый Праздник», но великий писатель успел еще не раз выступить на столбцах своей «любимой», по его выражению, газеты, хоть и тогда он был уже тяжело болен, и о себе, как газетному сотруднику, говорил так: «Для статей «курьерских» я теперь совершенно не могу». Был бы рад, если бы годился для простой почтовой гоньбы». Но мог ли молчать он, носитель и проповедник гуманной философии «величия все совершенствующейся человеческой природы» в такое время, когда на очередь политического дня стала переоценка всех ценностей? На столбцах той же газеты он откликался на самые жгучие темы того момента. Откликнулся и на ту, которая затронула главный мотив его собственной благородной философии.

Посылая статью «Война, отечество и человечество», он мне писал: «Как видите, я до известной степени интернационалист и сочувствую обращению с предположением мира без аннексий и контрибуций. Но мысль моя такова: нам предстоит или слава великого почина в пользу мира для всего человечества (приблизительно так), или безславие и позор. И это зависит от дальнейшего отношения к отечеству. Человечества единого еще нет. Для него приходится работать через отечество.

Если мы изменим отечеству, не сумеем защитить его, то погибнем и надолго затормазим дело самого человечества» (8 августа 1917 г.).

Это было едва ли не последнее крупное публицистическое произведение Короленко. Трибун умолк.

В одном из последних полученных мною от него писем (от 30-го апреля, 3-го мая 1918 года), он говорит: «О наших событиях вы знаете. Кажется, знаете и о здешних безобразиях. Прежде свирепствовали большевики, теперь предались эксцессам другие «победители». Тот же приезжий говорил, что в русских газетах были известия о нашем «виленском застенке» (от здания, в котором помещалось прежде эвакуированное виленское юнкерское училище, потом обращенное в казармы), и о моих статьях по этому поводу. Такова уж моя судьба: бороться со всякой торжествующей властью. На некоторое время безобразия утихли, но все это продолжает тлеть под пеплом, оживая от времени до времени. Все это, конечно, не способствует оздоровлению сердца, но все же, хотя и с колебаниями, я понемногу поправляюсь и даже работаю: принялся за второй том «Истории современника» и сильно его подвинул. Ухожу в прошлое от современных «злоб дня», пока они меня не вытаскивают почти силой».

Теперь, когда не стало писателя, обозревая его литературный путь, мы ясно видим, в чем заключался секрет его неизменного обаяния: великий литературный талант в нем сочетался с великим сердцем, а это сердце билось по внушениям возвышенного идеала и контролировалось острым, орлиным взором, который смело проникал небесный свод идеализма до самых туманных его далей, но вместе ясно различал, где луч реальности кладет грань настоящему дню. Он был из разряда тех, кого «величайшая и самая могучая из стихий» поднимает на вершину волны; но редко когда случалось, чтобы малая «капля», поднявшись на поверхность «безграничного океана» порывов человеческой мысли и кипения человеческих чувств, была лучшим отражением «величия все совершенствующейся человеческой природы». И потому Владимиру Галактионовичу Короленко суждена незатертая слава.

Владимир Розенберг.

Памяти ушедших.

За годы, в течении которых не выходил наш журнал — за 1919 г. нам удалось выпустить только две книги—Россия понесла большие утери в мире общественном и научном. Ушло из жизни немало и сотрудников «Голоса Минувшего». Не имея возможности своевременно отозваться на их смерть на страницах журнала, мы в каждом № возобновившегося теперь, «Голоса Минувшего» будем посвящать несколько страниц памяти тех, которые так или иначе были связаны с нашим журналом.

Редакция.

И. В. Лучицкий.

За несколько месяцев до начала мировой войны в Петербурге и в Киеве был отпразднован пятидесятилетний юбилей ученой и писательской деятельности Ивана Васильевича Лучицкого, начавшего эту деятельность в Киеве и там проводшего большую часть своей жизни, но в последние годы бывшего профессором в Петербурге ¹⁾. Тогда Иван Васильевич был еще полон сил, много работал и носил в себе планы новых работ и нельзя было ожидать, что так скоро смерть его у нас похитит. Весной 1917 г. он уехал из Петербурга в Украину, а осенью до нас дошла весть о его кончине. Сначала она, весть эта, дошла до нас, его петербургских друзей, в виде неопределенного слуха, но потом она подтвердилась, хотя никто не мог сообщить подробностей, и даже о дне его смерти сообщались противоречивые показания. Здоровье Ивана Васильевича пошатнулось еще в начале 1917 г., но, как говорят люди, видевшие его в последние месяцы его жизни, сам он еще думал долго жить и долго работать.

Я был близок с покойным в течение без малого сорока лет. Мы принадлежали к одному поколению (он был старше меня только на пять лет) и вступили в жизнь под влиянием одной и той же эпохи в истории русской научной и общественной мысли. Это было время, когда в порядке дня стоял у нас позитивизм Огюста Конта с его социологическою проблемою, очень рано захватившею и Лучицкого, как захватила она тогда же и М. М. Ковалевского, С. А. Муромцева и др. Лучицкий меня интересовал еще в студенческие мои годы своими статьями историко-философского характера, помещавшимися в тогдашнем научном журнале «Знание». Лично мы тогда еще не были знакомы и даже ничего друг о друге не знали, но работали уже в одной и той же области. В конце 1878 г. вышла в свет моя магистерская диссертация о французских крестьянах в эпоху революции, а в том же году в «Известиях» киевского университета начато было печатание большой работы Лучицкого о крестьянской реформе на Западе. Общий научный интерес не мог не сблизить нас, когда мы встретились. Впоследствии Лучицкий прямо специализировался в истории французского крестьянства. Наши теоретические взгляды в области исторической науки тоже были довольно близки, и во всяком случае в ней оба мы были более французами,

¹⁾ И. В. Лучицкому была посвящена статья проф. Тарле в «Голосе Минувшего» 1914 г., там же помещен и его портрет.

чем русскими, хотя позднее Лучицкий стал относиться к социологии равнодушно, а когда я в начале восьмидесятых годов работал над своей докторской диссертацией по философии истории, он к этому относился не без скептицизма, особенно в виду критической позиции; занятой мною по отношению к Конту, к которому, впрочем, и сам он охладел.

Живя сначала в разных городах, мы все-таки довольно часто виделись друг с другом. Первая наша продолжительная встреча произошла в Париже в начале восьмидесятых годов, после чего нам и впоследствии случалось быть в этом городе, который мы оба любили, в одно и то же время. Особенно мы сблизились в Москве во время нашей туда поездки на археологический съезд в конце восьмидесятых годов, а затем я довольно часто ездил к Лучицкому—и в Киев, и в его полтавское имение, где я гостил у него по несколько дней, как и он, приезжая в Петербург, останавливался у меня, а в первый год своего пребывания в третьей государственной думе даже жил у меня. Наше сближение повело за собою и более тесное общение между нашими семьями.

Не эти, однако, личные отношения налагают на меня обязанность писать теперь об Иване Васильевиче, а то, что он был крупный русский ученый, один из наиболее близких мне по предмету специальных занятий. Другим таким из русских ученых был только, ныне тоже покойный, М. М. Ковалевский, с которым оба мы были тоже в приятельских отношениях.

На внешних фактах биографии Лучицкого останавливаться подробно не буду. Ограничусь немногими, наиболее важными.

Родился И. В. в 1845 г. и, значит, дожил до 73-летнего возраста. Получив высшее образование на историко-филологическом факультете киевского университета, он 25 лет от роду защитил диссертацию *pro venia legendae*, а через год и магистерскую диссертацию, после чего уехал на два года в заграничную командировку во Францию, Италию и Германию, где собрал материал для своей докторской диссертации, которую и защитил в 1877 г. Впоследствии он часто ездил за границу с научными целями, особенно в последние годы XIX и в первые годы XX вв., когда почти каждое лето он отправлялся работать в провинциальных архивах Франции, которые он посетил в двух с половиною десятков городов разных частей этой страны. Начав свою преподавательскую деятельность в средней школе, он очень рано сделался профессором родного университета, где читал лекции до 1901 г.; одно время (1879—1889 гг.) преподавал и на высших женских курсах, закрытых в 1889 г. По их возобновлении он на короткое время (1904—1905 гг.) возвращался туда читать лекции. В 1905 году Лучицкий предался политической деятельности, которая привела его в 1908 г. в члены третьей государственной думы, что заставило его переселиться в Петербург. Здесь, однако, он постепенно все более и более втягивался в преподавание, сделавшись профессором на высших женских курсах, в психоневрологическом институте и на курсах Лесгафта, а напоследок и приват-доцентом университета. Таким образом, главными местами его деятельности были его ученый кабинет и университетские аудитории, архивы и библиотеки. В качестве публичного лектора, автора ряда статей в общих журналах и редактора русских переводов нескольких иностранных трудов, он содействовал и распространению исторических знаний и в более широких кругах общества.

У высшего учебного начальства Лучицкий был в сильном подозрении, как человек с сомнительною благонадежностью, а для этого по тем временам нужно было только не сторониться общественной деятельности, а в ней проявлять известное свободомыслие. Лучицкий действительно принадлежал к так называемым либеральным профессорам, на которых власти косились, и еще в начале своей профессорской деятельности принимал деятельное участие в местном самоуправлении, состоя гласным городской думы в Киеве, земским гласным в Полтавской губернии, почетным мировым судьей в Золотоношском ее уезде, и пр. Когда началась знаменитая весна 1904 года, он занялся деятельной агитацией в пользу конституционных демократических идей:

редактировал в Киеве газеты: «Киевские Отклики» и «Свобода и Право», был членом известных земских съездов, принимал видное участие в профессорском Академическом Совете, был одним из основателей партии народной свободы и т. п., но ни в первую, ни во вторую думу ему попасть не удалось не без создания к тому искусственных препятствий в виде судебного преследования одного из редактировавшихся им органов. Во время первой думы он, тем не менее, проживал в Петербурге, приняв участие в основании и работе общества автономистов-федералистов. Избранный, наконец, в третью думу в 1908 г., он, хотя и оставался в ней до истечения ее пятилетнего срока, но уже не проявлял прежней энергии в общественной деятельности, недовольный общим характером всей думы и все более расходясь во взглядах с вождями к.-д. партии, оставаясь, однако, членом ее центрального комитета ¹⁾.

Время оценки общественной деятельности Лучицкого еще не наступило, да и нужно, чтобы такую оценку сделали киевляне, которые ближе стояли к этой деятельности. Могу только передать личное свое впечатление и притом не столько от самой политической деятельности Лучицкого, за которую я пристально не мог следить, не живши в Киеве и не будучи членом ни центрального комитета партии народной свободы, ни третьей государственной думы, сколько от личного характера Ивана Васильевича, взятого с данной стороны. Дело в том, что он был слишком, так сказать, субъективен, экспансивен и притом импульсивен, чтобы уметь быть действительным политиком, проявляющим сколько-нибудь хладнокровия, предусмотрительности и если не беспристрастия, то, по крайней мере, способности ладить с нужными в правовом отношении людьми. Он сам, повидимому, стал сознавать, что не рожден быть политиком, и, быть может, здесь нужно искать одну из причин его охлаждения к думской деятельности, которая даже прямо ставилась ему в счет его киевскими избирателями, выражающими неудовольствие по поводу того, что он почти никогда не выступал на трибуне. Никто, тем не менее, не решился бы отрицать заслуг Лучицкого, как прогрессивного городского и земского гласного, как редактора прогрессивных органов прессы, как одного из основателей партии, которой суждено было сыграть видную роль в нашей истории между первой и второй революциями.

Во всяком случае, кульминационного пункта общественная деятельность Лучицкого достигла в годы, предшествовавшие его участию в государственной думе. Это были годы как раз перерыва в его профессорской деятельности, в которой протекала большая часть его жизни. В последние годы он даже усилил эту деятельность, взяв на себя преподавание в нескольких высших учебных заведениях Петербурга. Собственно говоря, он не любил читать, да обыкновенно и не читал систематических общих курсов, предпочитая им или специальные по вопросам, над которыми сам в данную минуту работал, и не практические занятия семинарского типа, посредством чего приучал к приемам научной работы своих слушателей. В петербургский период он больше всего преподавал на высших женских курсах, где его работа имела именно такой характер. Нельзя не упомянуть, что в своей семинарии Лучицкий дал научное направление нескольким ученым, которые потом занимали кафедры в разных университетах или вообще проявили себя в научных занятиях. Таковы были Н. Н. Любавич, Н. В. Молчановский, Д. М. Петрушевский, В. А. Мякотин, Н. П. Василенко, В. К. Пискорский, Е. В. Тарле и др., хотя и не все даже сделавшиеся всеобщими историками.

Как научный работник, Лучицкий отличался многими качествами, необходимыми в таком работнике. Он обладал поразительною трудоспособностью, поражая своею усидчивостью. Во многих городах ему позволяли приходить работать в архиве чуть не тотчас же после солнечного восхода, раньше не только самих архивистов, но и сторожей, и он оставался в архиве до вечера с небольшим перерывом для завтрака. В архивах он исписал груды бумаги, снимая копии с документов. Я своими

¹⁾ В 1917 г. И. В. Лучицкий вышел из партии к.-д. и присоединился к народным социалистам. Ред.

глазами видел целые их чемоданы, один из которых у него украли, когда он в Петербурге ехал с вокзала на мою квартиру. Читал Лучицкий поразительно много и притом очень быстро, удерживая потом в памяти все наиболее существенное и интересное. Лично у него была большая библиотека, для помещения которой над частью его одноэтажного дома в Киеве была сделана особая надстройка. Здесь были книги на разных языках, между прочим, на таких, как испанский, голландский, шведский, которые владельцу библиотеки были более или менее известны. Обладая такою трудоспособностью, имея вкус к накоплению неизданного архивного материала, распоряжаясь большими фактическими знаниями, Лучицкий не отворачивался и от скучной работы над подсчетом цифровых данных для составления статистических таблиц, при чем из-за деревьев он не забывал леса, сводя всю такую подготовительную работу, требовавшую большой энергии, к широким обобщениям, но к обобщениям все-таки исторического (идиографического), а не социологического (номологического) характера, хотя и широко пользовался социологическими понятиями и формулами в своих исторических изысканиях, когда, напр., сравнивал историю крестьян в разных странах Западной Европы, равно как и в родной Малороссии.

Лучицкий был хорошо осведомлен в истории разных западно-европейских стран и преимущественно в новое время, но излюбленною им страной была Франция, а в ее истории две эпохи: вторая половина XVI в., время религиозных войн, и конец XVIII в., годы, предшествовавшие революции, и сама революция; в обоих же этих эпохах для него на первом плане стояла социальная сторона: в первом случае история взаимоотношений аристократии и буржуазии и отношения обоих сословий к королевской власти, во втором—вопрос о положении крестьянства, о мелком крестьянском землевладении, об аграрном строе Франции вообще как до 1789, так и после 1789 года.

Первыми его научными трудами были три диссертации: 1) «Буржуазия и феодальная аристократия на юге Франции в 1572 г.» (1870); 2) «Кальвинисты и феодальная аристократия во Франции» (1871), и 3) «Католическая лига и кальвинисты во Франции» (1877). К сожалению, эти работы не были переведены по-французски и потому остались почти неизвестными и неоцененными во Франции, историкам которой сделались доступными только сборники архивных документов, изданные Лучицким. Между тем в книгах его по этой эпохе были не только свежий материал, но и новые для семидесятых годов взгляды. Много счастливее были многочисленные работы Лучицкого—статьи и целые книги—по вопросу о распределении поземельной собственности во Франции в конце XVIII века. Некоторые из его статей были прямо опубликованы по-французски, другие, появившиеся сначала по-русски, вышли в свет и во французских переводах. Французские ученые не могли не оценить важного научного их значения и по материалу, привлеченному Лучицким и исследованию (податные списки), и по методу их разработки (научно-статистическому), и по полученным результатам, главным образом, по более точному представлению об аграрном строе Франции накануне революции. Не перечисляя здесь всех работ Лучицкого в этой области, назову только более крупные или более обобщенные: это—книжки: 1) «Крестьянское землевладение во Франции накануне революции, преимущественно в Лимузене» (1900; фр. пер. 1912) и 2) «Состояние земельных классов во Франции накануне революции и аграрная реформа 1789—1793 гг.» (1912; по-фр. первая половина в 1911 г.).

Крестьянским вопросом Лучицкий много занимался и по отношению к другим странам. В 1878 г. появилось начало его неоконченной книги «История крестьянской реформы в Западной Европе», а кроме того, он написал несколько журнальных и словарных статей о крестьянах в разных странах Европы. Родная Малороссия с этой стороны тоже настолько заинтересовала нашего историка, что в промежуток времени между занятиями французской историей XVI и XVIII вв. он пристально занялся—и тоже на основании архивного материала—украинским землевладением в старое время. Вообще экономическая история становилась все более и более в

центре внимания Лучицкого. Между прочим, в начале восьмидесятых годов в сотрудничестве с учеником своим Н. В. Молчановским он составил ряд «Очерков экономических отношений в Западной Европе с XVI в.», в приложении к переводу «История нового времени» Зеворта. Особый, ставший даже почти исключительным, научный интерес Лучицкого к экономической стороне истории не сделал его сторонником экономического материализма, так как общий социологический взгляд на природу общества в его структуре и эволюции у него сохранился тот же самый, какой был вначале, когда он формулировал задачу своих исследований в области истории французской революции XVI в.

Во Франции работы Лучицкого о ее аграрном строе в XVIII в. были оценены очень высоко, хотя некоторые его взгляды и подверглись критике (как и в России — со стороны М. М. Ковалевского). Автор главы о дореволюционной Франции в известной коллективной истории этой страны, изданной под редакцией Лависса, говоря о французском крестьянстве XVIII в., приводит на этот счет взгляды только обоих названных русских историков — Лучицкого и Ковалевского. «Тому, — пишет в статье профессор реймского университета Апри Сэ (H. Se'e), — чем экономическая и социальная история Франции в XVIII в. обязана трудам Лучицкого, тому, кто желал бы оценить значение этих работ, можно, прежде всего, сделать такое знаменательное указание: именно в настоящее время совсем нельзя заниматься экономической и социальной историей Франции в XVIII в. без изучения этих работ. Капитальная заслуга Лучицкого, — продолжает он, — заключается в том, что, как выразился Саль-ик, он «обновил или, вернее сказать, создал историю поземельной собственности во Франции в XVIII в., явился родоначальником плодотворного метода, заимствованного у него всеми, кто только после него приступал к тому же предмету».

Перед русской читающей публикой заслуга Лучицкого заключалась еще в том, что, благодаря ему, увидели свет в русском переводе некоторые иностранные книги по истории, преимущественно новой, и по социологии, выходявшие под его редакцией. Когда я задумал издание коллекции исторических книг под общим заглавием «История Европы в прежние века и в новое время по эпохам и странам», он охотно согласился принять участие в редактировании этого издания и написать для него даже не одну книжку, и только другие некоторые дела помешали ему исполнить свое обещание. Многим читателям Лучицкий был известен и в качестве автора статей в таких журналах, как «Знание», «Отечественные Записки», «Русское Богатство», «Киевская Старина» ¹⁾ и т. п. До сих пор, к сожалению, еще не существует полного списка всего, написанного Лучицким. Составлением такого библиографического указателя еще придется заняться, равно как разбором его рукописей, среди которых имеются не только сырые материалы, извлеченные им из архивов, но и начатые им работы. Некоторые из статей Лучицкого нуждались бы и в переиздании. Когда Малороссия была отрезана от Великороссии, прекратилась почти вся периодическая пресса, на столбцах и страницах которой могли бы появиться даже краткие его некрологи. Мне до сих пор неизвестно, да и неоткуда было узнать, как переживал он последние события нашей истории. Только Историческое общество в Петербурге, деятельным членом которого он был в последние годы, справило по нем скромные поминки, когда подтвердился слух об его кончине.

Н. Карчев.

¹⁾ В «Голосе Минувшего» 1913 г. напечатана была его статья «Феодализм при Людовике XVI».

Л. М. Лопатин.

(† 21/8 марта 1920 г.).

Не только жизнь каждой страны в ее различных периодах, но и жизнь отдельных городов и даже слоев общества имеет в отдельные сроки свои характерные черты, свой стиль, свою своеобразную, иногда трудно уловимую, окраску; это своеобразие может проявляться в самых различных областях; время стирает этот облик, и тогда этот уклад жизни забывается, меркнет, но подчас данные общественные интересы, строй существования известного слоя общества находят свое выражение в каком-нибудь представителе, который с ног до головы оказывается характерным для данной эпохи, для данных переживаний, интересов, облика и т. п. Такие люди типичны, потому что они носят на себе отпечаток определенной культуры, в них нет ничего составного; часто эти лица, воспитанные известной эпохой, навсегда остаются верными этим своим традициям, впечатлениям и вкусам—времена могут меняться, могут меняться моды, настроения, общественные и политические течения, самые обстоятельства жизни отдельных государств, но эти лица остаются верными самим себе.

Таким типичным москвичем, идеалистом, представителем просвещенной и ученой Москвы конца прошлого века был покойный Лев Михайлович Лопатин; с его смертью мы потеряли одного из последних оставшихся в живых идеалистов прошлого столетия. Вл. Соловьев, кн. С. Н. Трубецкой, Н. Я. Грот, Н. В. Давыдов, С. С. Корсаков, Л. И. Поливанов, Н. И. Шишкин, Н. Е. Бугаев, С. А. Юрьев, В. Я. Цингер—вот духовная семья и духовная родина Льва Михайловича. Начиная с одежды, манеры держаться, соблюдения визитов и определенные дни и кончая литературными и общественными вкусами, и что самое существенное—определенной философской школой, авторитетами, любимыми авторами,—все дышало определенной эпохой в Льве Михайловиче. Л. М. ценил то время, в которое он вырос, ценил тогдашних ученых, тогдашние научные исследования—и остался им навсегда верен. «Старинный,—значит хороший труд»,—говаривал покойный. Теперешним неокантианцам, например, он всегда предпочитал прежних последователей Канта; Авенариус, Мах, Шuppe и другие позитивисты представлялись ему неинтересными после корифеев английского эмпиризма — Юма, Милля и Спенсера. Новейший спиритуализм в духе Лотце, Липпса казался ему половинчатым, недоговоренным, «тусклым», как он любил выражаться, после Оригена, бл. Августина, Лейбница и Мальбранша. При таком тяготении к старому есть опасность своеобразного застоя, консервативного преклонения перед отжившим: ни тени этого недостатка не было в натуре Льва Михайловича.

По этому поводу невольно вспоминается, как совсем недавно в своей речи «Настоящее и будущее философии» Л. М. Лопатин высказал о современных течениях философии исключительно неожиданную и совсем новую оценку: всех молодых ученых поразила в разрез со всеми установившимися вкусами отрицательная характеристика Л. М. Лопатиным имманентизма и неокритицизма и положительное его отношение к только-что народившемуся движению прагматизма. Эта отзывчивость к недавно возникшему направлению школы Джэмса показывает, как живо Л. М. Лопатин реагировал на все новое. Но дело в том, что для Л. М. Лопатина иногда новое оказывалось старым, потому что он по своей чуткости не раз в свое время умел заинтересоваться авторами тогда, когда их произведения еще не были популярными и не вошли в моду. Яркий тому пример: теперь у всех на устах имя Бергсона, а Льву Михайловичу его главное произведение «*Essai sur les données immédiates de la conscience*» было известно еще ранее 1891 года (см. Пол. зад. фил., II, стр. 323), т.-е. приблизительно на другой год после того, как вообще Бергсон впервые стал

печататься. В русской литературе Л. М. Лопатин вообще впервые открыл читателям Бергсона.

Так своеобразно сочетались в Льве Михайловиче его классические вкусы с умением подойти к новому. Да разве все цельное, самобытное просто старомодно и только? Весь стиль жизни и характер творчества покойного дышал особой строгостью и слаженностью основных корней его философского мышления и духовной культуры. Эта духовная культура стала плотью и кровью Л. М. давно—тут, разумеется, много дала среда, юношеские знакомства, молодые увлечения и интересы талантливого мыслителя. Л. М. принадлежал к старинной дворянской семье, чрезвычайно культурной и просвещенной. В доме Лопатиных на «средах» встречались самые видные общественные деятели тогдашней культурной Москвы—профессора, ученые, литераторы, судебные деятели. Достаточно раскрыть «Философские характеристики и речи» Л. Лопатина, и перед нами предстанет в ярких и проникновенных некрологах большинство членов этого кружка, во главе которого стоял отец покойного Михаил Николаевич Лопатин. М. Н. был видным общественным и судебным деятелем, большим любителем литературы и философии, поклонником Спинозы, несомненно много давшим еще в гимназические годы Л. М.—чу в смысле философских интересов. Такова была располагающая к умозрительным занятиям домашняя обстановка, но, разумеется, наиболее сильный толчок в философском развитии Л. М. оказал его друг—другой корифей русской философии XIX века—Владимир Сергеевич Соловьев.

До конца жизни на письменном столе Льва Михайловича лежал экземпляр «Оправдания Добра» Вл. Соловьева первого издания 1897 года со следующей трогательной надписью:

«С тобой, Левок, знакомы мы давно.
Пускай наружность изменилась.
Что-ж из того? Не все-ль равно?
Ведь память сердца сохранилась».

К слову да в н о дана ссылка самого Соловьева: «35 лет». Следовательно, в 1862 году началась эта «старинная дружба» двух философов, по выражению Соловьева, т.-е. когда Л. М. шел 8-й год (родился он в 1855 г.). Вот как сам Лев Мих. писал о своей связи с Соловьевым: «Покойный Вл. С. Соловьев был мне одним из самых близких людей на свете, с которым у меня рано установились почти братские отношения. Я подружился с ним, когда мне было семь лет, а ему девять; отрочество и юность мы прожили вместе. И наша дружба не прерывалась до самой его смерти. Нечего и говорить о том, как я страшно много ему обязан и нравственно, и умственно. Мне даже трудно вообразить себе, чем бы я был, если бы никогда не встречал Соловьева». Эти слова очень важны, если мы хотим выяснить корни творчества Л. М. Но Соловьев был только, так сказать, возбудителем, только внешним толчком для выявления самобытного умунастроения и мироощущения Л. М.—в этом он был совсем оригинален, это был дар его натуры, и тут о каких-нибудь непосредственных влияниях в прямом смысле этого слова не могло быть и речи. Интересно, что эту выдающуюся оригинальность творчества Л. М. открыто ценил сам Соловьев очень высоко. Известна заметка Я. Колубовского о Л. М. Лопатине в Энциклопедическом Словаре Брокгауза: в ней он назван «одним из лучших философских писателей в России». Любопытно, что эта фраза принадлежит руке Соловьева: в письменном столе Льва Михайловича обнаружилось одно письмо Вл. Соловьева с корректурой статьи Колубовского о Л. М. Листочек весь исчерчен поправками Вл. Соловьева, бывшего редактором философского отдела словаря: вышеуказанная фраза принадлежит Соловьеву, вписавшему ее на полях.

Позволительно вспомнить следующее обстоятельство для иллюстрации своеобразной связи Л. М. с Соловьевым, заключающейся в том, что тесная дружба и сродство душ совмещались с полной самостоятельностью и взаимной независимо-

стью коренных их философских убеждений. Всего года два—три тому назад, незадолго до своей смерти Л. Мих. впервые ознакомился с одной статьей Соловьева, до сих пор не увидавшей света. Статья эта («Свобода воли и причинность») посвящена разбору учения о свободе воли 2-й части «Положительных задач философии» — основного труда покойного Л. М. Статья представляет принципиальный разбор основного положения индетерминизма спиритуалистической системы Лопатина. Когда пишущий эти строки читал рукопись вслух покойному, оказалось, что он не может спокойно слушать читаемого в виду несогласия с содержанием статьи. По поводу прочитанного Л. М. стал вновь энергично приводить соображения в защиту своего взгляда, словно в комнате находился сам Соловьев. Чувствовалось, как происходили и создавались в свое время эти философские беседы между Лопатиным и Соловьевым. Л. М. неоднократно вспоминал эти «дремучие», как он выражался, споры, происходившие одно лето в Нескучном саду, — тогда они касались главным образом Гегеля. Весь строй мыслей проходил через строгий контроль и критику собеседника, но решение оставалось вполне независимым.

На связь покойного с Соловьевым приходится обратить преимущественное внимание. Самая философская выучка Л. М. — ча стоит в непосредственной связи с занятиями Соловьева; даже книгами, в большинстве случаев, Лопатин пользовался соловьевскими. В связи с этим приходится указать, что, если средне-учебное заведение, в котором воспитывался Лев Михайлович, и дало много для его умственного развития, то университету тут принадлежит минимальная доля. Средне-учебным заведением, в котором воспитывался Л. М. с 5-го класса, была известная частная гимназия Льва Ивановича Поливанова, приятеля М. Н. Лопатина. Строй этой гимназии, взгляды руководителя были весьма благоприятны для духовного роста Льва Михайловича. Недаром Л. М. так тепло вспоминал своего наставника в речи памяти Л. И. Поливанова. В 1875 году Л. М. Лопатин поступил в московский университет на историко-филологический факультет. Университет мало дал покойному; П. Д. Юркевича, который был так близок по взглядам к спиритуализму и который мог так много дать начинающему ученому, уже не было в живых: его Л. М. видел всего раз мельком. Новый представитель философской кафедры, М. М. Троицкий, совсем не мог быть по своему складу достойным руководителем первых шагов Л. М. в науке; в общем он относился к Лопатину мало дружелюбно, и связь Л. М. с университетом больше поддерживалась другими профессорами, не-философами, друзьями лопатинского дома: Герье, Н. Поповым и Иванцовым-Платоновым. Тем не менее оставленный при университете Л. М. в 1883 г. сдает магистерские экзамены и выступает в 1885 г. с лекциями на звание приват-доцента. Лекцию по своему выбору Л. М. читает на тему о законе причинности по Канту, причем высказывает в этом чтении взгляды, легшие в основание его второй диссертации — основного труда покойного. В 1886 г. Л. М. защищает свою магистерскую, в 1891 г. — свою докторскую диссертацию. С 1892 г. Л. М. является экстраординарным профессором московского университета; в 1897 г. он получает ординатуру. Одновременно с преподавательской деятельностью в университете, на высших женских курсах и в двух гимназиях развивается работа Льва Михайловича и по Психологическому обществу, которое начало проявлять широкую деятельность с момента переезда Н. Я. Грота в Москву в 1886 году. В 1894 году Л. М. избирается товарищем председателя общества; с 1900 г. до конца своей жизни он состоял его председателем. Также неутомима деятельность Льва Михайловича по ведению единственного в России философского журнала «Вопросы философии и психологии», которого он был усердным сотрудником с начала его основания, а редактором с 1900 г. Никто, как он, не поработал на пиве философского просвещения в России!

Но Л. М. никогда не был просто специалистом-философом, вообще слово специалист не подходит к его натуре; не менее философии его интересовали, особенно за последние два года, проблемы религии и вопросы церковные; при этом он всегда

был живо занят литературой, выступал в молодости, как артист, а впоследствии был очень тонким ценителем драматических и литературных произведений; интересовали его так же непосредственно, как и философия, вопросы просвещения вообще, судьбы России, политическая жизнь и т. д. И всюду он мог давать и давал очень ценные указания и делал очень тонкие наблюдения. Но и в сфере личной жизни—в каком-нибудь интимном вопросе—он неожиданно оказывался очень проникновенным и деликатно-любовным советником. Я не знаю, кто бы в сравнении с ним был более в праве сказать о себе: *«homo sum, humani nihil a me alienum puto»*—я человек, и ничто человеческое мне не чуждо». Не просто ученый специалист, не просто мыслитель, не просто философ, а действительно настоящий человек—учитель жизни, богато одаренная натура, щедрая в том, что она могла дать себе, и щедрая в отношении других. Пожалуй никто по типу больше не подходит к облику философа в духе Сократа, нежели Л. М.; в самом деле, он, как Сократ, был мыслитель и руководитель универсальный; не даром на его юбилей (в 1911 г.) с приветствиями встретились почти все ученые, просветительные и литературные общества Москвы. Можно назвать Л. М. Сократом и по другим соображениям: он не гнушался и не чуждался никого и ничего; наоборот, ему было близко все и всё: он мог так же интересоваться и много дать и ученому, и писателю, и близкому другу, и подчас случайному знакомому, и специалисту, и пришедшему к нему посоветоваться в горькие минуты жизни человеку. Для всех был приятен и уют, и его близкие и случайные знакомые никогда не находились под гнетом мысли, что с ними делит досуг самый крупный философ современности: настолько непосредственно прост и ласков был Л. М. в обращении.

Как безгранично мощный человек по своему духовному содержанию, Лев Михайлович обнаруживал во всем лишь сравнительно незначительную долю своего дарования. Сколь бы много он ни дал, все же это казалось лишь крупинцей в сравнении с его внутренним достоянием. Кто таит в себе какие-то потенциалы бесконечности, тот не только никогда не израсходуется, никогда не разменяется,—у такого человека всегда будет обнаруживаться известное несоответствие между возможностями и исполнением на деле.

Чем более человек дает, тем еще значительнее оказывается то, что он не раскрыл в себе; и такой человек никогда не может исчерпать себя,—все более значительное еще остается словно в каком-то глубоком неиссякаемом источнике. Л. М. опубликовал разных философских работ томов на 10, и все же кажется, что он мог бы дать еще больше. А ведь был он очень щедр, очень расточителен! Ему было в этом отношении все не по чем: он мог и не заниматься известное время, он мог иногда даже как бы стараться уйти от своего творчества, все же плоды его дарований словно обнаруживались сами собой. Великому человеку можно быть во многом неаккуратным и даже невнимательным к себе; если он действительно большой и значительный человек, то свое возьмет: он свое дело сделает и нужное даст. Можно, будучи преподавателем, и не проверять тетрадей, не готовиться к урокам и опаздывать на занятия, и все же, пришедши на короткий срок, настоящий наставник даст больше, чем иной педагог, высиживающий все часы в классе или аудитории. Можно как-будто нехотя пересматривать новую литературу и новые рукописи, и все-таки быть самым внимательным и тщательным руководителем и редактором: отвергать неценное и давать простор выдающемуся, хотя бы и мало известному. Можно не поспевать на заседания,—и все же быть лучшим советником в решительный момент. Можно не просматривать студенческих работ,—и быть самым компетентным судьей. Все это совмещать может действительно крупный человек. Таков и был Л. М. Лопатин. Один ученый, готовившийся к защите диссертации и знавший, что оponentом будет Л. М., как-то под веселую руку шутливо сказал: «Диссертацию мою Л. М., конечно, читать не станет, но возражения приведет неопровержимые». Известны анекдоты о студенческих экзаменах у Л. М. в университете, и все же, когда речь шла об ученом специалисте, то Л. М. оказывался неожиданно зорким и тща-

тельным критиком. Никто не был таким внушительным оппонентом и спорщиком на диспутах, как Л. М. И никто не умел в нужный момент наложить палец на самые слабые и больные места работы, как он: но Л. М. зато никогда не делал больно,—он только всегда заставлял работающего быть на высоте требований к самому себе.

Как несправедливо было бы, поэтому, в связи с житейской добротой Л. М., смущаться тем, не ронял ли он этим снисхождением достоинство той науки, которой он служил. Нет, это был верный рыцарь философии и, главное, философского духа! Что-ж из того, что он был, подчас, слишком расточителен, что он мог, например, не иметь под руками нужной книги, или она у него в нужный момент пропадала, «зава-ливалась», как он выражался,—плохо или невнимательно написать статью или рецензию он не мог по существу своей натуры. Да, Лев Михайлович бывал безпомощен и наивен в мелочах, но в главном он всегда оказывался компетентным и аккуратным. Он очень часто опаздывал, но никогда не приезжал слишком поздно. Он мог не разбираться в формальностях или каких-нибудь учреждениях, особенно за последнее время, он мог дать практически наивный или устарелый по форме совет, но можно было гарантировать, что в главной, в принципиальной стороне дела он всегда попадет в цель и будет прав,—за это можно было ручаться. Именно вся парадоксальность и заключалась в том, что в серьезном Л. М. разбирался очень хорошо и легко, и никогда не смущался,—и терялся иногда в самых незначительных, житейских пустяках,—это тоже удел великих людей.

А как жил Лев Михайлович? Это тоже доказательство непоколебимой мощи духовного достоинства человека, когда работа кипит и творчество развивается при самым стесненных условиях работы. Л. М. Лопатин всю жизнь прожил в маленьких комнатах старинных антресолей, таких низких—не в нравственном отношении, а в физическом, как любил добавлять Л. М.,—что закадычный друг его Вл. Сер. Соловьев всякий раз остерегался удариться головой о косяк двери, когда бывал у него в гостях. Л. М. Лопатин рассказывал, что он поселился в этих комнатах, будучи студентом-второкурсником, когда его семья переехала со старой квартиры; помещение показалось самому Л. М. столь невзрачным, что он сказал себе в утешение только: «ну, до весны как-нибудь дотяну»,—и вышло, что прожил тут всю жизнь»,—добавлял Л. М.

И вот в этой обстановке, при тусклом свете керосиновой лампы (электричества Лопатины так и не завели), на столе, заваленном грудой книг, в этом внешнем беспорядке, прошло и развернулось это удивительное по результатам философское творчество! Возможность так работать дана лишь исключительным натурам. «Внутренне собираю материалы»,—вот характерное выражение Льва Михайловича; он действительно был философом-прозорливцем: ему не нужно было иметь под руками книги, ему иногда достаточно было прочесть две-три страницы работы, чтобы понять, чего хочет автор, чего он может достигнуть и где его основная ошибка или промах. Или, слушая доклад или новую статью, Лев Михайлович словно думал о постороннем и смотрел в сторону, покуривая папироску, а на деле замечал подчас самые детальные подробности аргументации. Когда по почам работал Л. М. в своей маленькой комнате, обстановку которой составляла кровать, умывальник, два стола и несколько стульев, то действительно совершалось как бы чудо философского творчества: на маленьких листках, сплошь исписанных карандашом мелким почерком, рождались и разрешались самые сложные и принципиальные проблемы умозрения и философии. Как мало европейского в обстановке и какое сверх'европейское своеобразие творчества! Л. М. действительно таинственно носил в себе печать глубокой бесконечности в философской мысли. Этим достоинством он жил и дарил окружающих; это была та мощь, которая заставляла всех проникаться уважением, это была та сила, которая побуждала одного из слушателей его актовой речи на последнем торжественном заседании московского университета охарактеризовать настроение аудитории так: «слушали, как в церкви внимают 12 Евангелиям».

Среди бумаг покойного последнего периода сохранился черновой листок, на котором он набросал краткие слова благодарности за переизбрание его профессором. Мы тут находим следующие строки: «Мы переживаем небывало тяжелое, страшное время великих потрясений, яростной борьбы, грозных переворотов, перед лицом жуткого, хмурого, загадочного будущего. Мы, старики, чувствуем себя особенно одинокими. Ведь это будущее, каково бы оно ни было,—оно не для нас; а то, что было для нас святым и непреложным, или, что казалось важным, значительным, прочным на долгие столетия,—все это на наших глазах сокрушилось, рассыпалось, рассеялось, как туман». Но продолжим эти мрачные раздумья другими строками Льва Михайловича. Он говорил так в одном частном письме последнего времени: «Я убежден, что все происходящее нужно, что оно представляет болезненный и мучительный процесс возрождения человечества (да, человечества, а не одной России) от задавившей его всяческой неправды и что приведет он к хорошему, светлому и совсем новому. Конечно, тут много трагического, но вольно же было современным нам хмурым, серым и жизнелюбивым людям так основательно забыть, что жизнь человечества в ее целом, да и жизнь каждого человека, являет собою великую трагедию. И вот на этих хмурых жизнелюбцев обрушилось такое море трагедий, которых не изобразить и двадцати Шекспирам и которым и сам Шекспир далеко не всегда мог бы придать примирительную форму. Мне кажется, и это было нужно, нужно, чтобы поняли люди серьезность смысла жизни и строгую высоту ее задач».

На ряду с этим вспоминаются и следующие печатные строки Льва Михайловича: «Таким образом тускнеет и расплывается мечта о скором пришествии рая, созданного могуществом человека и его науки. Человечество опять отброшено к давно покинутому сознанию беспомощной непрочности своего существования и жуткой неизвестности будущего. Можно ли ограничиться этим сознанием? Ведь нельзя жить, совсем ни во что не веря и ни на что не надеясь! Если земные эмпирические пути человеческой истории обманывают и в них не оказывается того абсолютного и завершительного смысла, в который верили раньше,—значит ли это, что нигде и ни в чем, ни на земле, ни на небе, ни в чувственно видимом, ни в его сверхчувственной основе, нет совсем никакого смысла? Человек так не может верить, хотя бы по естественному чувству самосохранения, да он и не должен так верить. Если обмануло близкое и переходящее, оп с тем большей энергией станет искать далекого и окончательного, и чем труднее его жизненное положение, тем дороже ему делается идеал, независимый ни от каких житейских случайностей. Когда темно кругом и темно впереди,—чтобы не упасть духом, не растеряться, не прийти в отчаяние, а бодро делать свое дело,—надо очень крепко верить, что нет такого мрака, которого не рассеют лучи вечного света!»

Эти живительные и одухотворяющие строки, так поднимающие весь строй души и достоинство человека, звучат для нас бодрым призывом к неуклопному выполнению того, что должен дать от себя каждый человек, несмотря ни на какие обстоятельства. Пусть образ нашего старого учителя будет для нас всегда неустанным напоминанием того, как человеку подобает смотреть на невзгоды жизни и как он неуклопно должен лепелить в себе мечту о нашей исконной отчизне,—о том, что не от мира сего. Пусть все дорогие нам черты усопшего, пусть весь его чарующий облик будет всегда перед нашим взором: его незлобивая улыбка поможет нам не отдаваться огорчениям житейской суеты, поможет нам не растрепать своего внутреннего достоинства, а видеть истинную ценность лишь в исконном, вечном и завершающем!

Павел Попов.

А. С. Лаппо-Данилевский.

В лице Александра Сергеевича Лаппо-Данилевского русская историческая наука понесла вдвойне тяжелую утрату, лишившись в нем и крупного ученого исследователя и энергичного и умелого организатора научной работы.

Облик Лаппо-Данилевского, как исследователя, отличается некоторыми своеоб-

разными чертами, выделяющими его из ряда профессиональных представителей нашей науки. Исследовательский интерес его к вопросам русской истории развивался рука об руку с широкими интересами социологическими и философскими. Его работа о Конте в известном сборнике «Проблемы идеализма» так же, как и его обширный труд по «Методологии истории», показывают с достаточной рельефностью, насколько близки были ему вопросы философского порядка и насколько он и в этой области своих интересов был далек от легкого дилетантизма, доводя свои студии в этом направлении до тончайших изысканий специального характера. Конечно, можно указать и других крупных представителей русской исторической науки, отдавших обильную дань философским познаниям. Достаточно назвать Чичерина и Кавелина. Но и Чичерин, и Кавелин ради философии изменили русской истории, постепенно отдалившись от своих первоначальных занятий историей России, доставивших им такое крупное место в нашей историографии. Напротив того, Лаппо-Данилевский от углубления в философские проблемы получал лишь новый импульс к чисто историческим изысканиям. При этом, философский наклон его умственных интересов несколько не вовлекал его в искушение сбиться в исторических работах на путь преувеличенной отвлеченной схематизации в ущерб точному фактическому анализу. Все исторические работы Лаппо-Данилевского представляют собою, можно сказать, изысканные образцы фактического анализа, доводимого до тончайшей дробности.

Литературное наследство Лаппо-Данилевского в области русской истории не особенно велико. В состав его входят: одна большая книга—«Организация прямого обложения в Московском государстве»—и ряд статей, посвященных различным вопросам социальной и экономической истории России, а также истории политических идей в русском общественном сознании. Не чужд был Лаппо-Данилевский и вопросам археологическим. Археологической работой о скифских древностях он дебютировал на поприще исследовательской деятельности в 1887 г. (до этого им было напечатано лишь несколько рецензий) и затем в 1894 г. он выступил с новым археологическим исследованием о древностях кургана Карагодеушах. Этим его печатные экскурсии в область археологии и ограничились.

Сравнительно небольшое количество печатных работ, оставленных Лаппо-Данилевским, отнюдь не свидетельствует однако о его малой научной производительности. Он работал неустанно и в высшей степени интенсивно, и преждевременная кончина застигла его, можно сказать, в самом разгаре обширных научных замыслов и предприятий. Но он никогда не спешил ни с завершением, ни тем более с опубликованием своих исследовательских работ. Его ученая лаборатория всегда была на полном ходу, по чем далее шла каждая предпринятая им работа, тем более повышал он предъявляемые к ней собственные требования в смысле законченности и чистоты ее отделки во всех самонаименнейших ее подробностях.

Наиболее крупное по размерам исследование Лаппо-Данилевского—«Организация прямого обложения в Московском государстве»,—появившееся в 1893 г., произвело в момент своего появления сильное впечатление в кругу специалистов по громадному количеству совершенно нового архивного материала, впервые пущенного в ученый оборот и по освещению целого ряда важных вопросов в области финансовой администрации, податной организации и социальных отношений в Московском государстве XVII столетия. Появление этой книги несомненно дало тогда сильный толчок оживлению научного интереса к архивной разработке внутренней истории Московского государства, хотя в своих общих воззрениях на формацию этого государства Лаппо-Данилевский всецело примкнул тогда к господствовавшей схеме, выводя все особенности этой формации из стоявших перед Московской Русью военных задач национальной самообороны. Книга вызвала оживленную критику и последующие исследователи внесли не мало поправок в частные построения и заключения автора, П. Н. Милюкову эта книга дала повод выступить с обширным критическим исследованием: «Спорные вопросы финансовой истории Московского государства». Не все построения Лаппо-Данилевского выдержали этот критический

натиск, но молодой еще тогда автор мог вынести полное удовлетворение из сознания, что именно ему принадлежала честь постановки тех вопросов, которые привлекли к себе пристальное внимание ученого мира.

Последующая учено-литературная деятельность Лаппо-Данилевского выразилась, как я уже сказал, в опубликовании ряда этюдов по отдельным вопросам русской истории. Большая часть этих этюдов выросла из тех критических разборов, которым Лаппо-Данилевский по должности академика подвергал сочинения, представленные на академические премии. Под пером Лаппо-Данилевского эти разборы переходили в подробные самостоятельные изыскания, обогащавшие науку и новыми материалами и важными научными выводами и заключениями. Не перечисляя здесь всех этих работ (полный список трудов Лаппо-Данилевского см. в «Русском Историческом Журнале», 1820 г., кн. 6), все же отметим наиболее крупные из них. По социальной истории это будут: «Критические заметки по истории народного хозяйства в Великом Новгороде», «Русские промышленные и торговые кампании в первой половине XVIII в.», «Разыскания по истории прикрепления владельческих крестьян в Московском государстве», «Очерк истории образования главнейших разрядов крестьянского населения России», «Служилые кабалы позднейшего типа», «Выслуженные вотчины в Московском государстве» и др. Вопросам, касающимся истории правового и политического сознания, посвящены очерки: «Собрание и свод законов Российской империи, составленные в царствование Екатерины» и «Идея государства и главнейшие моменты ее развития в России со времени смуты и до эпохи преобразований».

Последняя статья, напечатанная в «Голосе Минувшего» в 1914 г., № 12, стоит в связи с обширным трудом по истории юридических понятий и политических учений в России XVII и XVIII веков, — трудом, над которым Лаппо-Данилевский работал долгое время и которого он не успел закончить. По тому, что мне приходилось слышать от самого Александра Сергеевича о ходе его занятий над этим излюбленным трудом последнего периода его жизни, можно было составить представление о широте и глубине его замысла. Привлекая к своей теме новые и новые материалы, он проникал в такие укромные закоулки умственной жизни изучаемой эпохи, куда не догадывался заглянуть еще ни один исследователь. Достаточно сказать, что для освещения тех идейных влияний, под которыми складывались юридические и политические представления нарождавшейся русской интеллигенции XVII ст., Лаппо-Данилевский проштудировал профессорские курсы и написанные по латыни студенческие сочинения киевской духовной академии XVIII века.

Разборка бумаг, оставшихся после почившего ученого, должна выяснить, насколько успел он продвинуть эту большую свою работу, опубликования которой давно уже с нетерпением ожидал ученый мир.

Я сказал выше, что в лице Лаппо-Данилевского мы потеряли не только крупного ученого, но и деятельного и умелого организатора научных работ. Эту свою способность он проявил в широких размерах, став академиком по кафедре русской истории. Он организовал при академии ряд крупных ученых предприятий, из которых назовем издание грамот Коллегии Экономии и издание «Памятников русского законодательства». Для осуществления этих планов необходимо было сплотить для общего дела значительный круг специалистов и сообща с ними установить руководящие принципы научных приемов применительно к каждому изданию. Тут-то и требовалось проявить способность организатора, умение сплачивать людей под общим своим руководством.

На первый взгляд могут показаться неожиданными в Лаппо-Данилевском и эта потребность к широкому общению с сотоварищами по специальности и это умение дать названной потребности исход и удовлетворение. Ведь так часто приходилось слышать отзывы об замкнутом, даже высокомерном характере его. Однако, факт на лицо: Александр Сергеевич обнаруживал постоянную склонность к организации кол-

лективных научных предприятий и на его клич отзывались охотно, и совместная работа с ним не приводила к неприятным недоразумениям. Что же это означает?

Это означает не что иное, как то, что наружная сдержанность, скажем даже, чопорность его манер скрывала под собою вовсе не сухость сердца и не надменность характера, а происходила совсем из другого источника. Я бы назвал этот источник духовным изяществом, произвольно вызывавшим в нем ту дисциплину духа, которая не мирится ни с какой распушенностью, ни с какой фамильярностью. Целомудренное самообладание, составлявшее отличительную особенность его духовной личности, устраняло в нем всякую возможность беспорядочных порывов непосредственного чувства. Вообще представление о какой-либо беспорядочности никак не укладывается в образ этого человека, от каждого движения которого веяло высокой культурой, но не той внешней культурой, которая сводится на показной лоск, часто соединяющийся с неприглядной скудостью внутреннего духовного содержания, а культурой истинной, проникающей все существо человека от малейшей черточки его внешнего облика до каждого движения его внутренней духовной жизни. Конечно, всякий плюс в природе человека координируется с соответственным минусом. Таков уже неизбежный закон человеческой психики. А строгое целомудрие души—плод высокой духовной культуры—порою мешало Александру Сергеевичу свободно и легко отдаться произвольному настроению в общении с людьми. Иные принимали это за чопорность и ощущали неприятный холодок от обращения Александра Сергеевича. Должен сказать, что из личных своих сношений с ним, я вынес иное впечатление. Стоило только немного помочь Александру Сергеевичу в преодолении этой чрезмерной сдержанности, которая иногда его самого видимо тяготила, и он быстро шел навстречу всякому искреннему и простому обращению и беседа с ним текла легко и свободно и в лучистых глазах его начинала светиться приятная улыбка, располагавшая как нельзя более к непринужденной, товарищеской беседе.

Лучшим подтверждением этого личного моего впечатления может служить то обстоятельство, что этот сдержанный и как будто сурово-холодный профессор проявлял чрезвычайно притягательную силу по отношению к своим юным ученикам, которых несколько не отпугивала сдержанность его обращения и которые влеклись к нему, полные доверчивой симпатии. В своих печатных воспоминаниях о любимом учителе (см. «Русский Исторический Журнал», 1920 г., кн. 6) они уже успели нарисовать нам трогательную картину той своего рода сплоченной ученой семьи, которая создавалась около Лаппо-Данилевского из его университетского семинария и которая уже проявила себя в специальной литературе рядом работ по изучению древнерусских частных актов. Так, около этого кабинетного затворника всегда ройлась многообещающая молодежь, почерпавшая в его суровой школе и серьезный научный интерес и высокий моральный закал.

Некогда суровые отшельники уходили от мира, надеясь замкнуться в лесной глуши в уединенном молитвенном подвиге. Но святость самого их подвига притягивала к ним последователей, которые разыскивали их в их укромных углах, и одинокий подвиг сам собою превращался в подвиг коллективный, совершавшийся уже совокупными силами всего скита.

Сдержанный и сосредоточенный, Александр Сергеевич замыкался в тесно очерченном круге своей внутренней духовной жизни. Но чуткая часть молодежи сама влеклась к этому отшельнику науки, подчиняясь обаятельной силе его ученого подвижничества. Может быть, своеобразные черты личности Лаппо-Данилевского суживали круг, ограничивали размах его научно-воспитательной деятельности, но зато они углубляли ее силу, повышали ее интенсивность, увеличивали ценность ее практических результатов.

А. Кизеветтер.

Мемуары Витте.

Сразу на нескольких языках, в том числе и на русском, за границей появились записки С. Ю. Витте. Как видно из предисловия I. В. Гессена к русскому изданию, эти записки составились из набросков, которые делались Витте отрывочно, в разное время, от 1907 до 1912 г. включительно. Некоторые части этих записок остались в двух редакциях, из них одна набрасывалась на бумагу самим Витте, а другая записывалась stenографически под диктовку. Эти редакции не вполне совпадают по содержанию. Этим, вероятно, и объясняется то обстоятельство, что тексты «Записок», изданные теперь на разных языках, имеют некоторые отличия. Повидимому, всего полнее текст русского издания, в котором, по указанию издателя, иногда сопоставляются, а иногда сводятся во-едино обе редакции.

Издатели мемуаров сообщают в предисловии любопытные сведения о судьбе их по смерти Витте. Николай II знал или подозревал, что Витте пишет свои воспоминания. Повидимому, это обстоятельство немало тревожило императора, и лишь только Витте скончался, в его петроградскую квартиру явились представители власти и тщательно обыскали все бумаги графа. Обыск не дал желаемых результатов. Через несколько дней вдову Витте посетил начальник императорской квартиры и от имени государя потребовал выдачи записок графа в виду того, что государь желал ознакомиться с их содержанием. Но «записок» у вдовы Витте не оказалось. Тогда членами русского посольства в Париже был произведен, по требованию из Петрограда, обыск виллы Витте в Биаррице в отсутствие владельницы виллы. Но и эта чрезвычайная мера оказалась напрасной: Витте предусмотрительно поместил рукописи своих мемуаров в Байоннский банк на имя своей жены.

Только эта предусмотрительность и спасла для потомства мемуары Витте, в настоящее время опубликованные. Достаточно прочитать главу из этих мемуаров, посвященную характеристике Николая II и Александры,—мы помещаем далее полный перевод этой главы из французского издания,—чтобы убедиться в том, что мемуары Витте,—попадись они на глаза Николаю II,—никогда не увидели бы света: их несомненно постигла бы судьба записок Снягина, о которых Витте рассказывает в своей упомянутой главе.

К чтению записок Витте, естественно, приступаешь с большими ожиданиями. Кому же, как не этому многоопытному и хитроумному Одиссею русской правящей бюрократии конца XIX и начала XX ст., было знать многие потаенные пружины и закулисные тайны старого режима в период его окончательного разложения? И книгу Витте раскрываешь с понятной надеждой найти в ней откровения, проливающие новый свет на события и на людей нашего недавнего прошлого, узнать из нее различные интересные подробности, а, может быть, также почерпнуть неожиданные объяснения тому, что было нам ранее известно лишь поверхностно и отрывочно.

Однако, надежды эти оправдываются лишь в весьма скромной мере, и зависит это от той общей задачи, которую поставил себе автор мемуаров. Конечно Витте знал много таких подробностей из жизни правящих сфер своего времени, которые оставались неизвестными большой публике. Это чувствуешь каждый раз, как

только он попутно вставляет в свое повествование тот или иной характерный эпизод. Глава, которую мы далее помещаем целиком, содержит несколько любопытных тому примеров. И, конечно, если бы Витте вознамерился дать в своих мемуарах полную картину того, чему он был свидетелем и в чем он принимал участие за время своей служебной карьеры, то его книга наполнилась бы материалом первостепенного исторического интереса. Но задача Витте совсем иная. Его книга—не из тех мемуаров, которые пишутся с целью очертить общую картину эпохи или собрать возможно большее количество фактических сведений о лицах и событиях. Это—книга, написанная всецело *pro domo sua*. Это—самореабилитация пред судом современников и потомства. Это—записка о собственных заслугах перед Россией, соединенная с обвинительным актом против своих соперников и врагов, кознями или непониманием которых объясняются неудачи, постигшие некоторые начинания Витте, между тем как одержанные им успехи ставятся всецело на счет его широких воззрений, его политической мудрости, его благородного патриотизма. От такой книги всего менее можно ожидать полноты изложения и беспристрастного освещения лиц и событий. В книге есть некоторые существенные пробелы, сразу бросающиеся в глаза. И пробелы эти, очевидно, не случайны. Так, Витте ничего не говорит о своей знаменитой записке «о самодержавии и земстве». И не мудрено: ведь эта записка явилась в свое время образцовым тур-де-форсом неувольнимой эластичности Витте, она составлена была так, что из текста ее никак нельзя было усмотреть, за что именно стоит сам Витте: за самодержавие или за развитие общественного самоуправления; он доказывал только, что самодержавие и самоуправление суть два начала взаимно-враждебные, что их сосуществование искусственно и непрочны и в конце-концов одно из них должно восторжествовать над другим. Устанавливая и всячески развивая этот тезис, Витте, однако, вел свою аргументацию так, что сторонники каждого из этих двух начал могли бы причесть его к своему лагерю, а сам он оставлял за собой поле действий свободным, и, смотря по ходу обстоятельств, мог впоследствии истолковать смысл записки и так, и этак.

Вспоминать о подобных своих выступлениях Витте при составлении мемуаров не считал нужным; он хотел, чтобы читатель его мемуаров составил о нем представление, как о государственном деятеле прямодушном, искреннем, широко-либеральном, понимающем нужды страны и запросы времени и всегда готовом служить им.

Читатель мемуаров Витте должен с большой критической осторожностью относиться к начертанному там автопортрету. Конечно, Витте был талантливым деятелем. Он стоял головой выше рядовой правящей бюрократии и придворной камарильи своего времени. Живой темперамент, быстрая сообразительность, свобода от рутины, деловитая работоспособность—вот качества, которых не отнимет у него ни один самый настойчивый его противник. Но когда Витте рисует себя рыцарем без страха и упрека, всегда и везде резко говорящим правду, независимо от возможных для себя последствий,—тогда приходится признать, что довольно общеизвестные факты не согласуются с такой характеристикой. Бывали случаи, когда Витте пускал в ход и резкость тона, и решительные заявления, а порою доходил и до прямого третирования своих коллег по министерским совещаниям. Но все это делалось тогда, когда такая резкость не соединялась с большим риском. За то в важнейшие критические моменты, в моменты исторического характера, когда являлась необходимость принять ответственное решение первостепенной важности,—Витте отнюдь не проявлял смелости истинного самоотвержения, а, напротив того, искусно окутывал свою действительную позицию непроницаемым туманом, говорил и поступал наудвое, оставляя себе на всякий случай путь для благополучного отступления. Мы только что видели пример тому в его записке «о самодержавии и земстве». Точно так же он держал себя и перед изданием указа 12 декабря 1904 г. и перед изданием манифеста 17 октября, как мы узнали об этом из его же мемуаров. Оказывается, что кн. Мирский ввел в проект указа 12 декабря 1904 года пункт о привлечении

в законодательные учреждения выборных общественных представителей. Николай спросил совета у Витте. И Витте сказал: «это будет первый шаг к конституции и потому, если государь решился на то, к чему стихийно стремятся все культурные страны, то этот пункт нужно оставить; если же конституция не входит в планы его величества, то его нужно выбросить». Николай ответил, что он никогда не допустит конституции, и пункт был выброшен. А перед изданием манифеста 17-го октября 1905 года он говорил Николаю II, когда всеобщая забастовка достигла апогея и в Царском Селе наступала полная растерянность: «возможны два исхода из создавшегося положения,— либо установление военной диктатуры, либо дарование конституции». Какой же исход нужно предпочесть? Вот на этот вопрос Витте и не давал ясного ответа, не связывая себя ни с тем, ни с другим решением. Он даже настаивал на том, чтобы, в случае, если будет избран путь конституционной реформы, отнюдь не издавали об этом особого манифеста.— Николаю II он советовал решиться на дарование конституции, и в то же время убеждал великого князя Николая Николаевича отстаивать мысль о диктатуре и самому взять на себя диктаторские полномочия. Вопрос в конце-концов решился в пользу конституционного манифеста только потому, что Николай Николаевич признал диктатуру невозможной в виду неблагонадежного состояния войск и малого количества военных сил в столице. В ответ на уговоры Витте стать диктатором, Николай Николаевич показал ему револьвер и сказал: «я сейчас иду к императору и буду просить его подписать манифест о конституции. Если он этого не сдѣлает, я при нем разможжу себе череп вот этим револьвером». Через несколько времени Николай Николаевич вернулся к Витте от императора с приказанием приготовить манифест к подписанию.

Эта двойственная игра в самые серьезные минуты, это отвиливание от личной ответственности и риска вытекали не только из отсутствия истинного мужества в натуре Витте. Причина была глубже. Она заключалась в том, что Витте не был государственным человеком в настоящем значении этого слова, был не деятелем, а дельцом, не подчинял свою служебную работу ясно сознанной государственной идее, которая объединяла бы все его действия и придавала бы отчетливую ясность его политической физиономии, как это бывает у всякого настоящего государственного человека. В своих мемуарах Витте задним числом старается изобразить себя человеком, ясно понимающим необходимость и неизбежность перехода России к режиму правомерной политической свободы и последовательно работавшим над подготовкой к такому переходу. Однако, в действительности такой ясности понимания у него как раз и не было. В 1905 г. он попал в положение «отца русской конституции» в силу такого стечения обстоятельств, которое для него самого было неожиданностью и эта роль вовсе не вытекала логически из направления его предшествующей деятельности. В сущности он всю жизнь был не более, как искусным налагателем заплат на Тришкин кафтан разлагающегося абсолютизма. Как на одну из таких заплат, смотрел он и на конституционный манифест 17-го октября, и он не имел бы ничего против замены этого выхода из положения другим, прямо противоположным: диктатурой. Выбор между этими двумя возможностями был для него не вопросом принципа, вытекающего из целостной программы, к которой для настоящего государственного человека сводится весь смысл политической деятельности, а лишь вопросом политической ловкости. Из-за чего же было тут ставить на карту свою карьеру?

Из самых мемуаров Витте ясно видно, насколько слабо он отдавал себе отчет в основных линиях того жизненного процесса, среди которого ему приходилось действовать, несмотря на то, что он умел искусно и быстро разобраться в каждом частном вопросе, в каждом отдельном сплетении обстоятельств. Рисуя в своих мемуарах широкими и резкими чертами картину разложения монархии при Николае II, Витте противопоставляет этой картине одушевленный панегирик царствованию Александра III. В глазах Витте то была эпоха торжества государ-

ственной мудрости, эпоха цветения русского государственного организма. Страшен был бы этот панегирик царствованию Александра III в устах Витте, если бы Витте действительно был убежденным конституционалистом. Но не менее странно и то, что Витте как будто совсем не отдает себе отчета в том, что время Николая II в сущности было лишь гнилым эпилогом той самой реакционной политики, которая на всех парах была уже пущена в ход при Александре III; он не отдает себе отчета в том, что господство реакционной клики объединенного поместного дворянства, приведшее к крушению монархии при Николае II, было всецело подготовлено контр-реформами Александра III.

Резкой чертой отделяя друг от друга два эти царствования по их основному политическому содержанию, Витте ясно обнаруживает, насколько узок был его политический кругозор, насколько в его суждениях преобладали мотивы личные, стоящие всегда на первом плане у энергичного дельца и насколько он был слаб по части вдумчивых обобщений, руководящих деятельностью всякого настоящего государственного человека.

Если, таким образом, от мемуаров Витте нельзя ожидать ни беспристрастия, ни глубины понимания основных процессов государственной жизни, то все же эти мемуары представляют не малый интерес по отдельным фактическим сообщениям, в них заключающимся, хотя количество таких интересных сообщений, очевидно, могло бы быть гораздо большим.

Не пересказывая всего содержания этих мемуаров, мы отметим далее лишь те из сообщений Витте, которые привлекают к себе особенное внимание новизною приводимых им фактов для большой публики.

Не будем останавливаться на рассказе Витте о начальных шагах его карьеры, не представляющих общего интереса. Он занимал уже пост директора общества Юго-Западных железных дорог, когда последовало убийство Александра II. Потрясенный этим событием, Витте написал письмо известному генералу Фадееву, развил план устройства тайного общества для борьбы с революционерами. Фадеев показал это письмо, кому следует, и Витте скоро был вызван в Петербург министром двора. Министр представил его графу Шувалову, а граф заставил Витте поклониться на библии в верности только-что образовавшемуся тайному обществу «Священная Дружина». Вернувшись в Киев, Витте вскоре получил от «Дружины» приказание отправиться в Париж, где ему предстояло получить дальнейшие инструкции. Прибыв в Париж, он нашел там на свое имя письмо с извещением о том, что в одном с ним отеле живет уланский офицер Полянский, на которого «Дружина» возложила миссию убить революционера Гартмана. Когда Витте познакомился с Полянским, тот к его изумлению заявил ему: «вы прибыли в Париж убить меня, если я не убью Гартмана. Но я медлю потому, что мною получены новые инструкции из Петербурга». На следующий день на рассвете Полянский привез Витте в одну из улиц Латинского квартала. Они долго ждали перед каким-то домиком. Наконец, из дома вышел Гартман, за которым следовали два апаша. То были наемные убийцы, которые должны были по приказу Полянского затеять с Гартманом ссору и убить его. Но Полянский тянул дело, и апаша, дав Гартману удалиться, подошли к Полянскому и стали осыпать его упреками за то, что он все не дает им приказа кончить дело. Полянский объяснил Витте, что им получено распоряжение отложить убийство и что распоряжение это передано ему через Зографа, сына греческого посла. Затем они сошлись в ресторане с Зографом. Тот сообщил им, что для совершения убийства в Париж посылается из Петербурга новое лицо: генерал-адъютант Витгенштейн. Тогда терпение Витте лопнуло, он уехал в Киев и, видя, что «Священная Дружина», к которой пристали разные проходимцы, стала притчей во языцех, написал Воронцову-Дашкову, что злу можно помочь только опубликованием во всеобщее сведение в «Правительственном Вестнике» устава и списка членов «Дружины» с риском подвергнуться мщению революционеров; тогда от «Дружины» останут все тяжелые элементы. Витте прибавил, что, если он в течение месяца не получит никакого ответа

на этот проект, то он будет считать себя свободным от всяких обязательств по отношению к «Дружине». Ответа не последовало, и тем кончилось пребывание Витте в рядах официозной подпольной организации. Я привел этот эпизод, как неизвестный доселе факт из биографии Витте и как характерную черточку из истории «Священной Дружины», о которой, по почину покойного Богучарского, много писалось в наших журналах.

В 1888 году Витте вошел в круг высшей правящей бюрократии. Он был обязан этим следующему инциденту.

В качестве директора Юго-Западных дорог ему пришлось сопровождать императорский поезд. Александр III требовал такой быстрой езды, которая могла грозить катастрофой. Витте, вопреки требованиям министра двора, убавил быстроту хода поезда. Александр III лично выразил Витте неудовольствие: «Я ездил по другим линиям с такой же точно быстротой и ничего не случилось. У вас нельзя так ехать просто потому, что ваша дорога жидовская». Во главе этого общества стоял еврей. Император отошел, а Витте сказал министру двора так громко, что Александр слышал: «Я не хочу рисковать жизнью монарха; вы в конце-концов сломите ему шею». Через два месяца произошла катастрофа императорского поезда близ станции Борки именно в связи с чрезмерно быстрым ходом поезда. Тогда Александр III вспомнил о Витте, который с тех пор и пошел в гору. Он был назначен директором железнодорожного департамента министерства финансов, в 1890 г.—министром путей сообщения, а через полгода—министром финансов.

В особой главе Витте дает беглый очерк своей деятельности на посту министра финансов. Он останавливается вкратце на введении питейной монополии, на реформе денежного обращения, на заключении торгового договора с Германией, на развитии железнодорожной сети и на некоторых других мероприятиях, не сообщая, однако, при этом никаких существенных данных, которые не были бы известны и прежде. В 1903 г., уже при Николае II, ему пришлось неожиданно для себя оставить министерство финансов. Причиной отставки послужило то, что он разошелся с кликой Безобразова и Плеве, которая начинала раздувать алармистские затеи на Крайнем Востоке. Сцена отставки характерна для обычных приемов Николая II в таких случаях. 16 августа 1903 г. Витте получил от Николая II записку с приглашением явиться на следующее утро в Петергоф для занятий с императором и привести с собой Плеске, состоявшего тогда директором государственного банка. Последняя доумевал, зачем могло понадобиться присутствие в Петергофе этого чиновника. На следующее утро Витте и Плеске явились в Петергоф. Плеске остался ждать в первой приемной, а Витте был принят Николаем. Прием был самый любезный. Аудиенция длилась целый час. Николай выслушал от Витте ряд докладов, все одобрял и был чрезвычайно милостив. Витте испросил разрешение обехать некоторые губернии для того, чтобы лично осмотреть, как идет на местах казенная продажа вина. Николай очень одобрил эту идею. Аудиенция кончилась, Витте уже встал, чтобы откланяться, и тогда Николай вдруг спросил, привез ли Витте с собою Плеске? Тот отвечал утвердительно.—«Что вы думаете о Плеске?»—продолжал Николай. Витте дал отзвук самый лестный, и вдруг услышал из уст Николая: «Сергей Юльевич, я хочу просить вас занять пост председателя совета министров, а Плеске назначить вашим преемником по министерству финансов». Витте не мог скрыть своего изумления. «Разве вы недовольны новым назначением?» прибавил Николай,—ведь это высший пост в империи». Витте благодарил за милость, но прибавил, что на посту министра финансов он мог бы, по его мнению, быть более полезным». На этом и кончилось их объяснение.

Будучи министром финансов, Витте не замыкался, конечно, в своей правительственной деятельности в рамках своего ведомства. Во-первых, он обладал слишком живым темпераментом для такого самоограничения; во-вторых, и по самому существу дела руководство государственными финансами тесно сплетается со всеми прочими сторонами государственной жизни. Касаясь своих вневедомственных вы-

ступлений, Витте особенно подробно останавливается на своем участии в вопросах внешней политики. Здесь не лишены интереса некоторые подробности, относящиеся до первых шагов утверждения русской власти на Дальнем Востоке, в конце-концов приведших к русско-японской войне. Когда в 90-х годах XIX в. на Дальнем Востоке стали обрисовываться тревожные признаки политического брожения, в виде столкновения между Китаем и Японией и начали уже обнаруживаться серьезные агрессивные устремления Японии, в русских правящих кругах, по утверждению Витте, не было ни одного человека, сколько-нибудь знакомого с дальневосточными делами. Тогдашний министр иностранных дел, кн. Лобанов-Ростовский,—по словам Витте—знал о Дальнем Востоке не больше самого заурядного школьника. Договор между Японией и Китаем, заключенный в Симносеки, вызвал тревогу в Петербурге. По этому договору Япония приобретала точку опоры на азиатском континенте в соседстве со сферой нашего влияния, и в Петербурге решено было сблизиться с Китаем тем более, что для окончания Сибирской железной дороги признано было пугным провести часть рельсового пути по китайской территории и для этого было необходимо заручиться согласием китайского правительства. Витте утверждает, что именно по его энергичному настоянию Россия при поддержке Германии и Франции предъявила Японии ультиматум с требованием отказаться от приобретения Ляо-Дунгского полуострова и удовольствоваться денежным вознаграждением от Китая, на что Япония и вынуждена была согласиться. Вскоре после того состоялось чрезвычайное посольство в Россию китайского министра Ли-Хунг-Чанга. Витте пустил в ход все меры к тому, что Ли-Хунг-Чанг попал прямо в Петербург без предварительного посещения Западной Европы. На Суэзском канале Ли-Хунг-Чанг встретил кн. Ухтомский, который и доставил китайского посланника на русском пароходе прямо в Одессу. Не буду излагать рассказа Витте о его первых свиданиях с Ли-Хунг-Чангом, хотя в этом рассказе и содержится довольно занимательные подробности о китайском дипломатическом этикете. Для нас важнее сообщение Витте о заключении в Петербурге секретной русско-китайской конвенции. Условия этой конвенции были намечены первоначально между Ли-Хунг-Чангом и Витте. Китай давал, согласно этим условиям, разрешение на проведение части сибирского рельсового пути по китайской территории и, кроме того, Китай и Россия обязывались взаимной помощью на случай нападения Японии на китайскую территорию или на русские владения на Дальнем Востоке. Велико было изумление Витте, когда он узнал, что после доклада этого проекта конвенции Лобановым-Ростовским государю, последнее условие было переделано в том смысле, что Россия и Китай обязывались помогать друг другу не только при нападении на их владения одной Японией, но и при нападении также и всякой иной державы. Ведь для России это значило обязываться защищать Китай и против Англии, и против Франции—русской союзницы! Витте поспешил разъяснить государю всю важность этого изменения, и Николай II сказал, что он сам укажет Лобанову на необходимость исправить проект, согласно его первоначальному тексту. Наконец, было назначено официальное собрание для подписания тайной конвенции. Ее должны были подписать Ли-Хунг-Чанг, Лобанов и Витте. По открытии заседания Лобанов заявил, что текст конвенции известен уже обоим сторонам, что он тщательнейшим образом скопирован с первоначального проекта секретарями и потому его можно прямо подписать без прочтения. Витте, однако, взглянул в текст бумаги и с ужасом увидел, что исправления, обещанного императором, там так и не было сделано. Витте отвел Лобанова в сторону и указал ему на это обстоятельство. «Боже мой,—сказал Лобанов, хватаясь за лоб,—я совсем забыл указать секретарям, чтобы они копировали с первоначального текста!» Однако, Лобанов нашелся: вынуженный, он заявил Ли-Хунг-Чангу, что настал час завтрака и что подписание конвенции можно отложить до окончания закуски. И вот, пока министры завтракали, секретари на-спех переписывали бумагу с соответствующими исправлениями. Характерная картинка поразительной небрежности, с которой вершились подчас дипломатические дела первостепенной важности.

Не буду касаться здесь других подробностей нашего водворения на Дальнем Востоке, приведшего к русско-японской войне. Отмечу лишь любопытное сообщение Витте, касающееся самой начальной стадии дальне-восточного вопроса. Занятие нами Порт-Артура и Талценана было вызвано захватом немцами китайского порта Киао-Чао. Когда совершился этот захват, Витте, по его словам, был охвачен сильной тревогой, предвидя, что это событие послужит лишь первым звеном в цепи событий, которые поставят вверх дном нашу традиционную политику на Дальнем Востоке. Он бросился к германскому послу Чирскому и просил его передать германскому императору по телеграфу, что Витте во имя блага и России, и Германии просит его отказаться от занятия Киао-Чао. Чирский послал такую телеграмму. Вильгельм ответил: «Передайте Витте, что я не могу последовать его совету; видимо, ему неизвестны некоторые существенные обстоятельства этого дела». Об этих сокровенных обстоятельствах Витте узнал впоследствии от вел. князя Алексея Александровича. Оказалось, что захват Киао-Чао немцами был решен еще во время пребывания Вильгельма в Петергофе. Тогда, прогуливаясь с Николаем II в коляске, Вильгельм неожиданно заявил о своем желании занять Киао-Час и сделать из него базу для германского флота, и прибавил, что он хочет получить на то согласие России. Николай, застигнутый врасплох, не решился отказать гостю. Эта беседа двух императоров,—пишет Витте,—имела решающее значение в дальнейшем ходе политических событий. Витте высказывает решительное убеждение в том, что Вильгельм умышленно впутывал Россию в дальневосточные дела, чтобы тем самым свести на нет русскую опасность для Германии, ослабив военную силу России на ее западной границе. Витте рисует себя в мемуарах непримиримым противником дальневосточной авантюры и отзывается с резким порицанием о ее вдохновителях и руководителях. Особенной резкостью отличается характеристика Куропаткина. Витте рисует Куропаткина лстивым царедворцем, строявшим свою карьеру на подслуживании к Александре Феодоровне. Однажды Витте, посетив Куропаткина, застал его за письменным столом, заваленным книгами. Оказалось, что Куропаткин готовился занимать императрицу интересным разговором за высочайшим завтраком, к которому был приглашен. «Это—сочинения Тургенева,—объяснил Куропаткин,—завтра я буду говорить с императрицей о женщине вообще и в частности о характерных чертах русской женщины». Эти разговоры изобиловали довольно плоскими комплиментами. Однажды—дело было в Ялте—Куропаткин утром был у государя с докладом. Солнце покрылось тучей, Николай стал грустен. На балконе появилась императрица.—«Ваше величество,—сказал Куропаткин,—смотрите: солнце выглянуло».—«Где вы видите солнце?»—спросил Николай.—«Благоволите обернуться»,—сказал Куропаткин. Николай обернулся, увидел императрицу, улыбнулся и повеселел. Куропаткин с чувством гордости похвастался в тот же день перед Витте этим своим успехом. Укрепляя свою карьеру столь жалкими средствами, Куропаткин по своим качествам был несравненно ниже занятого им положения. У него не было ни инициативы, ни самостоятельных идей. Он всегда питался чужими мыслями. Так изображает Куропаткина Витте, впрочем отдавая своему противнику справедливость в трудолюбии и точной исполнительности

Довольно обстоятельная глава посвящена в мемуарах Витте заключению Портсмутского мира. Большое значение в благополучном исходе портсмутских переговоров Витте приписывает тому, что своим искусным поведением он приобрел симпатии американского общества, стараясь всех расположить к себе доступностью, приветливостью и простотой своего обращения со всеми и каждым и особенно внимательным и предупредительным отношением к представителям американской прессы. Витте утверждает, что именно эта личная популярность, которую ему удалось снискать в Америке, расположив в свою пользу американское общественное мнение, побудила Рузвельта изменить свое первоначальное руссофобское настроение и оказать давление на правительство Микадо в смысле большей уступчивости по отношению к России.

Мы не находим чего-либо существенно нового в главе, повествующей о правительственных действиях при Николае II до зарождения Булыгинской совещательной Думы. Но рассказ об издании рескрипта на имя Бузыгина о созвании народных представителей для участия их в законодательных работах рисует живую и яркую картину положения так называемых правящих сфер в преддверии грядущего революционного взрыва.

Министры должны были отправиться в Царское Село для окончательного обсуждения рескрипта о введении в России народного представительства. Собравшись на Царскосельский вокзал, они были совершенно озадачены, прочтя в утренних газетах неожиданный для них манифест, в котором в пышных и бессодержательных фразах проводилась та мысль, что все останется по-старому. Министр юстиции Манухин объяснил, что манифест был ему прислан ночью с повелением немедленно обнародовать его. Потом стало известным, что манифест был поднесен Николаю для подписи императрицей, которая, в свою очередь, получила его от кн. Путятина. Было очевидно, что манифест исходил из среды черной сотни. Государь открыл заседание, как всегда в таких случаях, с ясным взором, как будто ничего особенного не произошло. Он видимо забавлялся общим смущением. Булыгин прочитал проект рескрипта, в котором заключались положения, прямо противоречивые тому, что в это самое утро было возведено манифестом. Затем последовал перерыв для завтрака. Многие министры намеревались первоначально сделать ряд возражений на Булыгинский проект. Но за завтраком министры в большом возбуждении решили в виде протеста против утреннего манифеста единогласно принять Булыгинский проект без всяких возражений. Так и сделали. Николай был очень удивлен, но ему ничего не оставалось, как подписать рескрипт, единогласно одобренный всеми министрами. Так, в один день верховная власть выступила с двумя, прямо противоположными и друг друга исключаящими, политическими актами.

В главе о Гапоновском выступлении 9 января 1905 г. не находим чего-либо нового, кроме сообщения о том, что Мирский созвал пред этим совещание министров, но не пригласил Витте будто бы по совету Коковцева, сказавшего, что Витте на верное примет сторону рабочих.

Упоминает Витте о посещении его депутацией общественных деятелей, стремившихся предотвратить катастрофу. Но рассказ об этом у Витте очень скомкан и общее освещение, приданное в рассказе этому эпизоду, совсем не совпадает с показаниями участников депутации.

Истории издания манифеста 17 октября Витте посвящает особую главу. Я уже приводил выше те части его рассказа, которые представляют интерес повизны. И раньше было известно по ходившим в обществе слухам, что вопрос об издании этого манифеста был окончательно решен, благодаря вмешательству вел. кн. Николая Николаевича. Но только теперь, по мемуарам Витте, становится известным подробности этого вмешательства. Николай Николаевич, можно сказать, вырвал у Николая II решение подписать этот манифест, пригрозив в противном случае застрелиться на глазах у государя. Витте сообщает далее, что это внезапно появившееся у Николая Николаевича убеждение в необходимости введения конституции внушено было ему вождем рабочей партии Ушаковым, которого свели с великим князем князь Андронников и Нарышкин. Накануне 17 октября Ушаков имел свидание с Николаем Николаевичем и настойчиво убеждал его в необходимости введения конституции. Но этот внезапный конституционализм Николая Николаевича испарился очень быстро. Через несколько недель после издания манифеста 17 октября Николай Николаевич уже конспирировал с вождем черной сотни Дубровиным.

Заслуживает быть отмеченным еще одна подробность в рассказе Витте. Обсуждая с Витте вопрос о конституционном манифесте, Николай II в то же время тайно от Витте непрерывно совещался с Горемыкиным, намечая с ним планы совершенно иного рода. Даже в этот, самый ответственный, момент развивавшегося тогда кризиса Николай II не отступил от своего обычного двоедушия, от своей вечной игры на два

фронта. Только малочисленность войск, находившихся тогда близ Петербурга, и неуверенность в их лояльном настроении побудили Николая пойти в конце-концов на издание конституционного манифеста.

Отмечу теперь важнейшие моменты рассказа Витте о его президентстве. Тотчас по издании манифеста 17 октября 1905 года по всей стране вспыхнули аграрные волнения, приводившие к насильственному захвату крестьянами помещичьих земель. По предложению Витте в различные губернии были командированы генерал-адъютанты для исследования создавшегося положения: Сахаров отправился в Саратов, Струков—в Тамбов и Воронеж, Дубасов—в Чернигов и Курск. Убодившись на местах в силу аграрного движения, они настаивали на необходимости безотлагательно созвать Думу и возможно скорее провести чрез нее закон, который закрепил бы юридически за крестьянами земли, отнятые имп. от помещиков. Витте считал, однако, нужным до созыва Думы заключить за границей заем, чтобы укрепить финансовую силу правительства. Он полагал, что только эта мера могла обеспечить правительству надлежащую устойчивость на случай каких-либо осложнений и превратностей, которые могли обнаружиться на первых порах введения конституционного режима.

Таким образом, этот «отец русской конституции» более всего хлопотал о том, чтобы сразу же связать руки народному представительству, поставив правительство в независимое от него положение в финансовом отношении. И Витте в своих мемуарах не преминул послать упрек кадетам Долгорукову и Макакову за то, что они в Париже предприняли некоторые попытки, оставшиеся, впрочем, безуспешными, к тому, чтобы помешать заключению этого займа до созыва Думы. Витте подробно рассказывает историю этого займа, для заключения которого Франция ставила условием сначала прекращение Россией войны с Японией, а затем дипломатическую помощь России французам против немцев при ликвидации мароккского спора на алжезирасской конференции. Заем и был заключен при содействии Франции и при прямом противодействии Германии.

Вступив на пост председателя совета министров, Витте считал необходимым реорганизовать состав правительства. Победоносцев был заменен кн. А. Д. Оболенским. Затем решено было расстаться с министром народного просвещения Глазовым и министром внутренних дел Булыгиным. Тогда явился план ввести в состав кабинета общественных деятелей, не принадлежащих к рядам правящей бюрократии.

Витте так рассказывает о неудавшихся попытках осуществить эту идею. Прежде всего, он обратился к проф. Таганцеву, предложив ему портфель министра народного просвещения. Тот попросил сутки на размышление и указал на свое расстроенное здоровье. В эти дни,—замечает Витте,—у всех оказывалось расстроенное здоровье. На следующий день Таганцев явился к Витте в сопровождении проф. Посникова, который намерялся в товарищи министра народного просвещения. Таганцев в сильном возбуждении отказался от предложенного ему поста, а когда Витте стал убеждать его, он, схватившись за голову обеими руками, бросился из кабинета, восклицая: «не могу, не могу»... Витте приписывает отказы, полученные им тогда от общественных деятелей, их боязни подвергнуться покушениям на их жизнь со стороны революционеров. Тогда Витте обратился к Ив. Ив. Толстому. Тот тоже начал с отказа, спокойно указывая на свою некомпетентность в вопросах, касающихся ведомства народного просвещения. Однако, он скоро убедился доводами Витте о том, что в такой момент долг патриотизма не позволяет отказываться от ответственных государственных постов, и принял назначение. Затем предстояло найти министра внутренних дел. Витте еще до начала революционной поры считал наиболее пригодным для этого поста Петра Николаевича Дурново, несмотря на скандальную историю, происшедшую с ним при Александре III, когда Дурново, выслеживая измену своей любовницы, решился, при помощи агентов департамента полиции, директором которого он состоял, выкрасть ее переписку из испанского посольства. Тогда это стоило ему отставки по резолюции Александра III: «убрать этого мерзавца в 24 часа». Позднее он снова всплыл на поверхность и при Сипягине, и Святополк-

Мирским опять занимал прежний свой пост. Витте утверждает, что этот директор департамента полиции отличался либеральными воззрениями и что именно этот его либерализм и побудил Витте прочить его на пост министра внутренних дел. Большинство министров запротестовали против этой кандидатуры, в том числе и Трепов. Витте пишет, что протест Трепова еще более утвердил его в решимости настаивать на кандидатуре Дурново, ибо Трепов стремился посвоему хозяйничать в министерстве внутренних дел и в департаменте полиции. Но протест притек и с другой стороны. Витте предпринял попытку привлечь к составлению кабинета Шипова, Гучкова и кн. Трубецкого. И вот, все трое заявили, что вместе с Дурново они не согласны остаться в кабинете. Они настаивали на том, чтобы Витте сам занял пост министра внутренних дел. Тем не менее Витте настоял перед Николаем II на утверждении кандидатуры Дурново, и в мемуарах он признает, что то была одна из самых крупных его ошибок за время его управления. Дурново тотчас же сблизился с Треповым и вел. кн. Николаем Николаевичем и стал вести линию, обособленную от Витте. Рассказывает Витте в своих мемуарах также и в назначении Тимирязева министром торговли. Он обвиняет Тимирязева, во-первых, в том, что тот выдал 30 миллионов на возобновление провокаторских действий Гапона и, во-вторых, в том, что он ежедневно собирал у себя репортеров либеральных газет, осведомляя их о ходе правительственных действий и разыгрывая перед ними крайнего либерала, в то же время увиваясь около всех могущественных людей и заискивая перед ними. Введение в состав министерства общественных деятелей так и не состоялось. Витте рассказывает, что он призывал на совещание по этому вопросу Шипова, Гучкова, Мх. Стаховича, кн. Урусова и профессора кн. Трубецкого. По словам Витте, соглашение не состоялось по той причине, что ближайшее знакомство Витте с этими людьми убедило Витте в том, что они, несмотря на свои выдающиеся таланты, были бы неспособны выдержать бремя ответственности, соединенное с министерскими постами.

В этом месте повествование Витте может быть проверено воспоминаниями Шипова (Д. Н. Шипов—Воспоминания и думы о пережитом. М. 1918 г.). И это сопоставление показывает, что Витте в своих мемуарах передает далеко не полную повесть о своей политической деятельности. Он не сообщает прямо неверных или измышленных фактов. Но по некоторым очень важным моментам он скользит чрезвычайно быстро и придает им освещение, не соответствующее действительности. В воспоминаниях Шипова мы находим очень обстоятельный рассказ о переговорах Витте с общественными деятелями относительно образования кабинета. И в этом рассказе заключаются существенные подробности, придающие иную окраску неудачному исходу этих переговоров. Во-первых, затруднения начались не с вопроса о Дурново. Призванный к Витте, Шипов, прежде всего, обусловил свое вхождение в кабинет приглашением туда целой группы общественных деятелей из среды большинства земско-городского съезда. Витте был на это согласен, но представители этого большинства не признали возможным принять это предложение. Переговоры продолжались только с Шиповым, Гучковым, Стаховичем и кн. Трубецким. Тут-то и всплыл вопрос о Дурново. Когда названные лица наотрез отказались работать с Дурново, Витте предложил такую комбинацию: министром внутренних дел будет кн. Урусов, а Дурново останется директором департамента полиции. На это Шипов и его товарищи согласились. Каково же было их удивление, когда, вновь приехав в Петербург из Москвы, они узнали, что Витте осуществил прямо противоположную комбинацию: Дурново был уже назначен министром внутренних дел, а кн. Урусов—его товарищем. Тогда-то и последовал окончательный разрыв. Истинными мотивами разрыва Шипов называет: «обнаружившееся во время переговоров отсутствие искренности и прямоты со стороны Витте и очевидную его неспособность отрешиться от усвоенных им привычек и приемов бюрократического строя», и, кроме того, отказ представителей большинства съездов земских и городских деятелей принять какое бы то ни было участие в составлении кабинета.

Излагая краткую историю своего премьерства, Витте усиленно подчеркивает, что все его начинания и действия парализовались интригами Трепова, который тотчас после назначения Витте председателем совета министров променял должность товарища министра внутренних дел на пост дворцового коменданта, и, став в этом качестве еще ближе к Николаю II, начал играть первенствующую роль в политике. Как было всегда при Николае II, одновременно установилось две политики: одна официальная, возглавлявшаяся Витте, другая—прикровенная, направляющаяся Треповым. Между ними началась тотчас глухая борьба. Как мало было в этой борьбе ясно осознанных политических идей и целей, как беспомощно носились обе враждовавшие стороны без руля и ветрил по волнам случайных настроений и неожиданных решений, особенно ярко видно из следующего сообщения Витте. Трепов вдруг объявил себя сторонником немедленной передачи крестьянам тех земель, которые были ими насильственно захвачены у помещиков во время аграрных волнений. Он был наведен на эту мысль проф. Мигулиным, вошедшим в доверие Трепова. За ту же меру высказывался московский генерал-губернатор Дубасов. По желанию Николая II проект Мигулина обсуждался в совете министров и был там признан неосуществимым. Итак, в тот момент этот проект исходил из кругов, стоявших правее Витте, тогда как сам Витте отмахивался от него обоими руками. А когда, несколько времени спустя, в министерстве земледелия было приступлено к разработке проекта принудительного отчуждения части помещичьих земель в пользу крестьян (Кутлер), то те же круги забили тревогу против Витте и начали агитацию, приведшую к его отставке.

Отметим еще, что в этой главе мемуаров Витте вполне подтверждает правильность разоблачений, сделанных в известной думской речи Урусова, о том, что при департаменте полиции было организовано, по инициативе Трепова, особое секретное отделение под начальством Комиссарова для изготовления провокационных листов и устройства еврейских погромов. Витте стоило большого труда вскрыть существование этого тайного отделения и положить конец его деятельности.

В следующей главе, посвященной «реакционному правлению Столыпина», не находим каких-либо новых фактов. Здесь характерно только общее отношение Витте к Столыпину. Витте обвиняет Столыпина в том, что, прибегая подчас к показному либерализму, Столыпин поставил себя в полную зависимость от союза русского народа и целиком ниспроверг все либеральные обещания, вознесенные в манифесте 17 октября.

Мемуары заканчиваются рассказом о встречах и беседах Витте с Вильгельмом II. Одна встреча произошла в Петергофе в 1897 г., другая—при возвращении Витте из Америки через Германию. Витте развивал перед Вильгельмом план союза России, Германии и Франции, а Вильгельм настаивал на необходимости сплочения всей Европы, включая Англию, для совместной борьбы против экономического засилья Северо-Американских Соединенных Штатов. К планам Витте о создании русско-франко-германского союза Вильгельм отнесся сочувственно и сказал, что эта идея уже осуществлена в только-что перед тем происходившем свидании его с Николаем II в Бьерке. Каково же было изумление Витте, когда, по возвращении в Петербург, он узнал, что в Бьерке было подписано соглашение о взаимном обязательстве России и Германии помогать друг другу в случае войны с какой-либо третьей державой, т.-е. это было соглашение, направленное против союзной с Россией Франции! Соглашение было подписано Николаем без ведома министра иностранных дел Ламсдорфа и было контрасигновано морским министром Бирелевым, которому не был даже показан текст соглашения, а просто Николай спросил его: «вы мне верите?» и после утвердительного ответа дал ему подписать неизвестную ему бумагу. Витте и Ламсдорф, при помощи вел. кн. Николая Николаевича, подняли тревогу и настояли перед Николаем II на необходимости добиться уничтожения соглашения. Николай II согласился с их доводами и Ламсдорфу удалось таки аннулировать результат свидания в Бьерке.

Так делалась Николаем II внешняя политика.

Я отметил только наиболее любопытные фактические сообщения мемуаров Витте. Будущие историки нашего времени, конечно, отнесутся к этим мемуарам с пристальной критикой, но ни один из них не обойдет своим вниманием этого во всяком случае очень любопытного и важного источника.

А. Кизеветтер.

ГЛАВА ИЗ МЕМУАРОВ ВИТТЕ.

Николай II и Александра Федоровна *).

В 1894 г., получив известие о кончине императора Александра III, я отправился к И. Н. Дурново разделить с ним мое горе. Он был тогда министром внутренних дел, а я занимал пост министра финансов. Оба мы были очень привязаны к почившему государю и естественно были глубоко расстроены. Беседуя со мною, Дурново спросил меня, что я думаю о новом монархе—Николае II?

Я ответил, что мне редко приходилось иметь с ним деловые разговоры, но мне известно, что он совершенно неопытен, хотя довольно понятлив и что он производит на меня впечатление молодого человека доброго и хорошо воспитанного. Действительно, мне редко приходилось встречать молодых людей лучше воспитанных, нежели Николай II. Его воспитанность прикрывает всю ограниченность его натуры. «Надеюсь,—добавил я,—что юный монарх пожелает вникнуть в свое призвание и в таком случае государственному кораблю обеспечено безопасное плавание». Дурново хмуро посмотрел на меня.

— «Ах, Сергей Юльевич, боюсь, не ошибаетесь ли вы насчет нашего молодого императора. Я знаю его лучше и позвольте мне сказать, что его царствование сулит нам много бедствий. Запомните мои слова: Николай II будет новым изданием Павла I».

Подозреваю, что Дурново был обязан этим глубоким знанием характера императора не столько своей прозорливости, сколько вскрыванию частных писем, что отнесется к числу обязанностей министра внутренних дел. Повидимому, Дурново выполнял эту обязанность с большим рвением. Он сам говорил мне, что лишился портфеля министра внутренних дел вследствие того, что вдовствующая императрица жаловалась сыну на то, что Дурново прочитывал ее частную переписку.

Около того же времени я беседовал с знаменитым обер-прокурором синода Победоносцевым. Он был очень взволнован смертью Александра III. О Николае II он высказывался неопределенно, хотя и был одним из его наставников. Он всего более опасался, как бы император по молодости лет и неопытности не сделался жертвой гибельных влияний.

При моей первой аудиенции император Николай обошелся со мной очень сердечно. Я снискал его благоволение, участвуя в комитете по постройке Сибирской железной дороги, в котором он председательствовал, будучи цесаревичем. Во время этой первой официальной аудиенции мы обсуждали вопрос о морской базе для нашего северного флота. То была одна из задач, завещанных молодому монарху покойным отцом. В значительной мере под моим влиянием Александр III избрал для этой цели Екатерининский порт на Мурмане вместо Либавы. Его величество сказал мне, что он выполнит последнюю волю отца и отдаст повеление об устройстве базы на Мурмане.

Прошло два или три месяца, и вдруг я прочел в «Правительственном Вестнике» Высочайший указ об устройстве морской базы в Либаве с наименованием ее портом императора Александра III, в виду того, что такова была воля покойного государя. Я был изумлен безмерно, ибо за несколько месяцев до кончины Александр III опре-

*) Перевод с французского издания.

деленно заявил, что предпочитает Мурманскую базу. Вскоре я узнал, что Николай II тотчас же по опубликовании указа пришел к вел. князю Константину и со слезами на глазах жаловался на то, что генерал-адмирал великий князь Алексей принудил его подписать указ, противный воле его покойного отца.

Однако, мысль об устройстве морской базы в Либаве принадлежала не великому князю Алексею, а морскому министру Чихачеву. Именно благодаря Чихачеву великий князь Алексей настаивал на Либаве и Николаю это было известно. И, уступая давлению, он сохранил в душе тайную обиду против человека, от которого исходило это воздействие. Не прошло и года, как Чихачев был отстранен. Это был очевидно акт возмездия.

К несчастью, поведение Николая II в этом деле вполне соответствовало его характеру и этот характер, по замечанию кн. Мирского, составил источник всех наших бедствий. Государь, на которого нельзя положиться, который сегодня одобряет одно, а завтра—другое, неспособен твердо править государственным кораблем. Главный недостаток его состоит в отсутствии воли. Он—человек добрый и не лишен ума, но отсутствие воли обесценивает все его достоинства. Бедный, несчастный император! Он не был рожден для той исторической роли, которую судьба возложила на него.

Коронация Николая II, происходившая 14 мая (по русскому стилю) 1896 г., ознаменовалась плачевным, зловещим событием. На Ходынском поле, где для населения были приготовлены угощение и увеселения, погибло около 2 тысяч народу. Чрез несколько часов после этой катастрофы императорская чета присутствовала на концерте под управлением известного Сафонова. Живю помню мой короткий разговор на этом концерте с китайским посланником Ли-Хуаг-Чангом. Он интересовался подробностями катастрофы. Я сказал ему, что погибло около двух тысяч человек.—«Не правда ли—его величеству это неизвестно?».—«Наверное, он это уже знает»,—ответил я.—«Все происшедшее должно быть ему доложено».—«Ну,—сказал китаец,—я не вижу в этом пользы. Помню, когда я был генерал-губернатором, в соседней с моею провинцией десять миллионов человек умерло от бубонной чумы и наш император ничего не узнал об этом. К чему его бесполезно беспокоить?» Я подумал про себя: «Все же мы, в конце-концов, превосходим китайцев».

В тот же день французский посланник маркиз Моптобелло давал парадный вечер. Мы полагали, что, в виду несчастья на Ходынке, вечер будет отменен. Тем не менее он состоялся. И, как ни в чем не бывало, их величества открыли бал кадрилию.

Характер императора по существу женственный. Кто-то заметил, что природа по ошибке наделила его мужским полом. С первого начала его величество преступает все границы умеренности, осыпая милостями своего нового приближенного, в особенности, если этот последний избран им лично, а не достался ему от отца. Но затем его величество становится к нему равнодушным и, в конце-концов, начинает ненавидеть его. Из этих чувств у Николая II возникает убеждение в том, что данное лицо оказалось недостойным его милости. Я должен заметить, что его величество не терпит около своей особы никого, кто кажется ему умнее его самого, или кто не сходится во взглядах с императорской камарильей.

Вот одна из характернейших черт императора. Он подвержен странной нравственной близорукости, как относительно времени, так и относительно пространства. Император испытывает страх лишь когда гроза уже разразилась над ним. Но лишь только пройдет непосредственная опасность, его страх исчезает.

Так, уже дав конституцию, Николай по-прежнему стал смотреть на себя, как на неограниченного монарха в том смысле, который может быть выражен так: «делаю, что хочу; то, чего я хочу, есть благо; если народ этого не хочет, то лишь потому, что он состоит из простых смертных, тогда как я—помазанник Божий».

Он не способен вести открытую игру; он всегда ищет извилистых путей и подпольных средств. У него—истинная страсть к потаенным замыслам и скрытым способам действия. Даже в наиболее критические моменты в роде тех, которые

предшествовали дарованию конституции, он не отказывался от своих «византийских» привычек. Но, не обладая талантами Меттерниха и Талейрана, он обыкновенно попадает в грязное болото или в кровавую лужу.

Следующий эпизод еще лучше разъяснит беззастенчивые наклонности императора. Когда министр внутренних дел Сипягин в 1902 г. был убит революционером, его товарищу Дурново и генерал-адъютанту Гессе было поручено привести в порядок бумаги убитого министра. Документы частного характера были отданы вдове Сипягина. Ей было известно, что ее муж вел дневник. Дневник состоял из двух тетрадей. Одна из них обнимала время министерского управления Сипягина, другая—относилась к тому времени, когда он управлял Комиссией прошений. Не получив этих дневников, вдова Сипягина спрашивала Дурново, что с ними случилось. Ей было отвечено, что дневники находятся у Гессе. Следующие подробности были мне сообщены самой г-жей Сипягиной и ее двоюродным братом графом Шереметевым. Через несколько дней вдова явилась ко двору благодарить Их Величества за их милостивое внимание к ее горю. Во время аудиенции император сказал ей, что ему доставлены дневники ее мужа и что они показались ему настолько интересными, что он очень хотел бы с ее позволения оставить их у себя для прочтения. Разумеется, Сипягина дала свое согласие.

Прошло несколько месяцев; дневники все оставались у императора. Тогда Сипягина обратилась к своему двоюродному брату, бывшему адъютантом императора и его школьным товарищем, с просьбой напомнить Его Величеству о записках ее покойного мужа. Вскоре после того Сипягина имела аудиенцию у императрицы. Перед концом аудиенции императрица попросила ее немного подождать, так как ее желает повидать император. Через несколько минут вошел император и передал ей пакет со словами, что он возвращает ей интересные записки ее мужа и благодарит ее за то, что она доставила ему случай прочесть их. Дома Сипягина увидела, что ей возвращен только один том, как раз тот, который относился ко времени председательствования Сипягина в Комиссии прошений. Сипягина опять прибегнула к услугам гр. Шереметева, чтобы получить и второй том. Граф отправился к генералу Гессе, но получил от него лишь довольно резкий ответ в том смысле, что из-за этих дневников делают очень уже много шума.

Через несколько дней император прибыл в Москву для говения и остался там на первые дни пасхальной недели. За одним из парадных обедов гр. Шереметеву случилось сидеть рядом с генералом Гессе. Генерал уверил графа, что оба тому дневников Сипягина были им переданы императору. По возвращении в Петербург император призвал графа Шереметева. Сам граф рассказывал мне об этой аудиенции. Император заявил Шереметеву, что один том дневников Сипягина пропал и что это его очень удивляет. Император заметил при этом, что Гессе находился в дурных отношениях с Сипягиным и, вероятно, найдя в дневнике Сипягина неприятные для себя страницы, уничтожил тетрадь, чтобы императору не удалось прочесть ее. «На самом же деле,—сказал мне Шереметев, заканчивая свой рассказ,—я убежден, что император сам уничтожил тетрадь Сипягина». Мимоходом должен прибавить, что после 17 октября 1905 г. граф Шереметев приказал в своем дворце перевернуть к стене портреты императора, что вызвало разрыв между нами.

Вот другой подобный же эпизод, касающийся меня лично.

Вследствие настойчивых слухов о том, что я был автором манифеста 17 октября, нежелательного для императора, я составил памятную записку, точно устанавливающую факты. Я представил ее императору через министра двора. Император продержал ее у себя около двух недель и, возвращая ее, сказал барону Фредериксу: «В записке Витте факты изложены точно. Однако, дайте ему это удовлетворение не письменно, а лишь на словах». Барон передал эти странные слова кн. Оболенскому, а тот сообщил их мне. Подумать только, что подобные слова могли быть произнесены сыном Александра III, самого благородного и правдивого из монархов!.. Разумеется, я никогда и не получил письменного ответа на мою записку.

Выше я изложил роль императора в нашей внешней политике, специально касающуюся событий русско-японской войны. Мне остается добавить к сказанному, что на него одного падает вина этой несчастной войны, если только возможно обвинять того человека, который отвечает за свои поступки лишь перед Богом.

В глубине души император стремился к наступательной политике, но, как всегда, его ум был полон самопротиворечий. Он ежедневно менял политику. Он пытался обмануть зараз и наместника Дальнего Востока, и главнокомандующего армией, но, разумеется, в большинстве случаев он обманывал только себя самого.

Он позволил вовлечь себя в дальневосточную авантюру по причине своей молодости, своей естественной враждебности к Японии, в которой было сделано покушение на его жизнь (он никогда не говорил об этом обстоятельстве) и, наконец, вследствие того, что он жаждал победоносной войны. Я даже склонен предполагать, что если бы не последовало разрыва с Японией, война могла возгореться на индийской границе или, еще вероятнее, с Турцией, при чем яблоком раздора явился бы Босфор. Оттуда война перекинулась бы и в другие области. После коронации Николая II и его поездки во Францию, наш тогдашний посол в Константинополе Нелидов делал все, от него зависящее, чтобы вовлечь нас в войну с Турцией.

В конце 1896 г. произошла резня армян в Константинополе, которой предшествовала подобная же резня в Малой Азии. В октябре император вернулся из-за границы и наш посол в Турции Нелидов явился в Петербург. Прибытие Нелидова породило слухи о том, что готовятся различные мероприятия против Турции. Эти слухи побудили меня представить Его Величеству записку, в которой я развил свои предположения на счет Турции и советовал пустить в ход силу. 21 ноября (3 декабря) мне доставили секретную записку, составленную Нелидовым. Нелидов говорил о воинственном настроении Турции и указывал на то, что нам следует создать инциденты, которые дали бы нам законные предлоги и способы для захвата верхнего Босфора.

Предложение Нелидова было подвергнуто обсуждению в особом совещании, которое было созвано через два-три месяца под председательством императора. Посол указывал на то, что в Турции в скором времени вспыхнет обширное восстание, и добавлял, что во имя наших интересов мы должны захватить Босфор. Разумеется, его поддержали военный министр и начальник главного штаба, генерал Обручев, в уме которого занятие Босфора, а если возможно, то и Константинополя, было поистине навязчивой идеей. Прочие министры остерегались высказываться по этому вопросу и, таким образом, на мою долю выпало воспротивиться этому гибельному проекту, что я и сделал настойчиво и резко. Я настаивал потому, что обсужденный план может вызвать общеевропейскую войну и разрушить до-глагол блестящее финансовое и политическое положение, созданное для России Александром III.

Император первоначально ограничивался опросом членов совещания. Когда обсуждение закончилось, он заявил, что разделяет мысли посла. На этом и остановились, по крайней мере, в принципе. Было решено вызвать в Константинополе такие события, которые доставили бы нам прямой предлог для высылки войск и занятия верхнего Босфора. Военная власть в Одессе и Севастополе получила распоряжение произвести необходимые приготовления к высадке в Турции. Было установлено, что Нелидов в надлежащий момент, который он сочтет удобным для высадки, даст условный сигнал посылкой телеграммы нашему финансовому агенту в Лондоне с просьбой заготовить большое количество хлеба. Деша должна была немедленно быть сообщена директору государственного банка и передана немедленно военному и морскому министрам.

Протокол заседания был отредактирован министром иностранных дел Шишкским. Он представил решения совещания принятыми единогласно. Я заявил Шишкскому, что не могу подписать протокола, так как, по моему убеждению, постановления совещания приведут Россию к гибельным последствиям. Я просил его представить

Его Величеству, чтобы мое особое мнение было изложено в протоколе, либо чтобы было упомянуто кратко, что я решительно расхожусь с заключениями совещания. «Я не желаю,—сказал я,—нести ответственность пред потомством за эту авантюру». Шишкин написал государю и получил в ответ предписание вставить в протокол следующее место: «По мнению статс-секретаря Витте, занятие верхнего Босфора без предварительного соглашения с великими державами является, в данный момент и в виду настоящих обстоятельств, чрезвычайно опасным и могущим привести к гибельным последствиям». Император подписал протокол 27 ноября (9 декабря) и приписал на поле несколько слов, выражавших его полное согласие с мнением большинства.

Нелидов отправился в Константинополь, горя желанием осуществить план, который он так долго лелеял. Ожидали, что условленный сигнал будет подан немедленно, и один из секретарей директора государственного банка бодрствовал всю ночь, готовый принять роковую телеграмму с тем, чтобы немедленно отнести ее директору. Страшась последствий этого акта, я не мог удержаться от желания поделиться своими опасениями с некоторыми лицами, стоявшими близко к императору, а именно с великим князем Владимиром Александровичем и Победоносцевым.

Победоносцев прочел протокол совещания и возвратил мне его со следующей запиской: «Спешу вернуть вам прилагаемый протокол. Благодарю за то, что вы его мне сообщили. Жребий брошен. Да поможет нам Бог!»

Не знаю, под влиянием ли этих людей или благодаря той силе, которая правит миром и которую мы называем Богом, но император изменил свое решение вскоре после отбытия Нелидова в Константинополь, предписав ему отказаться от намеченного плана. Характерно, что после того император в течение долгого времени питал неудовольствие на Нелидова.

Достоин замечания, что во время русско-японской войны клика придворных куртизанов и сам император очень враждебно относились к Англии. Эта враждебность объяснялась сближением Англии с Японией и тем, что Англия давала приют русским революционерам. Японцев Николай II обыкновенно называл *макаками*, употребляя это выражение даже в официальных документах. Англичан он называл *жидами*. «Англичанин, что—жид», любил повторять он.

Приведу еще следующий эпизод для лучшего разъяснения взглядов и влечений императора. Будучи председателем совета министров (1906 г.), я получил депешу от генерал-губернатора Соллогуба, который извещал о мерах, принятых для подавления восстания в Ревельской губернии, и просил меня повлиять умеряющим образом на капитана Рихтера. Рихтер принадлежал к экзекуционному отряду и расправлялся с людьми без дальнего рассуждения и без тени законности. Я представил депешу Его Величеству и получил ее обратно, при чем над строками, изображавшими кровавые расправы Рихтера, Николай II надписал: «Прекрасно, вот так молодец!» Впоследствии он вытребовал у меня эту депешу и уже не возвращал ее. Чрез несколько времени я оставил пост первого министра. Его Величество принял меня очень любезно и просил меня вернуть ему все письма и телеграммы, на которых были заметки, сделанные его рукой. Я повиновался и теперь сожалею об этом. Эти документы бросили бы замечательный свет на характер этого несчастного государя со всеми его умственными и нравственными слабостями.

Когда в официальных объяснениях с императором мне случалось ссылаться на общественное мнение, император всего чаще прерывал меня словами: «Ради чего мне беспокоиться об общественном мнении?»

Император правильно полагал, что под «общественным мнением» разумеется мнение «интеллигенции». Насчет тех чувств, которые император питает к интеллигенции, мне вспоминается рассказ кн. Мирского. При посещении Николаем Западного Края, князь по должности генерал-губернатора сопровождал государя и обедал с ним. За столом кто-то упомянул об «интеллигенции». Император воскликнул: «Как я ненавижу это слово! Я хотел бы заставить Академию вычеркнуть его из русского словаря».

Император воображает, что народ весь, за исключением интеллигенции, верен ему. Таково и убеждение императрицы. Кн. Мирский, обсуждая однажды с императрицей политическое положение, заметил, что в России все восстановлено против действующего режима. Императрица резко заметила на это, что одни только интеллигенты идут против царя и правительства, но народ всегда был и будет на стороне царя. «Это верно,—сказал князь,—но историю повсюду делает интеллигенция, тогда как массы представляют собою лишь зачатную власть; сегодня они режут интеллигентных революционеров, а завтра могут начать разрушать царский дворец».

Император окружен упорными антисемитами, каковыми являются Трепов, Плеве, Игнатьев и руководители «Черной сотни». Что касается его личного отношения к еврейству, то я вспоминаю, что каждый раз, когда я обращал его внимание на необходимость умерить антиеврейское движение, он либо молчал, либо говорил: «...Но ведь сами жида в этом виноваты» (он всегда говорил жида, а не еврей). Антисемитское движение шло не снизу к верхам, а в обратном направлении.

В декабре 1905 г. разразился ужасный еврейский погром в Гомеле. Я просил министра внутренних дел Дурново назначить расследование. Расследование показало, что этот погром с большим искусством организован агентами тайной полиции под руководством местного жандармского офицера графа Подгоричани, который не отрицал своей роли в этом деле. Я просил Дурново доложить об этих открытиях совету министров. Совет министров сурово осудил рвение тайной полиции и высказался за отставку и наказание гр. Подгоричани. Мнение совета было изложено в журнале заседания, но в весьма умеренных выражениях. Журнал обычным порядком был представлен Его Величеству. С явным неудовольствием император написал на полях следующие слова: «Чем может меня интересовать вся эта история? Дело гр. Подгоричани относится к ведению министра внутренних дел». Через несколько месяцев я узнал, что гр. Подгоричани стал полицеймейстером в одном из причерноморских городов.

В отношении еврейского вопроса так же, как и в других вопросах, идеалы императора в конце-концов совпадают с взглядами Черной Сотни. Сила этой партии покоится преимущественно на том, что Их Величества считают этих анархистов орудием государственного блага. Партия «истинно-русских людей»,—так черносотенцы называют сами себя,—является в сущности партией патриотической и при всеобщем нашем космополитизме это должно было бы вызвать наши симпатии. Но патриотизм Черной Сотни чисто первобытный; он опирается не на разум, а на страсть. Большинство ее вождей является беззащитными авантюристами, чуждыми всякой честной и целесообразной политической идеи, и все их усилия направляются на окрыление и использование низменных инстинктов черни. Находясь под покровительством двуглавого орла, эта партия способна вызывать возмущения и восстания, но ее дело чисто разрушительное и отрицательное. Это—олицетворение дикого, пигмалистического патриотизма, питаемого ложью и клеветами; это—партия жестокого и наглого отчаяния, лишенная творческого духа, зрелой и проницательной мысли. Партия наполнена людьми невежественными и темными, а ее руководителями являются негодяи, достойные виселицы, среди которых имеются дворяне, явно принадлежащие к партии, и некоторое количество тайных последователей из среды придворных куртизанов. Их благополучие опирается на анархию и их девиз: «Не мы для народа, но народ на потребу нашего брюха». Следует заметить, однако, что главари Черной Сотни—тайные и явные—составляют ничтожное меньшинство среди русского дворянства. Это—люди, кормящиеся крохами, правда, очень жирными крохами,—перепавшими им с царского стола! А бедный ослепленный император мечтает восстановить величие России при помощи такой партии! Бедный император!

В доказательство этого укажу на позорную телеграмму императора к Дубровину—председателю союза русского народа (организатор Черной Сотни), от 3 июля 1907 г. В этой депеше—очень любезной—император заявляет, что им одобряются

действия Дубровина, как председателя союза русского народа, и что он впредь будет рассчитывать на услуги дубровинской банды. Эта телеграмма, совпавшая с изданием манифеста о роспуске второй думы, вскрыла все ничтожество самовластной политики императора и всю ограниченность его ума.

Александр III был очень бережлив. В течение всего его царствования бюджет министерства двора оставался без изменения. С воцарением Николая II этот бюджет стал быстро расти. Согласно закону, этот бюджет должен был определяться Государственным Советом. На деле он устанавливался по соглашению между министром двора и министром финансов. Их предположения обычно утверждались Государственным Советом. По воцарении Николая Второго граф Воронцов-Дашков — бывший министр двора — стал в широких размерах увеличивать расходы по своему ведомству. Так как он не обращал внимания на мои возражения, я доложил о том государю. Его Величество сказал мне, что желает следовать примеру отца в бережливости. Очевидно, он имел затем неприятное объяснение с Воронцовым-Дашковым, так как граф выразил мне свое неудовольствие. Спустя несколько месяцев Воронцов-Дашков оставил свой пост и был замещен бароном Фредериксом. Вскоре я получил Высочайший указ, отменявший прежний порядок установления бюджета по министерству двора и устанавливавший новые правила для исчисления расходов по этому ведомству. Правила заключались в следующем. Министр двора единолично определяет расходы и представляет их на одобрение императора. В окончательной редакции бюджетная смета министерства двора сообщается министру финансов для включения ее в государственную бюджетную роспись без обсуждения этой сметы в Государственном Совете. Указ заканчивался заявлением, что новый закон должен быть сохранен в тайне во избежание излишних толков, но при новом издании бюджетных правил в них должны быть внесены соответственные изменения. Подобное беззаконие было неизвестно в России вплоть до царствования Павла I, да и сам Павел, пожалуй, не решился бы на такой прием, сводившийся к подделке законов страны.

Обращаясь к личным отношениям ко мне Их Величеств, я считаю за удовольствие сказать, что Александра Федоровна явным образом питала ко мне особенную враждебность. Полагаю, что это ее чувство было вызвано эпизодом, происшедшим, если не ошибаюсь, в 1900 г. В этом году император заболел в Ялте. Николай II чрезвычайно не любил прибегать к медицинским средствам. Мне думается, что это — общая семейная черта Романовых. Я убежден, что смерть Александра III была вызвана именно тем, что он слишком поздно согласился приступить к серьезному лечению. Доктором при Николае II состоял известный Гирш, очень почтенный человек, скорее унаследовавший свое положение, нежели добившийся его. По профессии он был хирург.

Случилось так, что в момент заболевания императора я и Сипягин были в Ялте. Мы тотчас забили тревогу и вызвали из Петербурга медицинских знаменитостей. Когда болезнь приняла критический характер, Сипягин пригласил меня к себе. В его кабинете я нашел, кроме него самого, великого князя Михаила Николаевича, гр. Ламсдорфа — министра внутренних дел и барона Фредерикса — министра двора. Они обсуждали положение, которое создалось бы в случае смерти императора, в виду неминуемого у него сына. Царевич Алексей тогда еще не родился. Было высказано, что надлежит вручить регентство императрице, впредь до ее разрешения от бремени. Я воспротивился этому предложению, указывая на необходимость соблюсти букву закона, согласно которой трон должен был перейти к ближайшему родственнику императора, т.-е. к его брату Михаилу Александровичу. Мне удалось склонить на свою сторону всех участников этого импровизованного совещания. Было принято решение, что в случае смерти императора мы немедленно должны принести присягу Михаилу Александровичу. Этот эпизод, не имевший никаких практических последствий, так как Николай II выздоровел, был сочтен императрицей за скрытную интригу против нее с моей стороны. Отсюда проистекла ее враждебность ко мне.

Когда я покинул пост первого министра, императрица, как мне передавали, выразила чувство удовлетворенности вздохом облегчения.

Вопреки многочисленным и бесценным услугам, оказанным мною императору и государству, отношение ко мне Николая II—за исключением лишь самого начального момента его царствования—по существу совпадало с глубокой антипатией, которую проявляла ко мне императрица. После оставления мною поста председателя совета министров я имел только две аудиенции у императора. Первая произошла в 1906 г., когда я вернулся из-за границы, где я жил поистине как бы в изгнании. Эта аудиенция продолжалась около 20 минут. Беседа шла о памятнике Александру III, который тогда воздвигался. Вторая аудиенция была мне дана через шесть лет. С 1912 г. я уже ни разу не удостоился приема у императора.

В течение первой половины своего царствования Николай II находился под влиянием вел. кн. Николая Николаевича и вдовствующей императрицы Марии Федоровны. Влияние великого князя, повидимому, продержалось дольше. Это объясняется тем, что великому князю также был присущ тот сложный мистицизм, который императрица Александра внушила своему супругу.

Следующий случай из моих сношений с великим князем Николаем разъяснит эту сторону его характера. Я познакомился с ним в Киеве, в доме его матери, великой княгини Александры Петровны. Я был тогда директором Юго-Западных железных дорог, он состоял полковником генерального штаба. Иногда мы играли в карты. Мать его была чудная женщина, но питала страсть к вздорному оккультизму. В последующее время я часто встречался с ним, но не имел случая с ним беседовать. Когда я стал министром, он прислал мне визитную карточку. Вскоре после моего назначения председателем совета министров, я посетил его. Разговор зашел об императоре.

— Скажите мне откровенно, Сергей Юльевич,—неожиданно сказал он,—что такое император, по вашему мнению, существо человеческое или нечто высшее?

— Император,—ответил я,—есть мой властелин, и я—его верный слуга, но хотя он и неограниченный монарх, данный нам Богом или природой, он тем не менее есть существо человеческое со всеми свойствами человеческой природы.

— По-моему,—заметил вел. князь,—император не обыкновенное человеческое существо, это скорее существо среднее между человеком и Божеством.—Разговор прекратился, и мы расстались.

Влияние императрицы Марии Федоровны на своего сына было, думается мне, скорее благотворным. Но после женитьбы Николая II это влияние быстро исчезло, и Николай всецело подпал под очарование своей супруги, женщины истеричной и неуравновешенной, но обладающей достаточно сильным характером, чтобы всецело овладеть императором и внушить ему собственное безумие.

За несколько лет до смерти Александра III предпринимались безрезультатные попытки найти супругу для будущего императора Николая II. С этой целью дармштадтская принцесса Алиса была привезена в Петербург на смотрины. Она не понравилась, и на этот раз мысль о женитьбе наследника была оставлена. То было большой ошибкой. Юный Николай Александрович естественно стал искать незаконных наслаждений и вступил в связь с балериной Ксешинской. Эта связь осталась неизвестной его отцу, но не могла ускользнуть от внимания лиц, наиболее приближенных к императору. Они стали торопить императора с женитьбой сына. Император заболел и по этой причине сам стал желать неотлагательно женить наследника. Тогда вспомнили об отвергнутой невесте, принцессе Алисе, и наследник был отправлен в Дармштадт просить ее руки.

Мне известны роковые последствия этого решения. О них сообщил мне наш посол в Германии Остен-Сакен. Беседуя со мною в Берлине, он рассказал мне по секрету следующую историю: «В царствование Александра II,—сказал мне почтенный граф,—я состоял уполномоченным при дармштадтском дворе и хорошо знал семейство великого герцога. При Александре III я был переведен в Мюнхен. Во время

поездки наследника в Дармштадт мне повелено было сопровождать его. В первый же день нашего приезда я беседовал со старым обер-гофмаршалом, с которым был дружен еще в прежние годы. Разговор коснулся принцессы. «Когда я оставил Дармштадт,—сказал я,—принцесса Алиса была маленькой девочкой. Скажите мне откровенно, что вы о ней думаете теперь, когда она стала взрослой». Старый придворный встал, осмотрел все двери, чтобы убедиться, что нас никто не подслушивает, и сказал: «Что за счастье для Гессен-Дармштадта, что вы ее увозите!»

Разумеется, она приняла предложение и высказала Николаю искреннее, конечно, сожаление о том, что ей придется переменить религию. О православной религии она знала не более того, что ребенку известно о небесных светилах, и я не сомневаюсь, что при ограниченности ее ума и упрямстве ее характера ей было очень тяжело изменить религию, в которой она была рождена. Можно быть уверенным, что ее обращение в православие было вызвано не какими-либо возвышенным мотивом, а чисто земными соображениями. Однако, приняв православие, она поддалась убеждению, что это—единственная истинная религия. Конечно, сущность православного религиозного учения навсегда останется для нее книгою за семью печатями, но она подпала очарованию нашего церковного ритуала, который приковал ее взоры к церковным службам, отправляемым в многочисленных дворцовых церквах и часовнях. Легко понять, как религиозность женщины, живущей в тлетворной обстановке восточной роскоши и окруженной бесчисленными льстецами, вечно склоненными перед нею, должна была роковым образом вырождаться в сумбурный мистицизм и ничем не удерживаемый фанатизм. Из всего этого получилось—знаменитый «доктор» Филипп, культ святого Серафима Саровского, привозные из-за границы медиумы и свои местные юродивые, которых выдавали за святых. Обо всем этом мне и предстоит теперь рассказать.

Император Николай вступил в брак с принцессой Алисой 13 ноября 1894 г., вскоре по своем восшествии на престол.

Александра Федоровна не лишена телесных прелестей; она обладает твердым характером; она—хорошая мать. Она была бы вполне подходящей супругой для какого-нибудь маленького немецкого принца, да и в качестве русской императрицы она оказалась бы безвредной, если бы, по несчастью, император не страдал полным отсутствием воли. Трудно даже представить себе размер влияния Александры на мужа. Во многих случаях она направляет все его действия, как будто бы она сама и является главой империи. Мне вспоминается, что однажды Николай отозвался об императрице, как о человеке, «к которому он питает полное доверие». Судьбы миллионов находятся в настоящее время в руках этой женщины. Несомненно, что бедный император и все мы, его преданные слуги, были бы гораздо счастливее, если бы принцесса Алиса вышла замуж за немецкого герцога или графа.

Обратимся теперь к этому странному и нелепому мистицизму. Как я уже сказал, он исходил от императрицы Александры и при ее посредстве овладел и ее августейшим супругом. В бытность мою в Париже в 1903 г. я имел длинный разговор с бароном Альфонсом, семидесятилетним главою дома Ротшильдов. Беседовала главным образом о той тревоге, которую внушало ему проникновение в Россию оккультизма и мистицизма. По его мнению, это был дурной признак. Он несколько раз возвращался к этому вопросу. История свидетельствует,—повторял он,—что приближение великих событий и в особенности внутренних революций всегда и везде было возмущаемо превозобладанием при монаршем дворе легкомысленного мистицизма. Он даже прислал мне книгу по этому вопросу, в которой приводился ряд исторических фактов, подтверждавших эту теорию. Барон сказал мне, что влияние известного доктора Филиппа на Их Величеств и многих великих князей и княгинь вызывало много толков во Франции. Он часто твердил мне об этих толках, расхолившихся по Европе, и прибавлял, что, хотя вероятно в них есть преувеличения, но не подлежит сомнению, что этот шарлатан Филипп часто видится с Их Величествами, и они чтут его, как святого, а он оказывает преобладающее влияние на весь обиход их семейной жизни.

Эти истории, прошумевшие по Франции, произвели удручающее впечатление на нас, русских. Впрочем, я уже и в Петербурге много слышался о Филиппе. И приведу здесь все те вполне заверенные сведения, которыми я располагаю по этому вопросу. Филипп объявился во Франции, в Лионе. Он не получил никакого правильного образования. Когда его дочь вышла замуж за врача, он начал пользоваться больных, как дилетант, и, как это нередко бывает, его лечение в иных случаях оказывалось удачным. Люди, его знавшие, стали говорить, что он обладает исключительной силой, особенно по отношению к слабавольным мужчинам и женщинам или по отношению к людям, страдающим нервными болезнями. Это шарлатанство навлекло на него немало судебных процессов. Правительство воспретило ему медицинскую практику, и он не раз подвергался преследованию. Тем не менее, ему удалось составить около себя круг почитателей, в особенности среди националистов. В числе этих почитателей оказался наш военный представитель в Париже гр. Муравьев-Амурский. Нет сомнения, что голова графа была не в порядке. Он пытался вовлечь нас в ссору с республиканским правительством Франции, которое он ненавидел от всей души. Граф Муравьев и другие почитатели Филиппа провозгласили его святым. Они утверждали, что Филипп не был рожден по-человечески, но непосредственно сошел с небес и оставит земную жизнь таким же необычайным образом. Филипп был представлен во Франции русской великой княгине. Это было сделано либо при посредстве жены великого князя Петра, старшей черноморской княгини, либо при посредстве жены принца Лейхтенбергского, — младшей черноморской княжны; в точности не знаю — через кого именно.

Позднее младшая черноморская княжна, под влиянием окружающих и с разрешения Их Величеств, развелась с принцем Лейхтенбергским и вышла замуж за своего кузена — великого князя Николая.

Расположение обоих черноморских принцесс к доктору Филиппу имело громадное значение для России, ибо эти принцессы пользовались интимным доверием императрицы. Необходимо рассказать, как они появились при русском дворе, при котором они получили столь пагубное влияние.

В ранней юности они были помещены отцом — черноморским великим князем Николаем — в Смольный институт, где они мало обращали на себя внимания. Они окончили институт в ту пору, когда Александр III порвал традиционные связи России с Германией и когда начиналось сближение России с Францией. В этот именно момент Александр III на обеде в честь черноморского князя Николая произнес знаменитый тост: «Пью за моего единственного друга, князя черноморского Николая». Тост этот был вызван не столько чувством дружбы к князю Николаю, сколько желанием заявить миру, что император не имеет и не ищет друзей.

С своей стороны князь Николай черноморский делал все от него зависящее, чтобы войти в милость императора. Вполне было естественно, что Александр III выказывал благоволение представителю рыцарственного племени, проявившего сильнее всех прочих славянских племен привязанность к России. В виду этих обстоятельств со стороны Александра III было вполне соответственно обратить внимание на черноморских княжен. Этого было достаточно, чтобы некоторые члены императорской фамилии стали искать у них руки. Следует припомнить, что в это время в России скопилось целая группа великих князей. Великий князь Петр, болезненный молодой человек, последний сын великого князя Николая, нашего главнокомандующего в последнюю турецкую войну, женился на старшей черноморской княжне, а младшая из них вышла замуж за Юрия Лейхтенбергского.

Так по воле Александра III черноморские княжны вышли за второстепенных великих князей. Никаких последствий отсюда не простекло бы, если бы Николай II не взошел на престол и не женился бы на Алисе. Вдовствующая императрица и великие княгини приняли Алису сердечно и приветливо, но относились к ней не как к императрице. Одни только черноморские княжны склонялись перед ней, как перед императрицей, и выказывали к ней чувства полного обожания и безграничной

привязанности. Императрица занемогла желудочной болезнью, и они воспользовались этим случаем, чтобы развернуть доказательства своей услужливой преданности. Они не оставляя ее ни днем, ни ночью, отсылая горничных, и сами выполняли при больной наиболее неприятные услуги. Таким способом они втерлись в милость императрицы и сделались ее ближайшими подругами. Их влияние на императрицу и императора возрастало по мере ослабления влияния вдовствующей императрицы.

Эти черногорки сделались усердными поклонницами Филиппа. Одна из них вызвала к себе в Париже Рачковского, начальника нашей тайной полиции в этом городе, и выразила ему желание, чтобы Филипп получил разрешение на медицинскую практику и чтобы ему был выдан медицинский диплом. Разумеется, Рачковский разъяснил княгине всю наивность ее поручения. Он отозвался о шарлатане в весьма несдержанных выражениях и тем навлек на себя опасное нерасположение двора.

При посредстве этих черногорок Филипп приблизился к великим князьям, а впоследствии и к Их Величествам. Александра не имела среди придворных дам ни одного близкого человека, кроме этих черногорок, которые играли при ней двойную роль—подруг и служанок. В течение нескольких месяцев Филипп тайно проживал в Петербурге и на летних дачах своих могущественных покровителей. Там непрерывно происходили мистические собрания и совещания, в которых принимали участие Их Величества, великие князья и их жены—черногорки. Как это водится в России, Филипп поступил под наблюдение коменданта двора, генерал-адъютанта Гессе, который считал необходимым справиться у Рачковского о личности Филиппа. Рачковский представил доклад, в котором обрисовал Филиппа, как шарлатана, каким он и был в действительности. Рачковский сам привез этот доклад в Петербург. Прежде, чем представить этот доклад Гессе, он прочел его Сипягину. Сипягин ответил, что официально он ничего не знает о докладе, так как он не ему адресован. Но по дружбе, частным образом, он посоветовал Рачковскому бросить свой доклад в огонь камина. Однако, Рачковский представил доклад по назначению. Когда Плеве был министром, Рачковский был отрешен от должности. Ему было запрещено пребывание в Париже, и, если не ошибаюсь, и вообще во Франции. Плеве говорил мне, что отдал распоряжение о том, уступая давлению. Гессе старался изо всех сил покровительствовать Рачковскому, но безуспешно. Однако, при управлении Трепова, походившем на диктатуру, Рачковский снова был призван на выдающийся пост по министерству полиции.

После того, как Филиппу не удалось получить во Франции докторского диплома, петербургской военно-медицинской академии было приказано дать ему, вопреки правилам, степень доктора. Военным министром был тогда Куропаткин. Позднее «доктор» Филипп получил чин статского советника. Все это было сделано втайне. Святой отправился к портному и заказал себе форму военного врача.

Ночные сеансы с Филиппом, хотя и держались втайне, сильно беспокоили вдовствующую императрицу Марию Федоровну. Принц Лейхтенбергский и великий князь—первый и второй мужья младшей черногорской княжны—на вопросы нескромных друзей о Филиппе отвечали, что он—истинный святой. Мало-по-малу вокруг «доктора» Филиппа составила небольшая группа «посвященных» поклонников.

Императрица Александра всецело подпала под влияние этого обманщика. Между прочим, она уверовала в то, что Филипп—чародей и что его не может коснуться никакая физическая сила. Ничто лучше не показывает размера и характера его воздействия на императрицу, как следующая история, которая может показаться невероятной, но тем не менее вполне заверена. Императрица во время своего увлечения этим шарлатаном, сильно желала иметь сына, так как до сих пор у нее рождались только дочери. Доктор Филипп внушил ей уверенность в том, что у нее будет сын, и убедил ее в том, что она забеременела. Наступили последние месяцы воображаемой беременности. Все замечали, что императрица сильно пополнела. Она стала

носить просторные платья и перестала появляться на придворных церемониях. Все были уверены в беременности императрицы. Император сиял от радости, а жители Петербурга ожидали со дня на день пушечных выстрелов с Петропавловской крепости, которые должны были возвестить, согласно древнему обычаю, рождение наследника престола. Императрица перестала вставать с постели, и придворный акушер с своими помощниками поселился в петергофском дворце. Но время шло, а роды не начинались. Наконец, профессор Отт испросил у государыни разрешения осмотреть ее. Получив согласие и тщательно осмотрев императрицу, он заявил, что она не беременна.

Легко предвидеть, сколько бедствий может причинить эта истерическая жепщина, будучи облечена той грозной властью, которую самодержавный режим вверяет монарху!

В летнем дворце великого князя Николая доктор Филипп познакомился с несколькими духовными лицами и, между прочим, с знаменитым Иоанном Кронштадтским. Там-то без сомнения и было принято решение канонизировать старца Серафима Саровского. История этой канонизации была мне рассказана самим Победоносцевым. Однажды утром он был приглашен к Высочайшему завтраку. Это приглашение было для него неожиданным, ибо в то время между ним и Их Величествами установились скорее натянутые отношения, хотя он и был наставником императора и его августейшего отца. После завтрака, за которым не было никого, кроме Их Величеств и Победоносцева, император выразил желание, чтобы Победоносцев представил ему проект устава о канонизации Серафима в день почитания его памяти. День этот наступал через несколько недель. Победоносцев ответил, что это зависит от Святейшего Синода и что канонизации должно предшествовать тщательное исследование жизни кандидата и собрание показаний, согласующихся с устным и народными преданиями. Императрица заметила на это, что все зависит от воли императора. Я много раз слышал от Ее Величества подобные заявления. Однако, император обратил внимание на доводы Победоносцева. В тот же вечер Победоносцев получил от императора любезную записку, в которой император признавал, что невозможно приступить немедленно к канонизации Серафима. Победоносцеву был дан приказ выполнить эту церемонию в следующем году.

Он повиновался. Их Величества присутствовали при освящении мощей, при чем произошло много чудесных исцелений. Вечером императрица пеклась в священном источнике. Распространилась уверенность в том, что святой Серафим дарует Их Величествам наследника после рождения четырех дочерей. Наследник родился, и это окончательно утвердило Их Величества в твердой вере в святость Серафима и в действительность его вмешательства в судьбу императорского дома. В кабинете императора была помещена икона этого святого. В смутные дни, последовавшие за обнародованием манифеста 17 октября, кн. А. Д. Оболенский, занимавший тогда место обер-прокурора Синода, часто жаловался мне на вмешательство черноморской княгини в дела синода. Ему пришлось говорить с императором о канонизации Серафима, и Его Величество сказал: «Что касается святости Серафима и действительности его чудотворений, я настолько убежден в этом, что никто не поколеблет моей веры».

Многие сделали карьеру на святом Серафиме. В том числе и князь Ширинский-Шахматов, составивший церемониал освящения мощей. Вскоре после того он был назначен губернатором в Тверь. На этом посту он отличился тем, что заставил духовенство читать молитвы о сохранении в народе верноподданнических чувств. Князь Мирский—тогда министр внутренних дел—отставил его за это и навлек на себя тем неудовольствие Его Величества. Тотчас по прибытии кн. Ширинского-Шахматова в Петербург, император принял его, выслушал его жалобы на кн. Мирского и, вопреки всем правилам, назначил его сенатором. Когда я был вынужден оставить пост председателя совета министров перед открытием первой Думы, князь

Ширинский-Шахматов получил место обер-прокурора Синода в кабинете Горемыкина. Падение этого кабинета и появление Столыпина на посту председателя совета министров вызвало отставку кн. Ширинского-Шахматова. Император тотчас назначил его членом Государственного Совета. В настоящее время он заседает в Совете, стоя во главе Черной Сотни. Князь Ширинский-Шахматов обладает всеми недостатками и пороками Победоносцева, не имея ни одного из его достоинств, а именно—образованности, вежливости, опытности, умелости и пристойности в политической деятельности.

Филипп умер до окончания русско-японской войны. Его поклонники утверждали, что он, выполнив свою миссию на земле, был взят живым на небо.



ОГЛАВЛЕНИЕ.

	<i>Стр.</i>
I. Редакция Памяти В. Г. Короленко.	3
II. Вл. Короленко. История моего современника: Якутская Область	5
III. Лев Дейч. Южные бунтари	44
IV. М. Р. Попов. К истории рабочего движения в конце семидесятых годов.	72
V. Анри Рошфор. Вера Засулич и народовольцы	85
VI. С. П. Мельгунов. Встречи. Г. А. Лопатин	94
VII. Е. А. Шаховская. Дневник 1825—26 г.	98
VIII. М. А. Цявловский. Письма А. С. Пушкина	119
IX. М. А. Цявловский. Письма Ф. М. Достоевского	123
X. А. Ильинский Новые материалы о М. Бакуanine	128
XI. В. А. Розенберг. Перед свежей могилой (памяти В. Г. Короленко).	150
XII. Памяти ушедших.	
Н. Кареев, И. В. Лучицкий.	154
П. Попов. Л. М. Лопатин	159
А. Кизеветтер. А. С. Лаппо-Данилевский.	164
XIII. А. Кизеветтер. Мемуары Витте, ...	168
XIV. Николai II и Александра Федоровна. Глава из мемуаров Витте.	179

ГОД ИЗДАНИЯ В ближайшее время выйдет ГОД ИЗДАНИЯ
— X — первая книга за 1922 г. — X —

ЖУРНАЛА ИСТОРИИ И ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ

ГОЛОС МИНУВШЕГО.

Программа журнала и состав сотрудников
остается без изменений

АДРЕС КОНТОРЫ: Москва, Крестовоздвиженский, 9.
Коопер. Из-во „Задруга“.

ОТДЕЛЕНИЕ: Моховая 20, книжный магазин „Задруга“.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Москва, Гранатный пер., 2 кв. 31.

ПРИЕМ ЕЖЕДНЕВНО от 5—6.

Издатель: Коопер. Т-во по изданию
журн. „Голос Минувшего“.

Редактор: С. П. МЕЛЬГУНОВ.